

М. Горький
РАССКАЗЫ
И ПОВЕСТИ

М. Горький

**РАССКАЗЫ
И ПОВЕСТИ**

1892—1917



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1976

Текст печатается по изданию:
М. Горький. Полное собрание сочинений.
Художественные произведения в 25-ти томах,
том 1—6, 12, 14. М., «Наука», 1968—1970

Художник
Н. ЕГОРОВ

Г $\frac{70302-287}{028(01)-76}$ БЗ-16-22-76

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

1892—1917

МАКАР ЧУДРА

С моря дул влажный, холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы припосили с собой сморщенные, желтые листья и бросали их в костер, раздувая пламя; окружавшая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева — безграничную степь, справа — бесконечное море и прямо против меня — фигуру Макара Чудры, старого цыгана, — он сторожил коней своего табора, раскинутого шагах в пятидесяти от нас.

Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, распахнув чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют ее, он полулежал в красивой, сильной позе, лицом ко мне, методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и, неподвижно уставив глаза куда-то через мою голову в мертвое молчаливое темноту степи, разговаривал со мной, не умолкая и не делая ни одного движения к защите от резких ударов ветра.

— Так ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо: ходи и смотри, насмотрелся, ляг и умирай — вот и все!

— Жизнь? Иные люди? — продолжал он, скептически выслушав мое возражение на его «так и надо», — Эге! А тебе что до этого? Разве ты сам — не жизнь? Другие люди живут без тебя и проживут без тебя. Раз-

ве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб, не палка, и не нужно тебя никому.

— Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научиться сделать людей счастливыми? Нет, не можешь. Ты поседей сначала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут что есть, которые поглупее — те ничего не получают, и всякий сам учится...

— Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга, а места на земле вон сколько, — он широко повел рукой на степь. — И всё работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется, ничего он не видит с своего поля и умирает, как родился, — дураком.

— Что ж, — он родился затем, что ли, чтоб поковырять землю, да и умереть, не успев даже могилы самому себе выковырять? Ведомая ему воля? Ширь степная понятна? Говор морской волны веселит ему сердце? Он раб — как только родился, всю жизнь раб, и все тут! Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнеет немного.

— А я, вот смотри, в пятьдесят восемь лет столько видел, что коли написать все это на бумаге, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких краях я не был? И не скажешь. Ты и не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить: иди, иди — и все тут. Долго не стой на одном месте — чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее. А задумаешься — разлюбишь жизнь, это всегда так бывает. И со мной это было. Эге! Было, сокол.

— В тюрьме я сидел, в Галичине. «Зачем я живу на свете?» — помыслил я со скуки, — скучно в тюрьме, сокол, э, как скучно! — и взяла меня тоска за сердце, как посмотрел я из окна на поле, взяла и сжала его клещами. Кто скажет, зачем он живет? Никто не скажет, сокол! И спрашивать себя про это не надо. Живи, и все тут. И похаживай да посматривай кругом себя, вот и тоска не возьмет никогда. Я тогда чуть не удавился поясом, вот как!

— Хе! Говорил я с одним человеком. Строгий человек, из ваших, русских. Нужно, говорит он, жить не так, как ты сам хочешь, а так, как сказано в божьем слове. Богу покоряйся, и он даст тебе все, что попросишь у него. А сам он весь в дырках, рваный. Я и сказал ему, чтобы он себе новую одежду попросил у бога. Рассердился он и прогнал меня, ругаясь. А до того говорил, что надо прощать людей и любить их. Вот бы и простил мне, коли моя речь обидела его милость. Тоже — учитель! Учат они меньше есть, а сами едят по десять раз в сутки.

Он плюнул в костер и замолчал, снова набивая трубку. Ветер выл жалобно и тихо, во тьме ржали кони, из табора плыла печная и страстная песня-думка. Это пела красавица Нонка, дочь Макара. Я знал ее голос густого, грудного тембра, всегда как-то странно, недовольно и требовательно звучащий — пела ли она песню, говорила ли «здравствуй». На ее смуглом, матовом лице замерла надменность царицы, а в подернутых какой-то тенью темно-карих глазах сверкало сознание неотразимости ее красоты и презрение ко всему, что не она сама.

Макар подал мне трубку.

— Кури! Хорошо поет девка? То-то! Хотел бы, чтоб такая тебя полюбила? Нет? Хорошо! Так и надо — не верь девкам и держись от них дальше. Девке целоваться лучше и приятней, чем мне трубку курить, а поцеловал ее — и умерла воля в твоем сердце. Привяжет она тебя к себе чем-то, чего не видно, а порвать — нельзя, и отдашь ты ей всю душу. Верно! Берегись девок! Лгут всегда! Люблю, говорит, больше всего на свете, а ну-ка, уколи ее булавкой, она разорвет тебе сердце. Знаю я! Эге, сколько я знаю! Ну, сокол, хочешь, скажу одну быль? А ты ее запомни и, как запомнишь, — век свой будешь свободной птицей.

«Был на свете Зобар, молодой цыган, Лойко Зобар. Вся Венгрия, и Чехия, и Славония, и все, что кругом моря, знало его, — удалый был малый! Не было по тем краям деревни, в которой бы пяток-другой жителей не давал богу клятвы убить Лойко, а он себе жил, и уж коли ему понравился конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того коня — все равно Зобар на нем гарцевать станет! Эге! разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей свитой, так он бы, коли б

не пустил в него ножа, то наверно бы крепко поругался, а что чертям подарил бы по пинку в рылѧ — это уж как раз!

И все таборы его знали или слыхали о нем. Он любил только коней и ничего больше, и то недолго — поедит, да и продаст, а деньги, кто хочет, тот и возьми. У него не было заветного — пужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из груди, да тебе и отдал, только бы тебе от того хорошо было. Вот он какой был, сокол!

Наш табор кочевал в то время по Буковине, — это годов десять назад тому. Раз — ночью весенней — сидим мы: я, Данило-солдат, что с Кошутом воевал вместе, и Нур старый, и все другие, и Радда, Данилова дочка.

Ты Нонку мою знаешь? Царица девка! Ну, а Радду с ней равнять нельзя — много чести Нонке! О ней, этой Радде, словами и не скажешь ничего. Может быть, ее красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку, как свою душу знает.

Много посушила она сердец молодецких, ого, много! На Мораве один магнат, старый, чубатый, увидал ее и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневице. Красив он был, как черт в праздник, жупаншит золотом, на боку сабля, как молния сверкает, чуть конь ногой топнет, вся эта сабля в камнях драгоценных, и голубой бархат на шапке, точно неба кусок, — важный был господарь старый! Смотрел, смотрел, да и говорит Радде: «Гей! Поцелуй, кошель денег дам». А та отвернулась в сторону, да и только! «Прости, коли обидел, взгляни хоть поласковой», — сразу сбавил спеси старый магнат и бросил к ее ногам кошель — большой кошель, брат! А она его будто невзначай пнула ногой в грязь, да и все тут.

— Эх, девка! — охнул он, да и плетью по коню — только пыль взвилась тучей.

А на другой день снова явился. «Кто ее отец»? — громом гремит по табору. Данило вышел. «Продай дочь, что хочешь возьми!» А Данило и скажи ему: «Это только паны продают все, от своих свиней до своей совести, а я с Кошутым воевал и ничем не торгую!» Взревел было тот да и за саблю, но кто-то из нас сунул зажженный трут в ухо коню, он и унес молодца. А мы снялись, да и пошли. День идем и два, смотрим — догнал! «Гей вы, говорит, перед богом и вами

совесть моя чиста, отдайте девку в жепы мне: все поделю с вами, богат я сильно!» Горит весь и, как ковыль под ветром, качается в седле. Мы задумались.

— А ну-ка, дочь, говори! — сказал себе в усы Данило.

— Кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла, чем бы она стала? — спросила нас Радда.

Засмеялся Данило, и все мы с ним.

— Славно, дочка! Слышал, господарь? Не идет дело! Голубок ищи — те податливей. — И пошли мы вперед.

А тот господарь схватил шапку, бросил ее оземь и поскакал так, что земля задрожала. Вот она какова была, Радда, сокол!

Да! Так вот раз ночью сидим мы и слышим — музыка плывет по степи. Хорошая музыка! Кровь загоралась в жилах от нее, и звала она куда-то. Всем нам, мы чуяли, от той музыки захотелось чего-то такого, после чего бы и жить уж не нужно было, или, коли жить, так — царями над всей землей, сокол!

Вот из темноты вырезался конь, а на нем человек сидит и играет, подъезжая к нам. Остановился у костра, перестал играть, улыбаясь, смотрит на нас.

— Эге, Зобар, да это ты! — крикнул ему Данило радостно. Так вот он, Лойко Зобар!

Усы легли на плечи и смешались с кудрями, очи, как ясные звезды, горят, а улыбка — целое солнце, ей-богу! Точно его ковали из одного куска железа вместе с конем. Стоит весь, как в крови, в огне костра и сверкает зубами, смеясь! Будь я проклят, коли я его не любил уже, как себя, раньше, чем он мне слово сказал или просто заметил, что и я тоже живу на белом свете!

Вот, сокол, какие люди бывают! Взглянет он тебе в очи и полонит твою душу, и ничуть тебе это не стыдно, а еще и гордо для тебя. С таким человеком ты и сам лучше становишься. Мало, друг, таких людей! Ну, так и ладно, коли мало. Много хорошего было бы на свете, так его и за хорошее не считали бы. Так-то! А слушайка дальше.

Радда и говорит: «Хорошо ты, Лойко, играешь! Кто это сделал тебе скрипку такую звонкую и чуткую?» А тот смеется: «Я сам делал! И сделал ее не из дерева, а из груди молодой девушки, которую любил крепко, а струны из ее сердца мною свиты. Врет еще немного скрипка, ну, да я умею смычок в руках держать!»

Известно, наш брат старается сразу затуманить девке очи, чтоб они не зажгли его сердца, а сами подернулись бы по тебе грустью, вот и Лойко тож. Но — не на ту попал. Радда отвернулась в сторону и, зевнув, сказала: «А еще говорили, что Зобар умен и ловок, — вот лгут люди!» — и пошла прочь.

— Эге, красавица, у тебя острые зубы! — сверкнул очами Лойко, слезая с коня. — Здравствуйте, братья! Вот и я к вам!

— Просим гостя! — сказал Данило в ответ ему. Поцеловались, поговорили и легли спать... Крепко спали. А наутро, глядим, у Зобара голова повязана тряпкой. Что это? А это конь зашиб его копытом сонного.

Э, э, э! Поняли мы, кто тот конь, и улыбнулись в усы, и Данило улыбнулся. Что ж, разве Лойко не стоил Радды? Ну, уж нет! Девка как ни хороша, да у ней душа узка и мелка, и хоть ты пуд золота повесь ей на шею, все равно, лучше того, какова она есть, не быть ей. А, ну ладно!

Живем мы да живем на том месте, дела у нас о ту пору хорошие были, и Зобар с нами. Это был товарищ! И мудр, как старик, и сведущ во всем, и грамоту русскую и мадьярскую понимал. Бывало, пойдет говорить — век бы не спал, слушал его! А играет — убей меня гром, коли на свете еще кто-нибудь так играл! Проведет, бывало, по струнам смычком — и вздрогнет у тебя сердце, проведет еще раз — и замрет оно, слушая, а он играет и улыбается. И плакать и смеяться хотелось в одно время, слушая его. Вот тебе сейчас кто-то стонет горько, просит помощи и режет тебе грудь, как ножом. А вот степь говорит небу сказки, печальные сказки. Плачет девушка, провожая добра молодца! Добрый молодец кличет девицу в степь. И вдруг — гей! Гроном гремит вольная, живая песня, и само солнце, того и гляди, затанцует по небу под ту песню! Вот как, сокол!

Каждая жила в твоём теле понимала ту песню, и весь ты становился рабом ее. И коли бы тогда крикнул Лойко: «В ножи, товарищи!» — то и пошли бы мы все в ножи, с кем указал бы он. Все он мог сделать с человеком, и все любили его, крепко любили, только Радда одна не смотрит на парня; и ладно, коли бы только это, а то еще и подсмеивается над ним. Крепко она задела за сердце Зобара, то-то крепко! Зубами скрипит, дергая

себя за ус, Лойко, очи темнее бездны смотрят, а порой в них такое сверкает, что за душу страшно становится. Уйдет почью далеко в степь Лойко, и плачет до утра его скрипка, плачет, хоронит Зобарову волю. А мы лежим да слушаем и думаем: как быть? И знаем, что, коли два камня друг на друга катятся, становиться между ними нельзя — изувечат. Так и шло дело.

Вот сидели мы, все в сборе, и говорили о делах. Скучно стало. Данило и просит Лойко: «Спой, Зобар, песенку, повесели душу!» Тот повел оком на Радду, что неподалеку от него лежала кверху лицом, глядя в небо, и ударил по струнам. Так и заговорила скрипка, точно это и вправду девичье сердце было! И запел Лойко:

Гей-гей! В груди горит огонь,
А степь так широка!
Как ветер, быстр мой борзый конь,
Тверда моя рука!

Повернула голову Радда и, привстав, усмехнулась в очи певуну. Вспыхнул, как заря, он.

Гей, гоп-гей! Ну, товарищ мой!
Поскачем, что ль, вперед?!
Одета степь суровой мглой,
А там рассвет нас ждет!
Гей-гей! Летим и встретим день,
Взвивайся в вышину!
Да только гривой не задень
Красавицу луну!

Вот пел! Никто уж так не поет теперь! А Радда и говорит, точно воду цедит:

— Ты бы не залетал так высоко, Лойко, неравно упадешь, да — в лужу носом, усы запачкаешь, смотри. — Зверем посмотрел на нее Лойко, а ничего не сказал — стерпел парень и поет себе:

Гей-гоп! Вдруг день придет сюда,
А мы с тобою спим,
Эй, гей! Ведь мы с тобой тогда
В огне стыда сгорим!

— Это песня! — сказал Данило. — Никогда не слышал такой песни; пусть из меня сатапа себе трубку делает, коли вру я!

Старый Нур и усами поводил, и плечами пожимал, и всем нам по душе была удалая Зобарова песня! Только Радде не понравилась.

— Вот так однажды комар гудел, орлиный клекот передразнивая,— сказала она, точно снегом в нас кинула.

— Может быть, ты, Радда, кнута хочешь? — потянулся Данило к ней, а Зобар бросил наземь шапку, да и говорит, весь черный, как земля:

— Стой, Данило! Горячему коню — стальные удила! Отдай мне дочку в жены!

— Вот сказал речь! — усмехнулся Данило. — Да возьми, коли можешь!

— Добро! — молвил Лойко и говорит Радде: — Ну, девушка, послушай меня немного, да не кичись! Много я вашей сестры видел, эге, много! А ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, Радда, полонила ты мою душу! Ну что ж? Чему быть, так то и будет, и... нет такого кося, на котором от самого себя ускакать можно было!.. Беру тебя в жены перед богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими людьми. Но смотри, воле моей не перечь — я свободный человек и буду жить так, как я хочу! — И подошел к ней, стиснув зубы, сверкая глазами. Смотрим мы, протянул он ей руку, — вот, думаем, и надела узду на степного коня Радда! Вдруг видим, взмахнул он руками и оземь затылком — грох!..

Что за диво? Точно пуля ударила в сердце малого. А это Радда захлестнула ему ременное кнутовище за ноги, да и дернула к себе, — вот отчего упал Лойко.

И снова уж лежит девка не шевелясь, да усмехается молча. Мы смотрим, что будет, а Лойко сидит на земле и сжал руками голову, точно боится, что она у него лопнет. А потом встал тихо, да и пошел в степь, ни на кого не глядя. Нур шепнул мне: «Смотри за ним!» И пополз я за Зобаром по степи в темноте ночной. Так-то, сокол!»

Макар выколотил пепел из трубки и снова стал павивать ее. Я закутался плотнее в шинель и, лежа, смотрел в его старое лицо, черное от загара и ветра. Он, сурово и строго качая головой, что-то шептал про себя; седые усы шевелились, и ветер трепал ему волосы на голове. Он был похож на старый дуб, обожженный молнией, но все еще мощный, крепкий и гордый своей силой. Море шепталось по-прежнему с берегом, и ветер все так же носил его шепот по степи. Нонка уже не

пела, а собравшиеся на небе тучи сделали осеннюю ночь еще темней.

«Шел Лойко нога за ногу, повесив голову и опустив руки, как плети, и, придя в балку к ручью, сел на камень и охнул. Так охнул, что у меня сердце кровью облилось от жалости, но все же не подошел к нему. Словом горю не поможешь — верно?! То-то! Час он сидит, другой сидит и третий не шелохнется — сидит.

И я лежу неподалеку. Ночь светлая, месяц серебром всю степь залил, и далеко все видно.

Вдруг вижу: от табора спешно Радда идет.

Весело мне стало: «Эх, важно! — думаю, — удалая девка Радда!» Вот она подошла к нему, он и не слышит. Положила ему руку на плечо; вздрогнул Лойко, разжал руки и поднял голову. И как вскочит, да за нож! Ух, порежет девку, вижу я, и уж хотел, крикнув до табора, побежать к ним, вдруг слышу:

— Брось! Голову разобью! — Смотрю: у Радды в руке пистоль, и она в лоб Зобару целит. Вот сатана девка! А ну, думаю, они теперь равны по силе, что будет дальше?

— Слушай! — Радда заткнула за пояс пистоль и говорит Зобару: — Я не убить тебя пришла, а мириться, бросай нож! — Тот бросил и хмуро смотрит ей в очи. Дивно это было, брат! Стоят два человека и зверями смотрят друг на друга, а оба такие хорошие, удалые люди. Смотрит на них ясный месяц да я — и все тут.

— Ну, слушай меня, Лойко: я тебя люблю! — говорит Радда. Тот только плечами повел, точно связанный по рукам и ногам.

— Видала я молодцов, а ты удалей и краше их душой и лицом. Каждый из них усы себе бы сбрил — моргни я ему глазом, все они пали бы мне в ноги, захоти я того. Но что толку? Они и так не больно-то удалы, а я бы их всех обабила. Мало осталось на свете удалых цыган, мало, Лойко. Никогда я никого не любила, Лойко, а тебя люблю. А еще я люблю волю! Волю-то, Лойко, я люблю больше, чем тебя. А без тебя мне не жить, как не жить и тебе без меня. Так вот я хочу, чтобы ты был моим и душой и телом, слышишь? — Тот усмехнулся.

— Слышу! Весело сердцу слушать твою речь! Ну-ка, скажи еще!

— А еще вот что, Лойко: все равно, как ты ни вертись, я тебя одолею, моим будешь. Так не теряй же даром времени — впереди тебя ждут мои поцелуи да ласки... крепко целовать я тебя буду, Лойко! Под поцелуй мой забудешь ты свою удалую жизнь... и живые песни твои, что так радуют молодцов-цыган, не зазвучат по степям больше — петь ты будешь любовные, нежные песни мне, Радде... Так не теряй даром времени, — сказала я это, значит, ты завтра покоришься мне как старшему товарищу юнаку. Поклонишься мне в ноги перед всем табором и поцелуешь правую руку мою — и тогда я буду твоей женой.

Вот чего захотела чертова девка! Этого и слыхом не слыхано было; только в старину у черногорцев так было, говорили старики, а у цыган — никогда! Ну-ка, сокол, выдумай что ни то посмешнее? Год поломаешь голову, не выдумаешь!

Прянул в сторону Лойко и крикнул на всю степь, как раненный в грудь. Дрогнула Радда, но не выдала себя.

— Ну, так прощай до завтра, а завтра ты сделаешь, что я велела тебе. Слышишь, Лойко?

— Слышу! Сделаю, — застонал Зобар и протянул к ней руки. Она и не оглянулась на него, а он зашатался, как сломанное ветром дерево, и пал на землю, рыдая и смеясь.

Вот как замаяла молодца проклятая Радда. Насилу я привел его в себя.

Эхе! Какому дьяволу нужно, чтобы люди горе горевали? Кто это любит слушать, как стонет, разрываясь от горя, человеческое сердце? Вот и думай тут!..

Воротился я в табор и рассказал о всем старикам. Подумали и решили подождать да посмотреть — что будет из этого. А было вот что. Когда собрались все мы вечером вокруг костра, пришел и Лойко. Был он смутен и похудел за ночь страшно, глаза ввалились; он опустил их и, не подымая, сказал нам:

— Вот какое дело, товарищи: смотрел в свое сердце этой ночью и не нашел места в нем старой вольной жизни моей. Радда там живет только — и все тут! Вот она, красавица Радда, улыбается, как царица! Она любит свою волю больше меня, а я ее люблю больше своей воли, и решил я Радде поклониться в ноги, так она велела, чтоб все видели, как ее красота покорила удалого

Лойку Зобара, который до нее играл с девушками, как кречет с утками. А потом она станет моей женой и будет ласкать и целовать меня, так что уже мне и песен петь вам не захочется, и воли моей я не пожалею! Так ли, Радда? — Он поднял глаза и сумно посмотрел на нее. Она молча и строго кивнула головой и рукой указала себе на ноги. А мы смотрели и ничего не понимали. Даже уйти куда-то хотелось, лишь бы не видеть, как Лойко Зобар упадет в ноги девке — пусть эта девка и Радда. Стыдно было чего-то, и жалко, и грустно.

— Ну! — крикнула Радда Зобару.

— Эге, не торопись, успеешь, надоест еще... — засмеялся он. Точно сталь зазвенела, — засмеялся.

— Так вот и все дело, товарищи! Что остается? А остается попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала. Попробую же, — простите меня, братцы!

Мы и догадаться еще не успели, что хочет делать Зобар, а уж Радда лежала на земле, и в груди у нее по рукоятке торчал кривой нож Зобара. Оцепенели мы.

А Радда вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно:

— Прощай, Лойко! я знала, что ты так сделаешь!.. — да и умерла...

Понял ли девку, сокол?! Вот какая, будь я проклят на веки вечные, дьявольская девка была!

— Эх! да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая! — на всю степь гаркнул Лойко да, бросившись наземь, прильнул устами к ногам мертвой Радды и замер. Мы сняли шапки и стояли молча.

Что ты скажешь в таком деле, сокол? То-то! Нур сказал было: «Надо связать его!..» Не поднялись бы руки вязать Лойко Зобара, ни у кого не поднялись бы, и Нур знал это. Махнул он рукой, да и отошел в сторону. А Данило поднял нож, брошенный в сторону Раддой, и долго смотрел на него, шевеля седыми усами, на том ноже еще не застыла кровь Радды, и был он такой кривой и острый. А потом подошел Данило к Зобару и сунул ему нож в спину как раз против сердца. Тоже отцом был Радде старый солдат Данило!

— Вот так! — повернувшись к Даниле, ясно сказал Лойко и ушел догонять Радду.

А мы смотрели. Лежала Радда, прижав к груди руку с прядью волос, и открытые глаза ее были в голубом небе, а у ног ее раскинулся удалой Лойко Зобар. На лицо его пали кудри, и не видно было его лица.

Стояли мы и думали. Дрожали усы у старого Данилы, и насупились густые брови его. Он глядел в небо и молчал, а Нур, седой, как лунь, лег впиз лицом на землю и заплакал так, что ходуном заходили его стариковские плечи.

Было тут над чем плакать, сокол!

...Идешь ты, ну и иди своим путем, не сворачивая в сторону. Прямо и иди. Может, и не загинешь даром. Вот и все, сокол!»

Макар замолчал и, спрятав в кисет трубку, запахнул на груди чекмень. Накрапывал дождь, ветер стал сильнее, море рокотало глухо и сердито. Один за другим к угасающему костру подходили кони и, осмотрев нас большими, умными глазами, неподвижно останавливались, окружая нас плотным кольцом.

— Гоп, гоп, эгой! — крикнул им ласково Макар и, похлопав ладонью шею своего любимого вороного коня, сказал, обращаясь ко мне: — Спать пора! — Потом завернулся с головой в чекмень и, могуче вытянувшись на земле, умолк.

Мне не хотелось спать. Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими глазами плавала царственно красивая и гордая фигура Радды. Она прижала руку с прядью черных волос к ране на груди, и сквозь ее смуглые, тонкие пальцы сочилась капля по капле кровь, падая на землю огненно-красными звездочками.

А за пео по пятам плыл удалой молодец Лойко Зобар; его лицо завесили пряди густых черных кудрей, и из-под них капали частые, холодные и крупные слезы...

Усиливался дождь, и море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев цыган — Лойке Зобару и Радде, дочери старого солдата Данилы.

А они оба кружились во тьме ночи плавно и безмолвно, и никак не мог красавец Лойко поравняться с гордой Раддой.

СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ

I

Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии, на морском берегу.

Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я работал, ушла на берег моря, а я и старуха Изергиль остались под густой тенью виноградных лоз и, лежа на земле, молчали, глядя, как тают в голубой мгле ночи силуэты тех людей, что пошли к морю.

Они шли, пели и смеялись; мужчины — бронзовые, с пышными, черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и девушки — веселые, гибкие, с темно-синими глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и черные, были распущены, ветер, теплый и легкий, играя ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек широкой, ровной волной, но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, развевал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин странными и сказочными. Они уходили все дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их все прекраснее.

Кто-то играл на скрипке... девушка пела мягким контральто, слышался смех...

Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождем. Еще и теперь по небу бродили об-

рывки туч, пышные, страшных очертаний и красок, тут — мягкие, как клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, там — резкие, как обломки скал, матово-черные или коричневые. Между ними ласково блестели темно-голубые клочки пеба, украшенные золотыми крапинками звезд. Все это — звуки и запахи, тучи и люди — было страшно красиво и грустно, казалось началом чудной сказки. И все как бы остановилось в своем росте, умирало; шум голосов гас, удаляясь, перерождался в печальные вздохи.

— Что ты не пошел с ними? — кивнув головой, спросила старуха Изергиль.

Время согнуло ее пополам, черные когда-то глаза были тусклы и слезились. Ее сухой голос звучал странно, он хрустел, точно старуха говорила костями.

— Не хочу, — ответил я ей.

— У!.. стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны... Боятся тебя наши девушки... А ведь ты молодой и сильный...

Луна взошла. Ее диск был велик, кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой степи, которая на своем веку так много поглотила человеческого мяса и выпила крови, отчего, наверное, и стала такой жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от листвы, я и старуха покрылись ими, как сетью. По степи, влево от нас, поплыли тени облаков, пропитанные голубым сиянием луны, они стали прозрачней и светлей.

— Смотри, вон идет Ларра!

Я смотрел, куда старуха указывала своей дрожащей рукой с кривыми пальцами, и видел: там плыли тени, их было много, и одна из них, темней и гуще, чем другие, плыла быстрее и ниже сестер, — она падала от клочка облака, которое плыло ближе к земле, чем другие, и скорее, чем они.

— Никого нет там! — сказал я.

— Ты слеп больше меня, старухи. Смотри — вон, темный, бежит степью!

Я посмотрел еще и снова не видел ничего, кроме тени.

— Это тень! Почему ты зовешь ее Ларра?

— Потому что это — он. Он уже стал теперь как тень, — пора! Он живет тысячи лет, солнце высушило его тело, кровь и кости, и ветер распылил их. Вот что может сделать бог с человеком за гордость!..

— Расскажи мне, как это было! — попросил я старуху, чувствуя впереди одну из славных сказок, сложенных в степях.

И она рассказала мне эту сказку.

«Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось это. Далеко за морем, на восход солнца, есть страна большой реки, в той стране каждый древесный лист и стебель травы дает столько тени, сколько нужно человеку, чтоб укрыться в ней от солнца, жестоко жаркого там,

Вот какая щедрая земля в той стране!

Там жило могучее племя людей, они пасли стада и на охоту за зверями тратили свою силу и мужество, пировали после охоты, пели песни и играли с девушками.

Однажды, во время пира, одну из них, черноволосую и нежную, как ночь, унес орел, спустившись с неба. Стрелы, пущенные в него мужчинами, упали, жалкие, обратно на землю. Тогда пошли искать девушку, но — не нашли ее. И забыли о ней, как забывают обо всем на земле»,

Старуха вздохнула и замолчала. Ее скрипучий голос звучал так, как будто это роптали все забытые века, воплотившись в ее груди тенями воспоминаний. Море тихо вторило началу одной из древних легенд, которые, может быть, создались на его берегах.

«Но через двадцать лет она сама пришла, измученная, иссохшая, а с нею был юноша, красивый и сильный, как сама она двадцать лет назад. И, когда ее спросили, где была она, она рассказала, что орел унес ее в горы и жил с нею там, как с женой. Вот его сын, а отца нет уже; когда он стал слабеть, то поднялся в последний раз высоко в небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы горы, насмерть разбился о них...

Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем не лучше их, только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали с ним, а он отвечал, если хотел, или молчал, а когда пришли старейшие племени, он говорил с ними, как с равными себе. Это оскорбило их, и они, назвав его неоперенной стрелой с неотточенным наконечником, сказали ему, что их чтут, им повинуются тысячи таких, как он, и

тысячи вдвое старше его. А он, смело глядя на них, отвечал, что таких, как он, нет больше; и если все чтут их — он не хочет делать этого. О!.. тогда уж совсем рассердились они. Рассердились и сказали:

— Ему нет места среди нас! Пусть идет куда хочет.

Он засмеялся и пошел, куда захотелось ему, — к одной красивой девушке, которая пристально смотрела на него; пошел к ней и, подойдя, обнял ее. А она была дочь одного из старшин, осудивших его. И, хотя он был красив, она оттолкнула его, потому что боялась отца. Она оттолкнула его, да и пошла прочь, а он ударил ее и, когда она упала, встал погой на ее грудь, так, что из ее уст кровь брызнула к небу, девушка, вздохнув, извилась змеей и умерла.

Всех, кто видел это, оковал страх, — впервые при них так убивали женщину. И долго все молчали, глядя на нее, лежавшую с открытыми глазами и окровавленным ртом, и на него, который стоял один против всех, рядом с ней, и был горд, — не опустил своей головы, как бы вызывая на нее кару. Потом, когда одумались, то схватили его, связали и так оставили, находя, что убить сейчас же — слишком просто и не удовлетворит их».

Ночь росла и крепла, наполняясь страшными, тихими звуками. В степи печально посвистывали суслики, в листве винограда дрожал стеклянный стрекот кузнечиков, листва вздыхала и шепталась, полный диск луны, раньше кроваво-красный, бледнел, удаляясь от земли, бледнел и все обильнее лил на степь голубоватую мглу...

«И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную преступления... Хотели разорвать его лошадьми — и это казалось мало им; думали пустить в него всем по стреле, но отвергли и это; предлагали сжечь его, но дым костра не позволил бы видеть его мучений; предлагали много — и не находили ничего настолько хорошего, чтобы поправилось всем. А его мать стояла перед ними на коленях и молчала, не находя ни слез, ни слов, чтобы умолять о пощаде. Долго говорили они, и вот один мудрец сказал, подумав долго:

— Спросим его, почему он сделал это?

Спросили его об этом. Он сказал:

— Развяжите меня! Я не буду говорить связаный!

А когда развязали его, он спросил:

— Что вам нужно? — спросил так, точно они были рабы...

— Ты слышал... — сказал мудрец.

— Зачем я буду объяснять вам мои поступки?

— Чтоб быть понятым нами. Ты, гордый, слушай! Все равно ты умрешь ведь... Дай же нам понять то, что ты сделал. Мы остаемся жить, и нам полезно знать больше, чем мы знаем...

— Хорошо, я скажу, хотя я, может быть, сам неверно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется, — что меня оттолкнула она... А мне было нужно ее.

— Но она не твоя! — сказали ему.

— Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет только речь, руки и ноги... а владеет он животными, женщинами, землей... и многим еще...

Ему сказали на это, что за все, что человек берет, он платит собой: своим умом и силой, иногда — жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым.

Долго говорили с ним и наконец увидели, что он считает себя первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого.

Когда люди увидали это, они снова принялись судить о том, как наказать его. Но теперь недолго они говорили, — тот, мудрый, не мешавший им судить, заговорил сам:

— Стойте! Наказание есть. Это страшное наказание; вы не выдумаете такого в тысячу лет! Наказание ему — в нем самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание!

И тут произошло великое. Грянул гром с небес, — хотя на них не было туч. Это силы небесные подтверждали речь мудрого. Все поклонились и разошлись. А этот юноша, который теперь получил имя Ларра, что значит: отверженный, выкинутый вон, — юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили его, смеялся, оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец его — не был человеком... А этот — был человек. И вот он стал жить, вольный, как птица. Он приходил в племя и похищал скот, девушек — все, что хотел. В него стреляли,

но стрелы не могли пронзить его тела, закрытого невидимым покровом высшей кары. Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу. Только издали видели его. И долго он, одинокий, так вился около людей, долго — не один десяток годов. Но вот однажды он подошел близко к людям и, когда они бросились на него, не тронулся с места и ничем не показал, что будет защищаться. Тогда один из людей догадался и крикнул громко:

— Не тропьте его. Он хочет умереть!

И все остановились, не желая облегчить участь того, кто делал им зло, не желая убивать его. Остановились и смеялись над ним. А он дрожал, слыша этот смех, и все искал чего-то на своей груди, хватаясь за нее руками. И вдруг он бросился на людей, подняв камень. Но они, уклоняясь от его ударов, не нанесли ему ни одного, и когда он, утомленный, с тоскливым криком упал на землю, то отошли в сторону и наблюдали за ним. Вот он встал и, подняв потерянный кем-то в борьбе с ним нож, ударил им себя в грудь. Но сломался нож — точно в камень ударили им. И снова он упал на землю и долго бился головой об нее. Но земля отстранялась от него, углубляясь от ударов его головы.

— Он не может умереть! — с радостью сказали люди.

И ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и видел — высоко в небе черными точками плавали могучие орлы. В его глазах было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. Так, с той поры остался он один, свободный, ожидая смерти. И вот он ходит, ходит повсюду... Видишь, он стал уже как тень и таким будет вечно! Он не понимает ни речи людей, ни их поступков — ничего. И все ищет, ходит, ходит... Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему места среди людей... Вот как был поражен человек за гордость!»

Старуха вздохнула, замолчала, и ее голова, опустившись на грудь, несколько раз странно качнулась.

Я посмотрел на нее. Старуху одолевал сон, показалось мне. И стало почему-то страшно жалко ее. Конец рассказа она вела таким возвышенным, угрожающим тоном, а все-таки в этом тоне звучала боязливая, рабская нота.

На берегу запели,— странно запели. Сначала раздался контральто,— он пропел две-три ноты, и раздался другой голос, начавший песню сначала, а первый вселился впереди его...— третий, четвертый, пятый вступили в песню в том же порядке. И вдруг ту же песню, опять-таки сначала, запел хор мужских голосов.

Каждый голос женщины звучал совершенно отдельно, все они казались разноцветными ручьями и, точно скатываясь откуда-то сверху по уступам, прыгая и звеня, вливаясь в густую волну мужских голосов, плавно лившуюся кверху, тонули в ней, вырывались из нее, заглушали ее и снова один за другим взвивались, чистые и сильные, высоко вверх.

Шума волн не слышно было за голосами.,,

II

— Слышал ли ты, чтоб где-нибудь еще так пели? — спросила Изергиль, поднимая голову и улыбаясь беззубым ртом.

— Не слышал. Никогда не слышал...

— И не услышишь. Мы любим петь. Только красавцы могут хорошо петь,— красавцы, которые любят жить. Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют там? С восхода по закат работали, взошла луна, и уже — поют! Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот — поют.

— Но здоровье...— начал было я.

— Здоровья всегда хватит на жизнь. Здоровье! Разве ты, имея деньги, не тратил бы их? Здоровье — то же золото. Знаешь ты, что я делала, когда была молодой? Я ткала ковры с восхода по закат, не вставая почти. Я, как солнечный луч, живая была и вот должна была сидеть неподвижно, точно камень. И сидела до того, что, бывало, все кости у меня трещат. А как придет ночь, я бежала к тому, кого любила, целоваться с ним. И так я бегала три месяца, пока была любовь; все ночи этого времени бывала у него. И вот до какой поры дожила — хватило крови! А сколько любила! Сколько поцелуев взяла и дала!..

Я посмотрел ей в лицо. Ее черные глаза были все-таки тусклы, их не оживило воспоминание. Луна осве-

щала ее сухие, потрескавшиеся губы, заостренный подбородок с седыми волосами на нем и сморщенный нос, загнутый, словно клюв совы. На месте щек были черные ямы, и в одной из них лежала прядь пепельно-седых волос, выбившихся из-под красной тряпки, которою была обмотана ее голова. Кожа на лице, шее и руках вся изрезана морщинами, и при каждом движении старой Изергиль можно было ждать, что сухая эта кожа разорвется вся, развалится кусками и предо мной встанет голый скелет с тусклыми черными глазами.

Она снова начала рассказывать своим хрустящим голосом:

— Я жила с матерью под Фальми, на самом берегу Бырлада; и мне было пятнадцать лет, когда он явился к нашему хутору. Был он такой высокий, гибкий, черпоусый, веселый. Сидит в лодке и так звонко кричит он нам в окна: «Эй, нет ли у вас вина... и поесть мне?» Я посмотрела в окно сквозь ветви ясеней и вижу: река вся голубая от луны, а он, в белой рубахе и в широком кушаке с распущенными на боку концами, стоит одной ногой в лодке, а другой на берегу. И покачивается, и что-то поет. Увидал меня, говорит: «Вот какая красавица живет тут!.. А я и не знал про это!» Точно он уж знал всех красавиц до меня! Я дала ему вина и вареной свипины... А через четыре дня дала уже и всю себя... Мы всё катались с ним в лодке по ночам. Он приедет и посвистит тихо, как суслик, а я выпрыгну, как рыба, в окно на реку. И едем... Он был рыбаком с Прута, и потом, когда мать узнала про все и побила меня, уговаривал все меня уйти с ним в Добруджу и дальше, в дунайские гирла. Но мне уж не нравился он тогда — только поет да целуется, ничего больше! Скучно это было уже. В то время гуцулы шайкой ходили по тем местам, и у них были любезные тут... Так вот тем — весело было. Иная ждет, ждет своего карпатского молодца, думает, что он уже в тюрьме или убит где-нибудь в драке, — и вдруг он один, а то с двумя-тремя товарищами, как с неба, упадет к ней. Подарки подносил богатые — легко же ведь доставалось все им! И пирует у нее, и хвалится ею перед своими товарищами. А сй любо это. Я и попросила одну подругу, у которой был гуцул, показать мне их... Как ее звали? Забыла как... Все стала забывать теперь. Много времени прошло с той поры, все забудешь! Она меня познакомила

с молодцом. Был хорош... Рыжий был, весь рыжий — и усы и кудри! Огненная голова. И был он такой печальный, иногда ласковый, а иногда, как зверь, ревел и дрался. Раз ударил меня в лицо... А я, как кошка, вскочила ему на грудь, да и впилась зубами в щеку... С той поры у него на щеке стала ямка, и он любил, когда я целовала ее...

— А рыбак куда девался? — спросил я.

— Рыбак? А он... тут... Он пристал к ним, к гуцулам. Сначала все уговаривал меня и грозил бросить в воду, а потом — ничего, пристал к ним и другую завел... Их обоих и повесили вместе — и рыбака, и этого гуцула. Я ходила смотреть, как их вешали. В Добрудже это было. Рыбак шел на казнь бледный и плакал, а гуцул трубку курил. Идет себе и курит, руки в карманах, один ус на плече лежит, а другой на грудь свесился. Увидал меня, вынул трубку и кричит: «Прощай!..» Я целый год жалела его. Эх!.. Это уж тогда с ними было, как они хотели уйти в Карпаты к себе. На прощанье пошли к одному румыну в гости, там их и поймали. Двоих только, а нескольких убили, а остальные ушли... Все-таки румыну заплатили после... Хутор сожгли и мельницу, и хлеб весь. Нищим стал.

— Это ты сделала? — наудачу спросил я.

— Много было друзей у гуцулов, не одна я... Кто был их лучшим другом, тот и справил им поминки...

Песня на берегу моря уже умолкла, и старухе вторил теперь только шум морских волн, — задумчивый, мятежный шум был славной второй рассказу о мятежной жизни. Все мягче становилась ночь, и все больше разрождалось в ней голубого сияния луны, а неопределенные звуки хлопотливой жизни ее невидимых обитателей становились тише, заглушаемые возрастающим шорохом волн... ибо усиливался ветер.

— А то еще турка любила я. В гареме у него была, в Скутари. Целую неделю жила, — ничего... Но скучно стало... — всё женщины, женщины... Восемь было их у него... Целый день едят, спят и болтают глупые речи... Или ругаются, квохчут, как курицы... Он был уж немолодой, этот турок. Седой почти и такой важный, богатый. Говорил — как владыка... Глаза были черные... Прямые глаза... Смотрят прямо в душу. Очень он любил молиться. Я его в Букурешти увидела... Ходит по рынку, как царь, и смотрит так важно, важно. Я ему улыб-

пулась. В тот же вечер меня схватили на улице и привезли к нему. Он сандал и пальму продавал, а в Букурешти приехал купить что-то. «Едешь ко мне?» — говорит. «О да, поеду!» — «Хорошо!» И я поехала. Богатый он был, этот турок. И сын у него уже был — черненький мальчик, гибкий такой... Ему лет шестнадцать было. С ним я и убежала от турка... Убежала в Болгарию, в Лом-Паланку... Там меня одна болгарка ножом ударила в грудь за жениха или за мужа своего — уже не помню.

Хворала я долго в монастыре одном. Женский монастырь. Ухаживала за мной одна девушка, полька... и к ней из монастыря другого, — около Арцер-Паланки, помню, — ходил брат, тоже монашек... Такой... как червяк, все извивался предо мной... И когда я выздоровела, то ушла с ним... в Польшу его.

— погоди!.. А где маленький турок?

— Мальчик? Он умер, мальчик. От тоски по дому или от любви... но стал сохнуть он, так, как неокрепшее деревцо, которому слишком много перепало солнца... так и сох все... помню, лежит, весь уже прозрачный и голубоватый, как льдинка, а все еще в нем горит любовь... И все просит наклониться и поцеловать его... Я любила его и, помню, много целовала... Потом уж он совсем стал плох — не двигался почти. Лежит и так жалобно, как нищий милостыни, просит меня лечь с ним рядом и греть его. Я ложилась. Ляжешь с ним... он сразу загорится весь... Однажды я проснулась, а он уж холодный... мертвый... Я плакала над ним. Кто скажет? Может, ведь это я и убила его. Вдвое старше его я была тогда уж. И была такая сильная, сочная... а он — что же?.. Мальчик!..

Она вздохнула и — первый раз я видел это у нее — перекрестилась трижды, шепча что-то сухими губами.

— Ну, отправилась ты в Польшу... — подсказал я ей.

— Да... с тем, маленьким полячком. Он был смешной и подлый. Когда ему нужна была женщина, он ластился ко мне котом и с его языка горячий мед тек, а когда он меня не хотел, то щелкал меня словами, как кнутом. Раз как-то шли мы по берегу реки, и вот он сказал мне гордое, обидное слово. О! О!.. Я рассердилась! Я закипела, как смола! Я взяла его на руки и, как ребенка, — он был маленький, — подняла вверх, сдавив ему бока так, что он посинел весь. И вот я размах-

нулась и бросила его с берега в реку. Он кричал. Смешно так кричал. Я смотрела на него сверху, а он барахтался там, в воде. Я ушла тогда. И больше не встречалась с ним. Я была счастлива на это: никогда не встречалась после с теми, которых когда-то любила. Это не хорошие встречи, все равно как бы с покойниками.

Старуха замолчала, вздыхая. Я представлял себе воскрешаемых ею людей. Вот огненно-рыжий, усатый гугул идет умирать, спокойно покуривая трубку. У него, наверное, были холодные, голубые глаза, которые на все смотрели сосредоточенно и твердо. Вот рядом с ним черноусый рыбак с Прута; плачет, не желая умирать, и на его лице, бледном от предсмертной тоски, потускнели веселые глаза, и усы, смоченные слезами, печально обвисли по углам искривленного рта. Вот он, старый, важный турок, наверное, фаталист и деспот, и рядом с ним его сын, бледный и хрупкий цветок востока, отравленный поцелуями. А вот тщеславный поляк, галантный и жестокий, красноречивый и холодный... И все они — только бледные тени, а та, которую они целовали, сидит рядом со мной живая, но иссушенная временем, без тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без огня, — тоже почти тень.

Она продолжала:

— В Польше стало трудно мне. Там живут холодные и лживые люди. Я не знала их змеиного языка. Всё шипят... Что шипят? Это бог дал им такой змеиный язык за то, что они лживы. Шла я тогда, не зная куда, и видела, как они собирались бунтовать с вами, русскими. Дошла до города Бохнии. Жид один купил меня; не для себя купил, а чтобы торговать мною. Я согласилась на это. Чтобы жить — надо уметь что-нибудь делать. Я ничего не умела и за это платила собой. Но я подумала тогда, что ведь, если я достану немного денег, чтобы воротиться к себе на Бырлад, я порву цепи, как бы они крепки ни были. И жила я там. Ходили ко мне богатые паны и пировали у меня. Это им дорого стоило. Дрались из-за меня они, разорялись. Один добивался меня долго и раз вот что сделал: пришел, а слуга за ним идет с мешком. Вот пан взял в руки тот мешок и опрокинул его над моей головой. Золотые монеты стучали меня по голове, и мне весело было слушать их звон, когда они падали на пол. Но я все-таки выгнала пана. У него было такое толстое,

сырое лицо, и живот — как большая подушка. Он смотрел, как сытая свинья. Да, выгнала я его, хотя он и говорил, что продал все земли свои, и дома, и коней, чтобы осыпать меня золотом. Я тогда любила одного достойного папа с изрубленным лицом. Все лицо было у него изрублено крест-накрест саблями турок, с которыми он незадолго перед тем воевал за греков. Вот человек!.. Что ему греки, если он поляк? А он пошел, бился с ними против их врагов. Изрубили его, у него вытек один глаз от ударов, и два пальца на левой руке были тоже отрублены... Что ему греки, если он поляк? А вот что: он любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя, — те просто лентяи или трусы или не понимают жизни, потому что, кабы люди понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней. И тогда жизнь не пожирала бы людей бесследно... О, этот, рубленый, был хороший человек! Он готов был идти на край света, чтобы делать что-нибудь. Наверное, ваши убили его во время бушты. А зачем вы ходили бить мадьяр? Ну-ну, молчи!..

И, приказывая мне молчать, старая Изергиль вдруг замолчала сама, задумалась.

— Знала также я и мадьяра одного. Он однажды ушел от меня, — зимой это было, — и только весной, когда стоял снег, нашли его в поле с простреленной головой. Вот как! Видишь — не меньше чумы губит любовь людей; коли посчитать — не меньше... Что я говорила? О Польше... Да, там я сыграла свою последнюю игру. Встретила одного шляхтича... Вот был красив! Как черт. Я же стара уж была, эх, стара! Было ли мне четыре десятка лет? Пожалуй, что и было... А он был еще и горд, и избалован нами, женщинами. Дорого он мне стал... да. Он хотел сразу так себе взять меня, но я не далась. Я не была никогда рабой, ничьей. А с жидом я уже кончила, много денег дала ему... И уже в Кракове жила. Тогда у меня все было: и лошади, и золото, и слуги... Он ходил ко мне, гордый демон, и все хотел, чтобы я сама кинулась ему в руки. Мы поспорили с ним... Я даже, — помню, — дурнела от этого. Долго это тянулось... Я взяла свое: он на коленях упрашивал меня... Но только взял, как уж и бросил. Тогда поняла я, что

стала стара... Ох, это было мне не сладко! Вот уж не сладко!.. Я ведь любила его, этого черта... а он, встречаясь со мной, смеялся... подлый он был! И другим он смеялся надо мной, а я это знала. Ну, уж горько было мне, скажу! Но он был тут, близко, и я все-таки любовалась им. А как вот ушел он биться с вами, русскими, тошно стало мне. Ломала я себя, но не могла сломать... И решила поехать за ним. Он около Варшавы был, в лесу.

Но когда я приехала, то узнала, что уж побили их ваши... и что он в плену, недалеко в деревне.

«Значит,— подумала я,— не увижу уже его больше!» А видеть хотелось. Ну, стала стараться увидеть... Нищей оделась, хромой, и пошла, завязав лицо, в ту деревню, где был он. Везде казаки и солдаты... дорого мне стоило быть там! Узнала я, где поляки сидят, и вижу, что трудно попасть туда. А нужно мне это было. И вот ночью поползла я к тому месту, где они были. Ползу по огороду между гряд и вижу: часовой стоит на моей дороге... А уж слышно мне — поют поляки и говорят громко. Поют песню одну... к матери бога... И тот там же поет... Аркадэк мой. Мне горько стало, как подумала я, что раньше за мной ползали... а вот оно, пришло время — и я за человеком поползла змеей по земле и, может, на смерть свою ползу. А этот часовой уже слушает, выгнулся вперед. Ну, что же мне? Встала я с земли и пошла на него. Ни ножа у меня нет, ничего, кроме рук да языка. Жалею, что не взяла ножа. Шепчу: «Погоди!..» А он, солдат этот, уже приставил к горлу мне штык. Я говорю ему шепотом: «Не коли, погоди, послушай, коли у тебя душа есть! Не могу тебе ничего дать, а прошу тебя...» Он опустил ружье и также шепотом говорит мне: «Пошла прочь, баба! пошла! Чего тебе?» Я сказала ему, что сын у меня тут заперт... «Ты понимаешь, солдат,— сын! Ты ведь тоже чей-нибудь сын, да? Так вот посмотри на меня — у меня есть такой же, как ты, и вон он где! Дай мне посмотреть на него, может, он умрет скоро... и, может, тебя завтра убьют... будет плакать твоя мать о тебе? И ведь тяжело будет тебе умереть, не взглянув на нее, твою мать? И моему сыну тяжело же. Пожалей же себя и его, и меня — мать!..»

Ох, как долго говорила я ему! Шел дождь и мочил нас. Ветер выл и ревел, и толкал меня то в спину, то

в грудь. Я стояла и качалась перед этим камешным солдатом. А он все говорил: «Нет!» И каждый раз, как я слышала его холодное слово, еще жарче во мне вспыхивало желание видеть того, Аркадэка... Я говорила и мерила глазами солдата — он был маленький, сухой и все кашлял. И вот я упала на землю перед ним и, охватив его колени, все упрашивая его горячими словами, свалила солдата на землю. Он упал в грязь. Тогда я быстро повернула его лицом к земле и придавила его голову в лужу, чтоб он не кричал. Он не кричал, а только все барахтался, стараясь сбросить меня с своей спины. Я же обеими руками втискивала его голову глубже в грязь. Он и задохнулся... Тогда я бросилась к амбару, где пели поляки. «Аркадэк!..» — шептала я в щели стен. Они догадливые, эти поляки, — и, услышав меня, не перестали петь! Вот его глаза против моих. «Можешь ты выйти отсюда?» — «Да, через пол!» — сказал он. «Ну, иди же». И вот четверо их вылезло из-под этого амбара: трое и Аркадэк мой. «Где часовые?» — спросил Аркадэк. «Вон лежит!..» И они пошли тихо-тихо, согнувшись к земле. Дождь шел, ветер выл громко. Мы ушли из деревни и долго молча шли лесом. Быстро так шли. Аркадэк держал меня за руку, и его рука была горяча и дрожала. О!.. Мне так хорошо было с ним, пока он молчал. Последние это были минуты — хорошие минуты моей жадной жизни. Но вот мы вышли на луг и остановились. Они благодарили меня все четверо. Ох, как они долго и много говорили мне что-то! Я все слушала и смотрела на своего пана. Что же он сделает мне? И вот он обнял меня и сказал так важно... Не помню, что он сказал, но так выходило, что теперь он в благодарность за то, что я увела его, будет любить меня... И стал он на колени предо мной, улыбаясь, и сказал мне: «Моя королева!» Вот какая лживая собака была это!.. Ну, тогда я дала ему пинка ногой и ударила бы его в лицо, да он отшатнулся и вскочил. Грозный и бледный стоит он предо мной... Стоят и те трое, хмурые все. И все молчат. Я посмотрела на них... Мне тогда стало — помню — только скучно очень, и такая лень напала на меня... Я сказала им: «Идите!» Они, псы, спросили меня: «Ты воротись туда, указать наш путь?» Вот какие подлые! Ну, все-таки ушли они. Тогда и я пошла... А на другой день взяли меня ваши, но скоро отпустили. Тогда увидела я, что пора мне завести

гнездо, будет жить кукушкой! Уж тяжела стала я, и ослабели крылья, и перья потускнели... Пора, пора! Тогда я уехала в Галицию, а оттуда в Добруджу. И вот уже около трех десятков лет живу здесь. Был у меня муж, молдаванин; умер с год тому времени. И живу я вот! Одна живу... Нет, не одна, а вон с теми.

Старуха махнула рукой к морю. Там все было тихо. Иногда рождался какой-то краткий, обманчивый звук и умирал тотчас же.

— Любят они меня. Много я рассказываю им разного. Им это надо. Еще молодые все... И мне хорошо с ними. Смотрю и думаю: «Вот и я, было время, такая же была... Только тогда, в мое время, больше было в человеке силы и огня, и оттого жилось веселее и лучше... Да!..»

Она замолчала. Мне грустно было рядом с ней. Она же дремала, качая головой, и тихо шептала что-то... может быть, молилась.

С моря поднималась туча — черная, тяжелая, суровых очертаний, похожая на горный хребет. Она ползла в степь. С ее вершины срывались клочья облаков, неслись вперед ее и гасили звезды одну за другой. Море шумело. Недалеко от нас, в лозах винограда, целовались, шептали и вздыхали. Глубоко в степи выла собака... Воздух раздражал нервы странным запахом, щеко-тавшим ноздри. От облаков падали на землю густые стаи теней и ползли по ней, ползли, исчезали, являлись снова... На месте луны осталось только мутное опаловое пятно, иногда его совсем закрывал сизый клочок облака. И в степной дали, теперь уже черной и страшной, как бы притаившейся, скрывшей в себе что-то, вспыхивали малепькие голубые оготки. То там, то тут они на миг являлись и гасли, точно несколько людей, рассыпавшихся по степи далеко друг от друга, искали в ней что-то, зажигая спички, которые ветер тотчас же гасил. Это были очень странные голубые языки огня, намекавшие на что-то сказочное.

— Видишь ты искры? — спросила меня Изергиль.

— Вон те, голубые? — указывая ей на степь, сказал я.

— Голубые? Да, это они... Значит, летают все-таки! Ну-ну... Я уж вот не вижу их больше. Не могу я теперь многого видеть.

— Откуда эти искры? — спросил я старуху.

Я слышал кое-что раньше о происхождении этих искр, но мне хотелось послушать, как расскажет о том же старая Изергиль.

— Эти искры от горящего сердца Данко. Было на свете сердце, которое однажды вспыхнуло огнем... И вот от него эти искры. Я расскажу тебе про это... Тоже старая сказка... Старое, все старое! Видишь ты, сколько в старине всего?.. А теперь вот нет ничего такого — ни дел, ни людей, ни сказок таких, как в старицу... Почему?.. Ну-ка, скажи! Не скажешь... Что ты знаешь? Что все вы знаете, молодые? Эхе-хе!.. Смотрели бы в старицу зорко — там все отгадки найдутся... А вот вы не смотрите и не умсете жить оттого... Я не вижу разве жизнь? Ох, все вижу, хоть и плохи мои глаза! И вижу я, что не живут люди, а всё примеряются, примеряются и кладут на это всю жизнь. И когда обворуют сами себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу. Что же тут — судьба? Каждый сам себе судьба! Всяких людей я пынче вижу, а вот сильных нет! Где ж они?.. И красавцев становится все меньше.

Старуха задумалась о том, куда девались из жизни сильные и красивые люди, и, думая, осматривала темную степь, как бы ища в ней ответа.

Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что, если спрошу ее о чем-либо, она опять отвлечется в сторону.

И вот она начала рассказ.

III

«Жили на земле в старицу одни люди, непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей, а с четвертой — была степь. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для того были две дороги: одна — назад, — там

были сильные и злые враги, другая — вперед, — там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно днем в сером сумраке и еще плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. И всегда, днем и ночью, вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно собиралось раздавить их, а они привыкли к степному простору. А еще страшней было, когда ветер бил по вершинам деревьев и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Это были все-таки сильные люди, и могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их, но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы, и коли б умерли они, то пропали б с ними из жизни и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи, под глухой шум леса, в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота... Люди всё сидели и думали. Но ничто — ни работа, ни женщины не изнуряют тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум... Страх родился среди них, сковал им крепкие руки, ужас родили женщины плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой скованных страхом живых, — и трусливые слова стали слышны в лесу, сначала робкие и тихие, а потом все громче и громче... Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою, и никто уже, испуганный смертью, не боялся рабской жизни... Но тут явился Данко и спас всех один».

Старуха, очевидно, часто рассказывала о горящем сердце Данко. Она говорила певуче, и голос ее, скрипучий и глухой, ясно рисовал предо мной шум леса, среди которого умирали от ядовитого дыхания болота несчастные, загнанные люди.

«Данко — один из тех людей, молодой красавец. Красивые — всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам:

— Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с тем ничего не станет. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец — все на свете имеет конец! Идемте! Ну! Гей!..

Посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня.

— Веди ты нас! — сказали они.

Тогда он повел...»

Старуха помолчала и посмотрела в степь, где все густела тьма. Искорки горящего сердца Данко вспыхивали где-то далеко и казались голубыми воздушными цветами, расцветая только на миг.

«Повел их Данко. Дружно все пошли за ним — верили в него. Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой; как змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они... Все гуще становился лес, все меньше было сил! И вот стали роптать на Данко, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то. А он шел впереди их и был бодр и ясен.

Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди между больших деревьев и в грозном шуме молний, шли они, и, качаясь, великаны-деревья скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим, холодным огнем и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, освещенные холодным огнем молний, казались живыми, простирающими вокруг людей, уходивших из плена тьмы, корявые, длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей. А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, темное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомленные им, пали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гнев обрушились на Данко, человека, который шел впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять ими, — вот как!

Остановились они и под торжествующий шум леса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко.

— Ты,— сказали они,— ничтожный и вредный человек для нас! Ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь!

— Вы сказали: — «Веди!» — и я повел! — крикнул Данко, становясь против них грудью.— Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец!

Но эти слова разъярили их еще более.

— Ты умрешь! Ты умрешь! — ревели они.

А лес все гудел и гудел, вторя их крикам, и молнии разрывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что они — как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желания спасти их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня... А они, увидав это, подумали, что он рассвирепел, отчего так ярко и разгорелись очи, и они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. А он уже понял их думу, оттого еще ярче загорелось в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску.

А лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь...

— Что сделаю я для людей?! — сильнее грома крикнул Данко.

И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой.

Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни.

— Идем! — крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям.

Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами, но его шум

был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко все был впереди, и сердце его все пылало, пылало!

И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была — там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестя трава в брильянтах дождя и золотом сверкала река... Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что была горячей струей из разорванной груди Данко.

Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко, — кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и — умер.

Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой... И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...»

Вот откуда они, голубые искры степи, что являются перед грозой!

Теперь, когда старуха кончила свою красивую сказку, в степи стало страшно тихо, точно и она была поражена силой смельчака Данко, который сжег для людей свое сердце и умер, не прося у них ничего в награду себе. Старуха дремала. Я смотрел на нее и думал: «Сколько еще сказок и воспоминаний осталось в ее памяти?» И думал о великом горящем сердце Данко и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд.

Дунул ветер и обнажил из-под лохмотьев сухую грудь старухи Изергиль, засыпавшей все крепче. Я прикрыл ее старое тело и сам лег на землю около нее. В степи было тихо и темно. По небу все ползли тучи, медленно, скучно... Море шумело глухо и печально.

ЧЕЛКАШ

Потемневшее от пыли голубое южное небо — мутно; жаркое солнце смотрит в зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую вуаль. Оно почти не отражается в воде, рассекаемой ударами весел, пароводных виштов, острыми киллами турецких фелюг и других судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань. Закованные в гранит волпы моря подавлены громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о борта судов, о берега, бьются и ропщут, вспененные, загрязненные разным хламом.

Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание извозчичьих телег, свистки пароводов, то пронзительно резкие, то глухо ревушие, крики грузчиков, матросов и таможенных солдат — все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового дня и, мятежно колыхаясь, стоят низко в небе над гаванью, — к ним вздымаются с земли все новые и новые волны звуков — то глухие, рокочущие, они сурово сотрясают все кругом, то резкие, гремящие, — рвут пыльный, знойный воздух.

Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди — все дышит мощными звуками страстного гимна Меркурию. Но голоса людей, еле слышные в нем, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих

на их спинах, суетливо бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, они ничтожны по сравнению с окружающими их железными колоссами, грудями товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их.

Стоя под парами, тяжелые гиганты-пароходы свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рожденном ими, чудится насмешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их палубам, наполняя глубокие трюмы продуктами своего рабского труда. До слез смешны длинные вереницы грузчиков, несущих на плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Рваные, потные, отупевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестящие на солнце дородством машины, созданные этими людьми, — машины, которые в конце концов приводились в движение все-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов, — в этом сопоставлении была целая поэма жестокой иронии.

Шум — подавлял, пыль, раздражая ноздри, — слепила глаза, зной — пек тело и изнурял его, и все кругом казалось напряженным, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освеженном им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и тогда в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно...

Раздалось двенадцать мерных и звонких ударов в колокол. Когда последний медный звук замер, дикая музыка труда уже звучала тише. Через минуту еще она превратилась в глухой недовольный ропот. Теперь голоса людей и плеск моря стали слышней. Это — наступило время обеда.

I

Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными группами, покупая себе у торговки разную спедь и усаживаясь обедать тут же, на мостовой, в тенистых уголках, — появился Гришка Челкаш, старый травленный волк, хорошо знакомый гаванскому

люду, заядлый пьяница и ловкий, смелый вор. Он был бос, в старых, вытертых плисовых штанах, без шапки, в грязной ситцевой рубаше с разорванным воротом, открывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые коричневой кожей. По всклокоченным черным с проседью волосам и смятому, острому, хищному лицу было видно, что он только что проспунлся. В одном буром усе у него торчала соломина, другая соломина запуталась в щетине левой бритой щеки, а за ухо он заткнул себе маленькую, только что сорванную ветку липы. Длинный, костлявый, немного сутулый, он медленно шагал по камням и, поводя своим горбатым, хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды, поблескивая холодными серыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиков. Его бурые усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, как у кота, а заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными, кривыми и цепкими пальцами. Даже и здесь, среди сотен таких же, как он, резких босяцких фигур, он сразу обращал на себя внимание своим сходством с степным ястребом, своей хищной худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной и покойной с виду, по внутренне возбужденной и зоркой, как лет той хищной птицы, которую он напоминал.

Когда он поравнялся с одной из групп босяков-грузчиков, расположившихся в тени под грудой корзин с углем, ему навстречу встал коренастый малый с глупым, в багровых пятнах, лицом и поцарапанной шеей, должно быть, недавно избитый. Он встал и пошел рядом с Челкашом, вполголоса говоря:

— Флотские двух мест мануфактуры хватились... Ищут.

— Ну? — спросил Челкаш, спокойно смерив его глазами.

— Чего — ну? Ищут, мол. Больше ничего.

— Меня, что ли, спрашивали, чтоб помог поискать?

И Челкаш с улыбкой посмотрел туда, где возвышался пакгауз Добровольного флота.

— Пошел к черту!

Товарищ повернул назад.

— Эй, погоди! Кто это тебя изукрасил? Ишь как испортили вывеску-то... Мишку не видал здесь?

— Давно не видал! — крикнул тот, уходя к своим товарищам.

Челкаш шагал дальше, встречаемый всеми, как человек хорошо знакомый. Но он, всегда веселый и едкий, был сегодня, очевидно, не в духе и отвечал на расспросы отрывисто и резко.

Откуда-то из-за бунта товара вывернулся таможенный сторож, темно-зеленый, пыльный и воинственно-прямой. Он загородил дорогу Челкашу, встав перед ним в вызывающей позе, схватившись левой рукой за ручку кортика, а правой пытаясь взять Челкаша за ворот.

— Стой! Куда идешь?

Челкаш отступил шаг назад, поднял глаза на сторожа и сухо улыбнулся.

Красное, добродушно-хитрое лицо служивого пыталось изобразить грозную мину, для чего надулось, стало круглым, багровым, двигало бровями, таращило глаза и было очень смешно.

— Сказано тебе — в гавань не смей ходить, ребра изломаю! А ты опять? — грозно кричал сторож.

— Здравствуй, Семеныч! мы с тобой давно не видались, — спокойно поздоровался Челкаш и протянул ему руку.

— Хоть бы век тебя не видать! Иди, иди!..

Но Семеныч все-таки пожал протянутую руку.

— Вот что скажи, — продолжал Челкаш, не выпуская из своих цепких пальцев руки Семеныча и приятельски-фамиллярно потряхивая ее, — ты Мишку не видал?

— Какого еще Мишку? Никакого Мишки не знаю! Пошел, брат, вон! а то покгаузный увидит, он те...

— Рыжего, с которым я прошлый раз работал на «Костроме», — стоял на своем Челкаш.

— С которым воруеть вместе, вот как скажи! В больницу его свезли, Мишку твоего, ногу отдавило чугунной штыкой. Поди, брат, пока честью просят, поди, а то в шею провожу!..

— Ага, ишь ты! а ты говоришь — не знаю Мишки... Знаешь вот. Ты чего же такой сердитый, Семеныч?

— Вот что, ты мне зубы не заговаривай, а иди!..

Сторож начал сердиться и, оглядываясь по сторонам, пытался вырвать свою руку из крепкой руки Челкаша. Челкаш спокойно посматривал на него из-под своих густых бровей и, не отпуская его руки, продолжал разговаривать:

— Ты не торопи меня. Я вот наговорюсь с тобой в досталь и уйду. Ну, рассказывай, как живешь?.. жена, детки — здоровы? — И, сверкая глазами, он, оскалив зубы насмешливой улыбкой, добавил: — В гости к тебе собираюсь, да все времени нет — пью все вот...

— Ну, ну, — ты это брось! Ты, — не шути, дьявол костлявый! Я, брат, в самом деле... Али ты уж по домам, по улицам грабить собираешься?

— Зачем? И здесь на наш с тобой век добра хватит. Ей-богу, хватит, Семечка!.. Ты, слышь, опять два места мануфактуры слямзил?.. Смотри, Семенчик, осторожней! не попадись как-нибудь!..

Возмущенный Семенчик затрясся, брызгая слюной и пытаясь что-то сказать. Челкаш отпустил его руку и спокойно зашагал длинными ногами назад к воротам гавани. Сторож, неистово ругаясь, двинулся за ним.

Челкаш повеселел; он тихо посвистывал сквозь зубы и, засунув руки в карманы штанов, шел медленно, отпуская направо и налево колкие смешки и шутки. Ему платили тем же.

— Ишь ты, Гришка, печальство-то как тебя оберегает! — крикнул кто-то из толпы грузчиков, уже пообедавших и валявшихся на земле, отдыхая.

— Я — босый, так вот Семенчик следит, как бы мне ногу не напороть, — ответил Челкаш.

Подшли к воротам. Два солдата ощупали Челкаша и легонько вытолкнули его на улицу.

Челкаш перешел через дорогу и сел на тумбочку против дверей кабака. Из ворот гавани с грохотом выезжала вереница нагруженных телег. Навстречу им неслись порожние телеги с извозчиками, подпрыгивавшими на них. Гавань изрыгала воющий гром и едкую пыль...

В этой бешеной сутолоке Челкаш чувствовал себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя немного труда и много ловкости. Он был уверен, что ловкости хватит у него, и, щуря глаза, мечтал о том, как загуляет завтра поутру, когда в его кармане явятся кредитные бумажки... Вспомнился товарищ, Мишка, — он очень пригодился бы сегодня ночью, если бы не сломал себе ногу. Челкаш про себя обругался, думая, что одному, без Мишки, пожалуй, и не справиться с делом. Какова-то будет ночь?.. Он посмотрел на небо и вдоль по улице.

Шагах в шести от него, у тротуара, на мостовой, прислонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пестрядишной рубаше, в таких же штанах, в лаптях и в оборванном рыжем картузе. Около него лежала маленькая котомка и коса без черенка, обернутая в жгут из соломы, аккуратно перекрученный веревочкой. Парень был широкоплеч, коренаст, русский, с загорелым и обветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими на Челкаша доверчиво и добродушно.

Челкаш оскалил зубы, высунул язык и, сделав страшную рожу, уставился на него вытаращенными глазами.

Парень, сначала недоумевая, смигнул, но потом вдруг расхохотался, крикнул сквозь смех: «Ах, чудак!» — и, почти не вставая с земли, неуклюже перевалился от своей тумбочки к тумбочке Челкаша, волоча свою котомку по пыли и постукивая пяткой косы о камни.

— Что, брат, погулял, видно, здорово!.. — обратился он к Челкашу, дернув его штанину.

— Было дело, сосунок, было этакое дело! — улыбаясь, сознался Челкаш. Ему сразу понравился этот здоровый добродушный парень с ребячьими светлыми глазами. — С косовицы, что ли?

— Как же!.. Косили версту — выкосили грош. Плохи дела-то! Нар-роду — уйма! Голодающий этот самый приплелся, — цену сбили, хоть не берись! Шесть гривен в Кубани платили. Дела!.. А раньше-то, говорят, три целковых цена, четыре, пять!..

— Раньше!.. Раньше-то за одно погляденье на русского человека там трёшну платили. Я вот годов десять тому назад этим самым и промышлял. Придешь в станицу — русский, мол, я! — Сейчас тебя поглядят, пощупают, подивуются и — получи три рубля! Да напоят, накормят. И живи сколько хочешь!

Парень, слушая Челкаша, сначала широко открыл рот, выражая на круглой физиономии недоумевающее восхищение, но потом, поняв, что оборванец врет, шлепнул губами и захохотал. Челкаш сохранял серьезную мину, скрывая улыбку в своих усах.

— Чудак, говоришь будто правду, а я слушаю да верю... Нет, ей-богу, раньше там...

— Ну, а я про что? Ведь и я говорю, что, мол, там раньше...

— Поди ты!.. — махнул рукой парепь. — Сапожник, что ли? Али портной?.. Ты-то?

— Я-то? — переспросил Челкаш и, подумав, сказал: — Рыбак я...

— Рыба-ак! Ишь ты! Что же, ловишь рыбу?..

— Зачем рыбу? Здешние рыбаки не одну рыбу ловят. Больше утопленников, старые якорья, потонувшие суда — все! Удочки такие есть для этого...

— Ври, ври!.. Из тех, может, рыбаков, которые про себя поют:

Мы закидываем сети
По сухим берегам
Да по амбарам, по клетям!..

— А ты видал таких? — спросил Челкаш, с усмешкой поглядывая на него.

— Нет, видать где же! Слышал...

— Нравятся?

— Они-то? Как же!.. Ничего ребята, вольные, свободные...

— А что тебе — свобода?.. Ты разве любишь свободу?

— Да ведь как же? Сам себе хозяин, пошел — куда хошь, делай — что хошь... Еще бы! Коли сумеешь себя в порядке держать, да на шее у тебя камней нет, — первое дело! Гуляй знай, как хошь, бога только помни...

Челкаш презрительно сплюнул и отвернулся от парня.

— Сейчас вот мое дело... — говорил тот. — Отец у меня — умер, хозяйство — малое, мать-старуха, земля высосана, — что я должен делать? Жить — надо. А как? Неизвестно. Пойду я в зятя в хороший дом. Ладно. Кабы выделили дочь-то!.. Нет ведь — тесть-дьявол не выделит. Ну, и буду я ломать на него... долго... Года! Вишь, какие дела-то! А кабы мне рублей ста полтора заработать, сейчас бы я на ноги встал и — Антипу-то — пакося, выкуси! Хошь выделить Марфу? Нет? Не надо! Слава богу, девок в деревне не одна она. И был бы я, значит, совсем свободен, сам по себе... Н-да! — Парепь вздохнул. — А теперь ничего не поделаешь иначе, как в зятя идти. Думал было я: вот, мол, на Кубань-то пойду, рублей два ста тяпну, — шабаш! барин!.. Ан не выго-

рело. Ну и пойдешь в батраки... Своим хозяйством не исправлюсь я, ни в каком разе! Эхе-хе!..

Парню сильно не хотелось идти в зятя. У него даже лицо печально потускпело. Он тяжело заерзал на земле.

Челкаш спросил:

— Теперь куда ж ты?

— Да ведь — куда? известно, домой.

— Ну, брат, мне это неизвестно, может, ты в Турцию собрался...

— В Ту-урцию!.. — протянул парень. — Кто ж это туда ходит из православных? Сказал тоже!..

— Экой ты дурак! — вздохнул Челкаш и снова отворотился от собеседника. В нем этот здоровый деревенский парень что-то будил...

Смутное, медленно назревавшее, досадливое чувство копошилось где-то глубоко и мешало ему сосредоточиться и обдумать то, что нужно было сделать в эту ночь.

Обруганный парень бормотал что-то вполголоса, изредка бросая на босняка косые взгляды. У него смешно надулись щеки, оттопырились губы и суженные глаза как-то чересчур часто и смешно помаргивали. Он, очевидно, не ожидал, что его разговор с этим усатым оборванцем кончится так быстро и обидно.

Оборванец не обращал больше на него внимания. Он задумчиво посвистывал, сидя на тумбочке и отбивая по ней такт голый грязной пяткой.

Парню хотелось поквитаться с ним.

— Эй ты, рыбак! Часто это ты запиваешь-то? — начал было он, но в этот же момент рыбак быстро обернул к нему лицо, спросив его:

— Слушай, сосун! Хочешь сегодня ночью работать со мной? Говори скорей!

— Чего работать? — недоверчиво спросил парень.

— Ну, чего!.. Чего заставляю... Рыбу ловить поедем. Грести будешь...

— Так... Что же? Ничего. Работать можно. Только вот... не влететь бы во что с тобой. Больно ты закомурист... темеп ты...

Челкаш почувствовал нечто вроде ожога в груди и с холодной злобой вполголоса проговорил:

— А ты не болтай, чего не смыслишь. Я те вот долбану по башке, тогда у тебя в ней просветлеет...

Он соскочил с тумбочки, дернул левой рукой свой ус,

а правую сжал в твердый, жилистый кулак и заблестел глазами.

Парень испугался. Он быстро оглянулся вокруг и, робко моргая, тоже вскочил с земли. Меряя друг друга глазами, они молчали.

— Ну? — сурово спросил Челкаш. Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесенного ему этим молоденьким теленком, которого он во время разговора с ним презирал, а теперь сразу возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза, здоровое загорелое лицо, короткие крепкие руки, за то, что он имеет где-то там деревню, дом в ней, за то, что его приглашает в зятья зажиточный мужик, — за всю его жизнь прошлую и будущую, а больше всего за то, что он, этот ребенок по сравнению с ним, Челкашом, смеет любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна. Всегда неприятно видеть, что человек, которого ты считаешь хуже и ниже себя, любит или ненавидит то же, что и ты, и, таким образом, становится похож на тебя.

Парень смотрел на Челкаша и чувствовал в нем хозяина.

— Ведь я... не прочь... — заговорил он. — Работы ведь и ищу. Мне все равно, у кого работать, у тебя или у другого. Я только к тому сказал, что не похож ты на рабочего человека, — больно уж тово... драный. Ну, я ведь знаю, что это со всяким может быть. Господи, рази я не видел пьяниц! Эх, сколько!.. да еще и не таких, как ты.

— Ну, ладно, ладно! Согласен? — уже мягче переспросил Челкаш.

— Я-то? Айда!.. с моим удовольствием! Говори цену.

— Цена у меня по работе. Какая работа будет. Какой улов, значит... Пятитку можешь получить. Понял?

Но теперь дело касалось денег, а тут крестьянин хотел быть точным и требовал той же точности от нанимателя. У парня вновь вспыхнуло недоверие и подозрительность.

— Это мне не рука, брат!

Челкаш вошел в роль:

— Не толкуй, погоди! Идем в трактир!

И они пошли по улице рядом друг с другом, Челкаш — с важной миной хозяина, покручивая усы, парень — с выражением полной готовности подчиниться, но все-таки полный недоверия и боязни.

— А как тебя звать? — спросил Челкаш.

— Гаврилом! — ответил парень.

Когда они пришли в грязный и закоптелый трактир, Челкаш, подойдя к буфету, фамильярным тоном завсегдатая заказал бутылку водки, шей, поджарку из мяса, чаю и, перечислив требуемое, коротко бросил буфетчику: «В долг все!» — на что буфетчик молча кивнул головой. Тут Гаврила сразу преисполнился уважением к своему хозяину, который, несмотря на свой вид жулика, пользуется такой известностью и доверием.

— Ну, вот мы теперь закусим и поговорим толком. Пока ты посиди, а я схожу кое-куда.

Он ушел. Гаврила осмотрелся кругом. Трактир помещался в подвале; в нем было сыро, темно, и весь он был полоп удушливым запахом перегорелой водки, табачного дыма, смолы и еще чего-то острого. Против Гаврилы, за другим столом, сидел пьяный человек в матросском костюме, с рыжей бородой, весь в угольной пыли и смоле. Он урчал, поминутно икая, песню, всю из каких-то перерванных и изломанных слов, то страшно шипящих, то гортанных. Он был, очевидно, не русский.

Сзади его поместились две молдаванки; оборванные, черноволосые, загорелые, они тоже скрипели песню пьяными голосами.

Потом из тьмы выступали еще разные фигуры, все странно растрепанные, все полупьяные, крикливые, беспокойные...

Гавриле стало жутко. Ему захотелось, чтобы хозяин воротился скорее. Шум в трактире сливался в одну ноту, и казалось, что это рычит какое-то огромное животное, оно, обладая сотней разнообразных голосов, раздраженно, слепо рвется вон из этой каменной ямы и не находит выхода на волю... Гаврила чувствовал, как в его тело всасывается что-то опьяняющее и тягостное, от чего у него кружилась голова и туманились глаза, любопытно и со страхом бегавшие по трактиру...

Пришел Челкаш, и они стали есть и пить, разговаривая. С третьей рюмки Гаврила опьянел. Ему стало весело и хотелось сказать что-нибудь приятное своему хозяину, который — славный человек! — так вкусно угостил его. Но слова, целыми волнами подливавшиеся ему к горлу, почему-то не сходили с языка, вдруг отяжелевшего.

Челкаш смотрел на него и, насмешливо улыбаясь, говорил:

— Наклюкался!.. Э-эх, тюря! с пяти рюмок!.. как работать-то будешь?..

— Друг!.. — лепетал Гаврила. — Не бойсь! Я тебе уважу!.. Дай поцелую тебя!.. а?..

— Ну, ну!.. Н^а, еще клюкни!

Гаврила пил и дошел наконец до того, что у него в глазах все стало колебаться ровными, волнообразными движениями. Это было неприятно, и от этого тошнило. Лицо у него сделалось глупо восторженное. Пытаясь сказать что-нибудь, он смешно шлепал губами и мычал. Челкаш, пристально поглядывая на него, точно вспоминал что-то, крутил свои усы и все улыбался хмуро.

А трактир ревел пьяным шумом. Рыжий матрос спал, облокотясь на стол.

— Ну-ка, идем! — сказал Челкаш, вставая.

Гаврила попробовал подняться, но не смог и, крепко обругавшись, засмеялся бессмысленным смехом пьяного.

— Развезло! — молвил Челкаш, снова усаживаясь против него на стул.

Гаврила все хохотал, тупыми глазами поглядывая на хозяина. И тот смотрел на него пристально, зорко и задумчиво. Он видел перед собою человека, жизнь которого попала в его волчьи лапы. Он, Челкаш, чувствовал себя в силе повернуть ее и так и этак. Он мог разломать ее, как игральную карту, и мог помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки. Чувствуя себя господином другого, он думал о том, что этот парень никогда не изопьет такой чаши, какую судьба дала испытать ему, Челкашу... И он завидовал и сожалел об этой молодой жизни, подсмеивался над ней и даже огорчался за нее, представляя, что она может еще раз попасть в такие руки, как его... И все чувства в конце концов слились у Челкаша в одно — нечто отеческое и хозяйственное. Малого было жалко, и малый был нужен. Тогда Челкаш взял Гаврилу под мышки и, легонько толкая его сзади коленом, вывел на двор трактира, где сложил на землю в тень от поленницы дров, а сам сел около него и закурил трубку. Гаврила немного повозился, помычал и заснул.

— Ну, готов? — вполголоса спросил Челкаш у Гаврилы, возившегося с веслами.

— Сейчас! Уключина вот шатается, — можно разок вдарить веслом?

— Ни-ни! Никакого шуму! Надави ее руками крепче, она и войдет себе на место.

Оба они тихо возились с лодкой, привязанной к корме одной из целой флотилии парусных барок, нагруженных дубовой клепкой, и больших турецких фелюг, занятых пальмой, сандалом и толстыми кряжами кипариса.

Ночь была темная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, как масло. Оно дышало влажным, соленым ароматом и ласково звучало, плескаясь о борта судов, о берег, чуть-чуть покачивая лодку Челкаша. На далекое пространство от берега с моря подымались темные остовы судов, вонзая в небо острые мачты с разноцветными фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей и было усеяно массой желтых пятен. Они красиво трепетали на его бархате, мягком, матово-черном. Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день.

— Едем! — сказал Гаврила, спуская весла в воду.

— Есть! — Челкаш сильным ударом руля вытолкнул лодку в полосу воды между барками, она быстро поплыла по скользкой воде, и вода под ударами весел загоралась голубоватым фосфорическим сиянием, — длинная лента его, мягко сверкая, вилась за кормой.

— Ну, что голова? болит? — ласково спросил Челкаш.

— Страсть!.. как чугун гудит... Намочу ее водой сейчас.

— Зачем? Ты, на-ко вот, нутро помочи, может, скорее очухаешься, — и он протянул Гавриле бутылку.

— Ой ли? Господи благослови!..

Послышалось тихое бульканье.

— Эй ты! рад?.. Будет! — остановил его Челкаш.

Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь среди судов... Вдруг она вырвалась из их толпы, и море — бесконечное, могучее — развернулось перед ними, уходя в синюю даль, где из вод его вздымались в

небо горы облаков — лилово-сизых, с желтыми пуховыми каймами по краям, зеленоватых, цвета морской воды, и тех скучных, свинцовых туч, что бросают от себя такие тоскливые, тяжелые тени. Облака ползли и медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свои цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, величественные и угрюмые... Что-то роковое было в этом медленном движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много и они всегда будут так равнодушно всползать на небо, задавшись злой целью не позволять ему никогда больше блеснуть над сонным морем миллионами своих золотых очей — разноцветных звезд, живых и мечтательно сияющих, возбуждая высокие желания в людях, которым дорог их чистый блеск.

— Хорошо море? — спросил Челкаш.

— Ничего! Только боязно в нем, — ответил Гаврила, ровно и сильно ударяя веслами по воде. Вода чуть слышно звепела и плескалась под ударами длинных весел и все блестела теплым голубым светом фосфора.

— Боязно! Экая дура!.. — насмешливо проворчал Челкаш.

Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на впечатления, никогда не пресыщалась созерцанием этой темной широты, бескрайной, свободной и мощной. И ему было обидно слышать такой ответ на вопрос о красоте того, что он любил. Сидя на корме, он резал рулем воду и смотрел вперед спокойно, полный желания ехать долго и далеко по этой бархатной глади.

На море в нем всегда поднималось широкое, теплое чувство, — охватывая всю его душу, оно немного очищало ее от житейской скверны. Он ценил это и любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха, где думы о жизни и сама жизнь всегда теряют — первые — остроту, вторая — цену. По ночам над морем плавно посится мягкий шум его сонного дыхания, этот необъятный звук вливает в душу человека спокойствие и, ласково укрощая ее злые порывы, родит в ней могучие мечты...

— А спасать-то где? — вдруг спросил Гаврила, беспокойно оглядывая лодку.

Челкаш вздрогнул.

— Снасть? Она у меня на корме.

Но ему стало обидно лгать перед этим мальчишкой, и ему было жаль тех дум и чувств, которые уничтожил этот парень своим вопросом. Он рассердился. Знакомое ему острое жжение в груди и у горла передернуло его, он внушительно и жестко сказал Гавриле:

— Ты вот что — сидишь, ну и сиди! А не в свое дело носа не суй. Наняли тебя грести, и греби. А коли будешь языком трепать, будет плохо. Понял?..

На минуту лодка дрогнула и остановилась. Весла остались в воде, вспенивая ее, и Гаврила беспокойно завозился на скамье.

— Греби!

Резкое ругательство потрясло воздух. Гаврила взмахнул веслами. Лодка точно испугалась и пошла быстрыми, нервными толчками, с шумом разрезая воду.

— Ровней!..

Челкаш привстал с кормы, не выпуская весла из рук и воткнув свои холодные глаза в бледное лицо Гаврилы. Изогнувшийся, наклоняясь вперед, он походил на кошку, готовую прыгнуть. Слышно было злое скрипение зубов и робкое пощелкивание какими-то костяшками.

— Кто кричит? — раздался с моря суровый окрик.

— Ну, дьявол, греби же!.. тише!.. убью, собаку!.. Ну же, греби!.. Раз, два! Пикни только!.. Р-разорву!.. — шипел Челкаш.

— Богородице... дево... — шептал Гаврила, дрожа и изнемогая от страха и усилий.

Лодка плавно повернулась и пошла назад к гавани, где огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт.

— Эй! кто орет? — донеслось снова.

Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Челкаш успокоился.

— Сам ты и орешь! — сказал он по направлению криков и затем обратился к Гавриле, все еще шептавшему молитву:

— Ну, брат, счастье твое! Кабы эти дьяволы погнались за нами — конец тебе. Чуешь? Я бы тебя сразу — к рыбам!..

Теперь, когда Челкаш говорил спокойно и даже добродушно, Гаврила, все еще дрожащий от страха, взмолился:

— Слушай, отпусти ты меня! Христом прошу, отпусти! Высади куда-нибудь! Ай-ай-ай!.. Про-опал я совсем!.. Ну, вспомни бога, отпусти! Что я тебе? Не могу я этого!.. Не бывал я в таких делах... Первый раз... Господи! Пропаду ведь я! Как ты это, брат, обошел меня? а? Грешно тебе!.. Душу ведь губишь!.. Ну, дела-а...

— Какие дела? — сурово спросил Челкаш. — А? Ну, какие дела?

Его забавлял страх парня, и он наслаждался и страхом Гаврилы, и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек.

— Темные дела, брат... Пусти для бога!.. Что я тебе?.. а?.. Милый...

— Ну, молчи! Не нужен был бы, так я тебя не брал бы. Понял? — ну и молчи!

— Господи! — вздохнул Гаврила.

— Ну-ну!.. куксись у меня! — оборвал его Челкаш.

Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и, тихо всхлипывая, плакал, сморкался, ерзал по лавке, но греб сильно, отчаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали темные корпуса судов, и лодка потерялась в них, волчком вертясь в узких полосах воды между бортами.

— Эй ты! слушай! Буде спросит кто о чем — молчи, коли жив быть хочешь! Понял?

— Эхма!.. — безнадежно вздохнул Гаврила в ответ на суровое приказание и горько добавил: — Судьбина моя пропащая!..

— Не ной! — внушительно шепнул Челкаш.

Гаврила от этого шепота потерял способность соображать что-либо и помертвел, охваченный холодным предчувствием беды. Он машинально опускал весла в воду, откидывался назад, вынимал их, бросал снова и все время упорно смотрел на свои лапти.

Сонный шум волн гудел угрюмо и был страшен. Вот гавань... За ее гранитной стеной слышались людские голоса, плеск воды, песня и тонкие свистки.

— Стой! — шепнул Челкаш. — Бросай весла! Упирайся руками в стену! Тише, черт!..

Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повел лодку вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом по наросшей на камне слизи.

— Стой!.. Дай весла! Дай сюда! А паспорт у тебя где? В котомке? Дай котомку! Ну, давай скорей! Это,

мил друг, для того, чтобы ты не удрал... Теперь не удерешь. Без весел-то ты бы кое-как мог удрать, а без паспорта побоишься. Жди! Да смотри, коли ты пикнешь — на дне моря найду!..

И вдруг, уцепившись за что-то руками, Челкаш подпился на воздух и исчез на стене.

Гаврила вздрогнул... Это вышло так быстро. Он почувствовал, как с него сваливается, сползает та проклятая тяжесть и страх, который он чувствовал при этом усатом, худом воре... Бежать теперь!.. И он, свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался черный корпус без мачт, — какой-то огромный гроб, безлюдный и пустой... Каждый удар волны в его бока родил в нем глухое, гулкое эхо, похожее на тяжелый вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная стена мола, как холодная, тяжелая змея. Сзади виднелись тоже какие-то черные остовы, а спереди, в отверстие между стеной и бортом этого гроба, видно было море, молчаливое, пустынное, с черными над ним тучами. Они медленно двигались, огромные, тяжелые, источая из тьмы ужас и готовые раздавить человека тяжестью своей. Все было холодно, черно, зловеще. Гавриле стало страшно. Этот страх был хуже страха, навеянного на него Челкашом; он охватил грудь Гаврилы крепким объятием, сжал его в робкий комок и приковал к скамье лодки...

А кругом все молчало. Ни звука, кроме вздохов моря. Тучи ползли по небу так же медленно и скучно, как и раньше, но их все больше вздымалось из моря, и можно было, глядя на небо, думать, что и оно тоже море, только море взволнованное и опрокинутое над другим, сонным, покойным и гладким. Тучи походили на волны, ринувшиеся на землю вниз кудрявыми седыми хребтами, и на пропасти, из которых вырваны эти волны ветром, и на зарождавшиеся валы, еще не покрытые зеленоватой пеной бешепства и гнева.

Гаврила чувствовал себя раздавленным этой мрачной тишиной и красотой и чувствовал, что он хочет видеть скорее хозяина. А если он там останется?.. Время шло медленно, медленнее, чем ползли тучи по небу... И тишина, от времени, становилась все зловещей... Но вот за стеной мола слышался плеск, шорох и что-то похожее на шепот. Гавриле показалось, что он сейчас умрет...

— Эй! Спишь? Держи!.. осторожно!.. — раздался глухой голос Челкаша.

Со стены спускалось что-то кубическое и тяжелое. Гаврила принял это в лодку. Спустилось еще одно такое же. Затем поперек стены вытянулась длинная фигура Челкаша, откуда-то явились весла, к ногам Гаврилы упала его котомка, и тяжело дышавший Челкаш уселся на корме.

Гаврила радостно и робко улыбался, глядя на него.

— Устал? — спросил он.

— Не без того, теля! Ну-ка, гребни добре! Дуй во всю силу!.. Хорошо ты, брат, заработал! Полдела сделали. Теперь только у чертей между глаз проплыть, а там — получай денежки и ступай к своей Машке. Машка-то есть у тебя? Эй, дитятко?

— Н-нету! — Гаврила старался во всю силу, работая грудью, как мехами, и руками, как стальными пружинами. Вода под лодкой рокотала, и голубая полоса за кормой теперь была шире. Гаврила весь облился потом, но продолжал грести во всю силу. Пережив дважды в эту ночь такой страх, он теперь боялся пережить его в третий раз и желал одного: скорей кончить эту проклятую работу, сойти на землю и бежать от этого человека, пока он в самом деле не убил или не завел его в тюрьму. Он решил не говорить с ним ни о чем, не противоречить ему, делать все, что велит, и, если удастся благополучно развязаться с ним, завтра же отслужить молебен Николаю-Чудотворцу. Из его груди готова была вылиться страстная молитва. Но он сдерживался, пыхтел, как паровик, и молчал, исподлобья кидая взгляды на Челкаша.

А тот, сухой, длинный, нагнувшийся вперед и похожий на птицу, готовую лететь куда-то, смотрел во тьму вперед лодки ястребиными очами и, поводя хищным, горбатым носом, одной рукой цепко держал ручку руля, а другой теребил ус, вздрагивавший от улыбок, которые кривили его тонкие губы. Челкаш был доволен своей удачей, собой и этим парнем, так сильно запуганным им и превратившимся в его раба. Он смотрел, как старался Гаврила, и ему стало жалко, захотелось ободрить его.

— Эй! — усмехаясь, тихо заговорил он. — Что, здорово ты перепугался? а?

— Н-ничего!.. — выдохнул Гаврила и крикнул.

— Да уж теперь ты не очень наваливайся на весла-то. Теперь шабаш. Вот еще только одно бы место пройти... Отдохни-ка...

Гаврила послушно приостановился, вытер рукавом рубахи пот с лица и снова опустил весла в воду.

— Ну, гребь тише. Чтобы вода не разговаривала. Воротца одни надо миновать. Тише, тише... А то, брат, тут народы серьезные... Как раз из ружья пошालить могут. Такую шишку па лбу набьют, что и не охнешь.

Лодка теперь кралась по воде почти совершенно беззвучно. Только с весел капали голубые капли, и когда они падали в море, на месте их падения вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. Ночь становилась все темнее и молчаливей. Теперь небо уже не походило на взволнованное море — тучи расплылись по нем и покрыли его ровным тяжелым пологом, низко опустившимся над водой и неподвижным. А море стало еще спокойней, черней, сильнее пахло теплым, соленым запахом и уж не казалось таким широким, как раньше.

— Эх, кабы дождь пошел! — прошептал Челкаш. — Так бы мы и проехали, как за занавеской.

Слева и справа от лодки из черной воды поднялись какие-то здания — баржи, неподвижные, мрачные и тоже черные. На одной из них двигался огонь, кто-то ходил с фонарем. Море, глядя их бока, звучало просительно и глухо, а они отвечали ему эхом, гулким и холодным, точно спорили, не желая уступить ему в чем-то.

— Кордоны!.. — чуть слышно шепнул Челкаш.

С момента, когда он велел Гавриле гребти тише, Гаврилу снова охватило острое выжидательное напряжение. Он весь подался вперед, во тьму, и ему казалось, что он растет, — кости и жилы вытягивались в нем с тупой болью, голова, заполненная одной мыслью, болела, кожа на спине вздрагивала, а в ноги вонзались маленькие, острые и холодные иглы. Глаза ломало от напряженного рассматриванья тьмы, из которой — он ждал — вот-вот встанет нечто и гаркнет на них: «Стой, воры!..»

Теперь, когда Челкаш шепнул «кордоны!», Гаврила дрогнул: острая, жгучая мысль прошла сквозь него, прешла и задела по туго натянутым нервам, — он хотел крикнуть, позвать людей на помощь к себе... Он уже открыл рот и привстал немного на лавке, выпятил грудь; вобрал в себя много воздуха и открыл рот, — но

вдруг, пораженный ужасом, ударившим его, как плетью, закрыл глаза и свалился с лавки.

...Впереди лодки, далеко на горизонте, из черной воды моря поднялся огромный огненно-голубой меч, поднялся, рассек тьму ночи, скользнул своим острием по тучам в небе и лег на грудь моря широкой, голубой полосой. Он лег, и в полосу его сияния из мрака выплыли невидимые до той поры суда, черные, молчаливые, обвешанные пышной ночной мглой. Казалось, они долго были на дне моря, увлеченные туда могучей силой бури, и вот теперь поднялись оттуда по велению огненного меча, рожденного морем, — поднялись, чтобы посмотреть на небо и на все, что поверх воды... Их такелаж обнимал собой мачты и казался цепкими водорослями, поднявшимися со дна вместе с этими черными гигантами, опутанными их сетью. И он опять поднялся кверху из глубин моря, этот страшный голубой меч, поднялся, сверкая, снова рассек ночь и снова лег уже в другом направлении. И там, где он лег, снова всплыли остовы судов, невидимых до его появления.

Лодка Челкаша остановилась и колебалась на воде, как бы недоумевая. Гаврила лежал на дне, закрыв лицо руками, а Челкаш толкал его ногой и шипел бешено, но тихо:

— Дурак, это крейсер таможенный... Это фонарь электрический!.. Вставай, дубина! Ведь на нас свет бросят сейчас!.. Погубишь, черт, и себя и меня! Ну!..

И, наконец, когда один из ударов каблуком сапога сильнее других опустился на спину Гаврилы, он вскочил, все еще боясь открыть глаза, сел на лавку и, ощупью схватив весла, двинул лодку.

— Тише! Убью ведь! Ну, тише!.. Эка дурак, черт тебя возьми!.. Чего ты испугался? Ну? Харя!.. Фонарь — только и всего. Тише веслами!.. Кислый черт!.. За контрабандой это следят. Нас не заденут — далеко отплыли они. Не бойся, не заденут. Теперь мы... — Челкаш торжествующе оглянулся кругом. — Конечно, выплыли!.. Фу-у!.. Н-ну, счастлив ты, дубина стоеросовая!..

Гаврила молчал, греб и, тяжело дыша, искоса смотрел туда, где все еще поднимался и опускался этот огненный меч. Он никак не мог поверить Челкашу, что это только фонарь. Холодное голубое сияние, разрубавшее тьму, заставляя море светиться серебряным блеском, имело в себе нечто необъяснимое, и Гаврила опять

впал в гипноз тоскливого страха. Он греб, как машина, и все сжимался, точно ожидал удара сверху, и ничего, никакого желания не было уже в нем — он был пуст и бездушен. Волнения этой почи выглодали наконец из него все человеческое.

А Челкаш торжествовал. Его привычные к потрясениям нервы уже успокоились. У него сладострастно вздрагивали усы и в глазах разгорался огонек. Он чувствовал себя великолепно, посвистывал сквозь зубы, глубоко вдыхал влажный воздух моря, оглядывался кругом и добродушно улыбался, когда его глаза останавливались на Гавриле.

Ветер пронесся и разбудил море, вдруг заигравшее частой зыбью. Тучи сделались как бы топыше и прозрачней, но все небо было обложено ими. Несмотря на то, что ветер, хотя еще легкий, свободно посился над морем, тучи были неподвижны и точно думали какую-то серую, скучную думу.

— Ну ты, брат, очухайся, пора! Ишь тебя как — точно из кожи-то твоей весь дух выдавили, один мешок костей остался! Конец уж всему. Эй!..

Гавриле все-таки было приятно слышать человеческий голос, хоть это и говорил Челкаш.

— Я слышу, — тихо сказал он.

— То-то! Мякиш... Ну-ка, садись на руль, а я — на весла, устал, поди!

Гаврила машинально переменил место. Когда Челкаш, меняясь с ним местами, взглянул ему в лицо и заметил, что он шатается на дрожащих ногах, ему стало еще больше жаль парня. Он хлопнул его по плечу.

— Ну, ну, не робь! Заработал зато хорошо. Я те, брат, награжу богато. Четвертной билет хочешь получить? а?

— Мне — ничего не надо. Только на берег бы...

Челкаш махнул рукой, плюнул и принялся грести, далеко назад забрасывая весла своими длинными руками.

Море проснулось. Оно играло маленькими волпами, рождая их, украшая бахромой пены, сталкивая друг с другом и разбивая в мелкую пыль. Пена, тая, шипела и вздыхала, — и все кругом было заполнено музыкальным шумом и плеском. Тьма как бы стала живее.

— Ну, скажи мне, — заговорил Челкаш, — придешь ты в деревню, женишься, начнешь землю копать, хлеб

сеять, жена детей народит, кормов не будет хватать; ну, будешь ты всю жизнь из кожи лезть... Ну, и что? Много в этом смаку?

— Какой уж смак! — робко и вздрагивая ответил Гаврила.

Кое-где ветер прорывал тучи, и из разрывов смотрели голубые кусочки неба с одной-двумя звездочками на них. Отраженные играющим морем, эти звездочки прыгали по волнам, то исчезая, то вновь блестя.

— Правее держи! — сказал Челкаш. — Скоро уж приедем. Н-да!.. Кончили. Работа важная! Вот видишь как?.. Ночь одна — и полтысячи я тяпнул!

— Полтысячи?! — недоверчиво протянул Гаврила, по сейчас же испугался и быстро спросил, толкая ногой тюки в лодке: — А это что же будет за вещь?

— Это — дорогая вещь. Все-то, коли по цене продать, так и за тысячу хватит. Ну, я не дорожусь... Ловко?

— Н-да-а?.. — вопросительно протянул Гаврила. — Кабы мне так-то вот! — вздохнул он, сразу вспомнив деревню, убогое хозяйство, свою мать и все то далекое, родное, ради чего он ходил на работу, ради чего так измучился в эту ночь. Его охватила волна воспоминаний о своей деревеньке, сбегавшей по крутой горе вниз, к речке, скрытой в роще берез, ветел, рябин, черемухи... — Эх, важно бы!.. — грустно вздохнул он.

— Н-да!.. Я думаю, ты бы сейчас по чугунке домой... Уж и полюбили бы тебя девки дома, а-ах как!.. Любую бери! Дом бы себе сгροхал — ну, для дома денег, положим, маловато...

— Это верпо... для дому нехватка. У нас дорог лес-то.

— Ну что ж? Старый бы поправил. Лошадь как? есть?

— Лошадь? Она и есть, да больпо стара, черт.

— Ну, значит, лошадь. Ха-арошую лошадь! Корову... Овец... Птицы разной... А?

— Не говори!.. Ох ты, господи! Вот уж пожил бы!

— Н-да, брат, житьишко было бы ничего себе... Я тоже понимаю толк в этом деле. Было когда-то свое гнездо... Отец-то был из первых богатеев в селе...

Челкаш греб медленно. Лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся о ее борта, еле двигалась по

темному морю, а оно играло все резвей и резвей. Двое людей мечтали, покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя. Челкаш начал наводить Гаврилу на мысль о деревне, желая немного ободрить и успокоить его. Сначала он говорил, посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики собеседнику и напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых сам давно разочаровался, забыл о них и вспоминал только теперь, — он постепенно увлекся и вместо того, чтобы расспрашивать парня о деревне и ее делах, незаметно для себя стал сам рассказывать ему:

— Главное в крестьянской жизни — это, брат, свобода! Хозяин ты есть сам себе. У тебя твой дом — грош ему цена — да он твой. У тебя земля своя — и того ее горсть — да она твоя! Король ты на своей земле!.. У тебя есть лицо... Ты можешь от всякого требовать уважения к себе... Так ли? — воодушевленно закончил Челкаш.

Гаврила глядел на него с любопытством и тоже воодушевлялся. Он во время этого разговора успел уже забыть, с кем имеет дело, и видел перед собой такого же крестьянина, как и сам он, прилепленного навеки к земле потом многих поколений, связанного с ней воспоминаниями детства, самовольно отлучившегося от нее и от забот о ней и понесшего за эту отлучку должное наказание.

— Это, брат, верно! Ах, как верно! Вот гляди-ка на себя, что ты теперь такое без земли? Землю, брат, как мать, не забудешь надолго.

Челкаш одумался... Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда, чуть только его самолюбие — самолюбие бесшабашного удальца — бывало задето кем-либо, и особенно тем, кто не имел цепи в его глазах.

— Замолол!.. — сказал он свирепо, — ты, может, думал, что я все это всерьез... Держи карман шире!

— Да чудак человек!.. — снова оробел Гаврила. — Разве я про тебя говорю? Чай, таких-то, как ты, — много! Эх, сколько несчастного народу на свете!.. Шатающихся...

— Садись, тюлень, в весла! — кратко скомандовал Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток горячей ругани, хлынувшей ему к горлу.

Они опять переменились местами, причем Челкаш, перелезая на корму через тюки, ощутил в себе острое желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду.

Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы на Челкаша веяло деревней... Он вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повернутой волнением и плывшей куда-то в море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла цель, и, все выше подбрасывая ее, легко играли ею, вспыхивая под веслами своим ласковым голубым огнем. А перед Челкашом быстро неслись картины прошлого, далекого прошлого, отделенного от настоящего целой стеной из одиннадцати лет босяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребенком, свою деревню, свою мать, краснощекую, пухлую женщину, с добрыми серыми глазами, отца — рыжебородого гиганта с суровым лицом; видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, веселую, снова себя, красавцем, гвардейским солдатом; снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле; посмотрел и картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы; видел, как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, усатым, здоровым солдатом, ловким красавцем... Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда...

Челкаш чувствовал себя овееянным примиряющей, ласковой струей родного воздуха, донесшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи истового крестьянина-отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, только что оттаявшей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шелком озими... Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах.

— Эй! а куда же мы едем? — спросил вдруг Гаврила.

Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника.

— Ишь черт занес!.. Гребни-ка погуще...

— Задумался? — улыбаясь, спросил Гаврила.

— Устал...

— Так теперь мы, значит, уж не попадемся с этим? — Гаврила ткнул ногой в тюки.

— Нет... Будь покоен. Сейчас вот сдам и денежки получу... Н-да!

— Пять сотен?

— Не меньше.

— Это, тово,— сумма! Кабы мне, горюну!.. Эх, и сыграл бы я песенку с ними!..

— По крестьянству?

— Никак больше! Сейчас бы...

И Гаврила полетел на крыльях мечты. А Челкаш молчал. Усы у него обвисли, правый бок, захлестанный волнами, был мокр, глаза ввалились и потеряли блеск. Все хищное в его фигуре обмякло, стушевавшее припущенной задумчивостью, смотревшей даже из складок его грязной рубахи.

Он круто повернул лодку и направил ее к чему-то черному, высывавшемуся из воды.

Небо снова все покрылось тучами, и посыпался дождь, мелкий, теплый, весело звякавший, падая на хребты волн.

— Стой! Тише! — скомандовал Челкаш.

Лодка стукнулась носом о корпус барки.

— Спят, что ли, черти?..— ворчал Челкаш, цепляясь багром за какие-то веревки, спускавшиеся с борта.— Трап давай!.. Дождь пошел еще, не мог раньше-то! Эй вы, губки!.. Эй!..

— Селкаш это? — раздалось сверху ласковое мурлыканье.

— Ну, спускай трап!

— Калимера, Селкаш!

— Спускай трап, копченый дьявол! — взревел Челкаш.

— О, сердытый пришел сегодня... Элоу?

— Лезь, Гаврила! — обратился Челкаш к товарищу.

В минуту они были на палубе, где три темных бородатых фигуры, оживленно болтая друг с другом на странном сюсюкающем языке, смотрели за борт в лодку Челкаша. Четвертый, завернутый в длинную хламиду, подошел к нему и молча пожал ему руку, потом подозрительно оглянул Гаврилу.

— Припаси к утру деньги,— коротко сказал ему Челкаш.— А теперь я спать иду. Гаврила, идем! Есть хочешь?

— Спать бы...— ответил Гаврила и через пять минут храпел, а Челкаш, сидя рядом с ним, примерял себе на ногу чей-то сапог и, задумчиво сплевывая в сторону, грустно свистел сквозь зубы. Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами.

Барка тихо покачивалась на игравшей воде, где-то поскрипывало дерево жалобным звуком, дождь мягко сыпался на палубу, и плескались волны о борта... Все было грустно и звучало, как колыбельная песнь матери, не имеющей надежд на счастье своего сына...

Челкаш, оскалив зубы, приподнял голову, огляделся вокруг и, прошептав что-то, снова улегся... Раскинув ноги, он стал похож на большие пожницы.

III

Он проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг, сразу успокоился и посмотрел на Гаврилу, еще спавшего. Тот сладко всхрапывал и во сне улыбался чему-то всем своим детским, здоровым, загорелым лицом. Челкаш вздохнул и полез вверх по узкой веревочной лестнице. В отверстие трюма смотрел свинцовый кусок неба. Было светло, но по-осеннему скучно и серо.

Челкаш вернулся часа через два. Лицо у него было красно, усы лихо закручены кверху. Он был одет в длинные крепкие сапоги, в куртку, в кожаные штаны и походил на охотника. Весь его костюм был потерт, но крепок, и очень шел к нему, делая его фигуру шире, скрадывая его костлявость и придавая ему воинственный вид.

— Эй, теленок, вставай!..— толкнул он ногой Гаврилу.

Тот вскочил и, не узнавая его со сна, испуганно уставился на него мутными глазами. Челкаш захохотал.

— Ишь ты какой!..— широко улыбнулся наконец Гаврила.— Барином стал!

— У нас это скоро. Ну и пуглив же ты! Сколько раз умирать-то вчера ночью собирался?

— Да ты сам посуди, впервóй я на такое дело! Ведь можно было душу загубить на всю жизнь!

— Ну, а еще раз поехал бы? а?

— Еще?.. Да ведь это — как тебе сказать? Из-за какой корысти?.. вот что!

— Ну ежели бы две радужных?

— Два ста рублей, значит? Ничего... Это можно...

— Стой! А как душу-то загубишь?..

— Да ведь, может... и не загубишь! — улыбнулся Гаврила. — Не загубишь, а человеком на всю жизнь сделаешься.

Челкаш весело хохотал.

— Ну, ладно! будет шутки шутить. Едем на берег...

И вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила на веслах. Над ними небо, серое, ровно затянутое тучами, и лодкой играет мутно-зеленое море, шумно подбрасывая ее на волнах, пока еще мелких, весело бросающих в борта светлые, соленые брызги. Далеко по носу лодки видна желтая полоса песчаного берега, а за кормой уходит вдаль море, изрытое стаями волн, убранных пышной белой пеной. Там же, вдали, видно много судов; далеко влево — целый лес мачт и белые груды домов города. Оттуда по морю льется глухой гул, рокошующий и вместе с плеском волн создающий хорошую, сильную музыку... И на все наброшена тонкая пелена пепельного тумана, отдаляющего предметы друг от друга...

— Эх, разыграется к вечеру-то добре! — кивнул Челкаш головой на море.

— Буря? — спросил Гаврила, мощно бороздя волны веслами. Он был уже мокр с головы до ног от этих брызг, разбрасываемых по морю ветром.

— Эге!.. — подтвердил Челкаш.

Гаврила пытливо посмотрел на него...

— Ну, сколько ж тебе дали? — спросил он наконец, видя, что Челкаш не собирается начать разговора.

— Вот! — сказал Челкаш, протягивая Гавриле что-то, вынутое из кармана.

Гаврила увидал пестрые бумажки, и все в его глазах приняло яркие, радужные оттенки.

— Эх!.. А я ведь думал: врал ты мне!.. Это — сколько?

— Пятьсот сорок!

— Л-ловко!.. — прошептал Гаврила, жадными глазами провожая пятьсот сорок, снова спрятанные в карман. — Э-эх-ма!.. Кабы такие деньги!.. — И он угнетенно вздохнул.

— Гульнем мы с тобой, парнюга! — с восхищением вскрикнул Челкаш. — Эх, хватим... Не думай, я тебе, брат, отделию... Сорок отделию! а? Доволен? Хочешь, сейчас дам?

— Коли не обидно тебе — что же? Я приму!

Гаврила весь трепетал от ожидания, острого, сосавшего ему грудь.

— Ах ты, чертова кукла! Приму! Прими, брат, пожалуйста! Очень я тебя прошу, прими! Не знаю я, куда мне такую кучу денег девать! Избавь ты меня, примика, на!..

Челкаш протянул Гавриле несколько бумажек. Тот взял их дрожащей рукой, бросил весла и стал прятать куда-то за пазуху, жадно сощутив глаза, шумно втягивая в себя воздух, точно пил что-то жгучее. Челкаш с насмешливой улыбкой поглядывал на него. А Гаврила уже снова схватил весла и греб нервно, торопливо, точно пугаясь чего-то и опустив глаза вниз. У него вздрагивали плечи и уши.

— А жаден ты!.. Нехорошо... Впрочем, что же?.. Крестьянин... — задумчиво сказал Челкаш.

— Да ведь с деньгами-то что можно сделать!.. — воскликнул Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным возбуждением. И он отрывисто, торопясь, точно догоняя свои мысли и с лету хватая слова, заговорил о жизни в деревне с деньгами и без денег. Почет, довольство, веселье!..

Челкаш слушал его внимательно, с серьезным лицом и с глазами, сощуренными какой-то думой. По временам он улыбался довольной улыбкой.

— Приехали! — прервал он речь Гаврилы.

Волпа подхватила лодку и ловко ткнула ее в песок.

— Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой — прощай!.. Отсюда до города верст восемь. Ты что, опять в город вернешься? а?

На лице Челкаша сияла добродушно-хитрая улыбка, и весь он имел вид человека, задумавшего нечто весьма приятное для себя и неожиданное для Гаврилы. Засунув руку в карман, он шелестел там бумажками.

— Нет... я... не пойду... я... — Гаврила задышался и давился чем-то.

Челкаш посмотрел на него.

— Что это тебя корчит? — спросил он.

— Так...— Но лицо Гаврилы то краснело, то делалось серым, и он мялся на месте, не то желая броситься на Челкаша, не то разрывааемый иным желанием, исполнить которое ему было трудно.

Челкашу стало не по себе при виде такого возбуждения в этом парне. Он ждал, чем оно разразится.

Гаврила начал как-то странно смеяться смехом, похожим на рыдание. Голова его была опущена, выражения его лица Челкаш не видал, смутно видны были только уши Гаврилы, то красневшие, то бледневшие.

— Ну ты к черту! — махнул рукой Челкаш. — Влюбился ты в меня, что ли? Мнется, как девка!.. Али расставаться со мной тошно? Эй, сосун! Говори, что ты? А то уйду я!..

— Уходишь?! — звонко крикнул Гаврила.

Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика, и намывные волнами моря желтые волны песку точно всколыхнулись. Дрогнул и Челкаш. Вдруг Гаврила сорвался с своего места, бросился к ногам Челкаша, обнял их своими руками и дернул к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжатой в кулак. Но он не успел ударить, остановленный стыдливым и просительным шепотом Гаврилы:

— Голубчик!.. Дай ты мне эти деньги! Дай, Христа ради! Что они тебе?.. Ведь в одну ночь — только в ночь... А мне — года пужны... Дай — молиться за тебя буду! Вечно — в трех церквах — о спасении души твоей!.. Ведь ты их на ветер... а я бы — в землю! Эх, дай мне их! Что в них тебе?.. Али тебе дорого? Ночь одна — и богат! Сделай доброе дело! Пропаций ведь ты... Нет тебе пути... А я бы — ох! Дай ты их мне!

Челкаш, испуганный, изумленный и озлобленный, сидел на песке, откинувшись назад и упираясь в него руками, сидел, молчал и страшно таращил глаза на парня, уткнувшегося головой в его колени и шептавшего, задыхаясь, свои мольбы. Он оттолкнул его, наконец, вскочил на ноги и, сунув руку в карман, бросил в Гаврилу бумажки.

— Н-а! Жри...— крикнул он, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем.

— Сам я хотел тебе больше дать. Разжалобился вчера я, вспомнил деревню... Подумал: дай помогу парню. Ждал я, что ты сделаешь, попросишь — нет? А ты... Эх, войлок! Нищий!.. Разве из-за денег можно так истязать себя? Дурак! Жадные черти!.. Себя не помнят... За пятак себя продаете!..

— Голубчик!.. Спаси Христос тебя! Ведь это теперь у меня что?.. я теперь... богач!.. — визжал Гаврила в восторге, вздрагивая и пряча деньги за пазуху. — Эх ты, милый!.. Вовек не забуду!.. Никогда!.. И жене и детям закажу — молись!

Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, искаженное восторгом жадности лицо и чувствовал, что он — вор, гуляка, оторванный от всего родного — никогда не будет таким жадным, пизким, не помнящим себя. Никогда не станет таким!.. И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободы, удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу.

— Осчастливил ты меня! — кричал Гаврила и, схватив руку Челкаша, тыкал ею себе в лицо.

Челкаш молчал и по-волчьи скалил зубы. Гаврила все изливался:

— Ведь я что думал? Едем мы сюда... думаю... хвачу я его — тебя — веслом... рраз!.. денежки — себе, его — в море... тебя-то... а? Кто, мол, его хватится? И пайдут, не станут допытываться — как да кто. Не такой, мол, он человек, чтоб из-за него шум подымать!.. Непужный на земле! Кому за него встать?

— Дай сюда деньги!.. — рявкнул Челкаш, хватая Гаврилу за горло...

Гаврила рванулся раз, два, — другая рука Челкаша змеей обвилась вокруг него... Треск разрываемой рубахи — и Гаврила лежал на песке, безумно вытаращив глаза, цапаясь пальцами рук за воздух и взмахивая ногами. Челкаш, прямой, сухой, хищный, зло оскалив зубы, смеялся дробным, едким смехом, и его усы нервно прыгали на угловатом, остром лице. Никогда за всю жизнь его не били так больно, и никогда он не был так озлоблен.

— Что, счастлив ты? — сквозь смех спросил он Гаврилу и, повернувшись к нему спиной, пошел прочь по направлению к городу. Но он не сделал пяти шагов, как Гаврила кошкой изогнулся, вскочил на ноги и, широко

размахнувшись в воздухе, бросил в него круглый камень, злобно крикнув:

— Рраз!..

Челкаш крикнул, схватился руками за голову, качнулся вперед, повернулся к Гавриле и упал лицом в песок. Гаврила замер, глядя на него. Вот он шевельнул ногой, попробовал поднять голову и вытянулся, вздрогнув, как струна. Тогда Гаврила бросился бежать вдаль, где над туманной стенью висела мохнатая черная туча и было темно. Волны шуршали, взбегая на песок, сливаясь с него и снова взбегая. Пена шипела, и брызги воды летали по воздуху.

Посыпался дождь. Сначала редкий, он быстро перешел в плотный, крупный, лившийся с неба топкими струйками. Они сплели целую сеть из ниток воды — сеть, сразу закрывшую собой даль степи и даль моря. Гаврила исчез за ней. Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека, лежавшего на песке у моря. Но вот из дождя снова появился бегущий Гаврила, он летел птицей; подбежав к Челкашу, упал перед ним и стал ворочать его на земле. Его рука окупнулась в теплую красную слизь... Он дрогнул и отшатнулся с безумным, бледным лицом.

— Брат, встань-кось! — шептал он под шум дождя в ухо Челкашу.

Челкаш очнулся и толкнул Гаврилу от себя, хрипло сказав:

— Поди прочь!..

— Брат! Прости!.. — дьявол это меня... — дрожа, шептал Гаврила, целуя руку Челкаша.

— Иди... Ступай... — хрипел тот.

— Сними грех с души!.. Родной! Прости!..

— Про... уйди ты!.. уйди к дьяволу! — вдруг крикнул Челкаш и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутны и закрывались, точно он сильно хотел спать. — Чего тебе еще? Сделал свое дело... иди! Пошел! — И он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу ногой, но не смог и снова свалился бы, если бы Гаврила не удержал его, обняв за плечи. Лицо Челкаша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были бледны и страшны.

— Тьфу! — плюнул Челкаш в широко открытые глаза своего работника.

Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал:

— Что хошь делай... Не отвечу словом. Прости для Христа!

— Гнус!.. И блудить-то не умсешь!..— презрительно крикнул Челкаш, сорвал из-под своей куртки рубашу и молча, изредка поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову.— Деньги взял? — сквозь зубы процедил он.

— Не брал я их, брат! Не надо мне!.. беда от них!..

Челкаш сунул руку в карман своей куртки, вытащил пачку денег, одну радужную бумажку положил обратно в карман, а все остальные кинул Гавриле.

— Возьми и ступай!

— Не возьму, брат... Не могу! Прости!

— Бери, говорю!..— взревел Челкаш, страшно вращая глазами.

— Прости!.. Тогда возьму...— робко сказал Гаврила и пал в ноги Челкаша на сырой песок, щедро поливаемый дождем.

— Врешь, возьмешь, гнус! — уверенно сказал Челкаш, и, с усилием подняв его голову за волосы, он сунул ему деньги в лицо.

— Бери! бери! Не даром работал! Бери, не бойсь! Не стыдись, что человека чуть не убил! За таких людей, как я, никто не взыщет. Еще спасибо скажут, как узнают. На, бери!

Гаврила видел, что Челкаш смеется, и ему стало легче. Он крепко сжал деньги в руке.

— Брат! а простишь меня? Не хошь? а? — слезливо спросил он.

— Родимой!..— в тон ему ответил Челкаш, поднимаясь на ноги и покачиваясь.— За что? Не за что! Сегодня ты меня, завтра я тебя...

— Эх, брат, брат!..— скорбно вздохнул Гаврила, качая головой.

Челкаш стоял перед ним и страшно улыбался, а тряпка на его голове, поемпогу краснея, становилась похожей на турецкую феску.

Дождь лил, как из ведра. Море глухо роптало, волны бились о берег бешено и гневно.

Два человека помолчали.

— Ну прощай! — насмешливо сказал Челкаш, пускаясь в путь.

Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно держал голову, точно боялся потерять ее.

— Прости, брат!..— еще раз попросил Гаврила.

— Ничего! — холодно ответил Челкаш, пускаясь в путь.

Он пошел, пошатываясь и все поддерживая голову ладонью левой руки, а правой тихо дергая свой бурый ус.

Гаврила смотрел ему вслед до поры, пока он не исчез в дожде, все гуще лившем из туч тонкими, бесконечными струйками и окутывавшем степь непропицаемой стального цвета мглой.

Потом Гаврила снял свой мокрый картуз, перекрестился, посмотрел на деньги, зажатые в ладони, свободно и глубоко вздохнул, спрятал их за пазуху и широкими, твердыми шагами пошел берегом в сторону, противоположную той, где скрылся Челкаш.

Море выло, швыряло большие, тяжелые волны на прибрежный песок, разбивая их в брызги и пену. Дождь ретиво сек воду и землю... ветер ревел... Все кругом наполнялось воем, ревом, гулом... За дождем не видно было ни моря, ни неба.

Скоро дождь и брызги волн смыли красное пятно на том месте, где лежал Челкаш, смыли следы Челкаша и следы молодого парня на прибрежном песке... И на пустынном берегу моря не осталось ничего в воспоминание о малепькой драме, разыгравшейся между двумя людьми.

ПЕСНЯ О СОКОЛЕ

Море огромное, лениво вздыхающее у берега,— уснуло и неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных и не скрывающих собою золотых узоров звезд. Кажется, что небо все ниже наклоняется над морем, желая понять то, о чем шепчут неугомонные волны, сонно всползая на берег.

Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми морд-остом, резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню над ними, суровые коптуры их округлились, одетые теплою и ласковою мглой южной ночи.

Горы важно задумчивы. С них на пышные зеленоватые гребни волн упали черные тени и одевают их, как бы желая остановить единственное движение, заглушить немолчный плеск воды и вздохи пены,— все звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе с голубым серебром сияния луны, еще скрытой за горными вершинами.

— А-ала-ах-а-акбар!.. — тихо вздыхает Надыр-Рагим-оглы, старый крымский чабан, высокий, седой, сожженный южным солнцем, сухой и мудрый старик.

Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом,— у камня печального, хмурого. На тот бок его, который обращен к морю, волны набросали тины, водо-

рослей, и обвешанный ими камень кажется привязанным к узкой песчаной полоске, отделяющей море от гор. Пламя нашего костра освещает его со стороны, обращенной к горе, оно вздрагивает, и по старому камню, изрезанному частой сетью глубоких трещин, бегают тени.

Мы с Рагимом варим уху из только что пойманной рыбы и оба находимся в том настроении, когда все кажется прозрачным, одухотворенным, позволяющим пропнать в себя, когда на сердце так чисто, легко и нет иных желаний, кроме желания думать.

А море ластится к берегу, и волны звучат так ласково, точно просят пустить их погреться к костру. Иногда в общей гармонии плеска слышится более повышенная и шаловливая нота — это одна из волн, посмелее, подползла ближе к нам.

Рагим лежит грудью на песке, головой к морю, и вдумчиво смотрит в мутную даль, опершись локтями и положив голову на ладони. Мохнатая баранья шапка съехала ему на затылок, с моря веет свежестью в его высокий лоб, весь в мелких морщинах. Он философствует, не справляясь, слушаю ли я его, точно он говорит с морем:

— Верный богу человек идет в рай. А который не служит богу и пророку? Может, он — вот в этой пене... И те серебряные пятна на воде, может, он же... кто знает?

Темное, могуче размахнувшееся море светлеет, местами на нем появляются небрежно брошенные блики луны. Она уже выплыла из-за мохнатых вершин гор и теперь задумчиво льет свой свет на море, тихо вздыхающее ей навстречу, на берег и камень, у которого мы лежим.

— Рагим!.. Расскажи сказку... — прошу я старика.

— Зачем? — спрашивает Рагим, не оборачиваясь ко мне.

— Так! Я люблю твои сказки.

— Я тебе все уж рассказал... Больше не знаю... — Это он хочет, чтобы я попросил его. Я прошу.

— Хочешь, я расскажу тебе песню? — соглашается Рагим.

Я хочу слышать старую песню, и унылым речитативом, стараясь сохранить своеобразную мелодию песни, он рассказывает.

«Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море.

Высоко в небе спяло солнце, а горы зносом дышали в небо, и билась волна внизу о камень...

А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился навстречу морю, гремя камнями...

Весь в белой пене, седой и сильный, он резал гору и падал в море, сердито воя.

Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях...

С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твердый камень...

Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы две-три минуты...

Подполз он ближе к разбитой птице, и прошепел он ей прямо в очи:

— Что, умираешь?

— Да, умираю! — ответил Сокол, вздохнув глубоко. — Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!

— Ну что же — небо? — пустое место... Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро!

Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни.

И так подумал: «Летай или ползай, конец известен: все в землю лягут, все прахом будет...»

Но Сокол смелый вдруг встрепнулся, привстал немного и по ущелью повел очами.

Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье темном и пахло гнилью.

И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы:

— О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я... к ранам груди и... захлебнулся б моей он кровью!.. О, счастье битвы!..

А Уж подумал: «Должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стоит!..»

И предложил он свободной птице: «А ты подвись на край ущелья и вниз бросайся. Быть может, крылья тебя поднимут и проживешь ты еще немного в твоей стихии».

И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошел к обрыву, скользя когтями по слизи камня.

И подошел он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и — вниз скатился.

И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья...

Волна потока его схватила и, кровь оmyвши, одела в пену, умчала в море.

А волпы моря с печальным ревом о камень бились... И труп птицы не видно было в морском пространстве...

II

В ущелье лежа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу.

И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье.

— А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такте, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полетам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать все это, взлетевши в небо хоть ненадолго.

Сказал и — сделал. В кольцо свернувшись, он прыгнул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.

Рожденный ползать — летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся...

— Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она — в паденье!.. Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойпой. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!.. Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам все знаю! Я — видел небо... Взлетал в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли творенье — землей живу я.

И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою.

Блестело море, все в ярком свете, и грозно волны о берег бились.

В их львином реве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни:

«Безумству храбрых поем мы славу!

Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!

Пусть ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

Безумству храбрых поем мы песню!..»

...Молчит опаловая даль моря, певуче плещут волны на песок, и я молчу, глядя в даль моря. На воде все больше серебряных пятен от лунных лучей... Наш котелок тихо закипает.

Одна из волн игриво вскатывается на берег и, вызывая шумя, ползет к голове Рагима.

— Куда идешь?.. Пшла! — машет на нее Рагим рукой, и она покорно скатывается обратно в море.

Мне нисколько не смешна и не страшна выходка Рагима, одухотворяющего волны. Все кругом смотрит странно живо, мягко, ласково. Море так впушительно спокойно, и чувствуется, что в свежем дыхании его на горы, еще не остывшие от дневного зноя, скрыто много мощной, сдержанной силы. По темно-синему небу золотым узором звезд написано нечто торжественное, чарующее душу, смущающее ум сладким ожиданием какого-то откровения.

Все дремлет, но дремлет напряженно чутко, и кажется, что вот в следующую секунду все встрепетится и зазвучит в стройной гармонии неизъяснимо сладких звуков. Эти звуки расскажут про тайны мира, разъяснят их уму, а потом погасят его, как призрачный огонек, и увлекут с собой душу высоко в темно-синюю бездну, откуда навстречу ей трепетные узоры звезд тоже зазвучат дивной музыкой откровения...

КОНОВАЛОВ

Рассеянно пробегая глазами газетный лист, я встретил фамилию — Коновалов и, заинтересованный ею, прочитал следующее:

«Вчера ночью, в 3-й камере местного тюремного замка, повесился на отдушине печи мещанин города Муром Александр Иванович Коновалов, 40 лет. Самоубийца был арестован в Пскове за бродяжничество и пересылался этапным порядком на родину. По отзыву тюремного начальства, это был человек всегда тихий, молчаливый и задумчивый. Причиной, побудившей Коновалова к самоубийству, как заключил тюремный доктор, следует считать мелапхолию».

Я прочитал эту краткую заметку и подумал, что мне, может быть, удастся несколько яснее осветить причину, побудившую этого задумчивого человека уйти из жизни, я знал его. Пожалуй, я даже и не вправе промолчать о нем: это был славный малый, а их не часто встречаешь на жизненном пути.

...Мне было восемнадцать лет, когда я встретил Коновалова. В то время я работал в хлебопекарне как «подручный» пекаря. Пекарь был солдат из «музыкальной команды», он страшно пил водку, часто портил тесто и, пьяный, любил наигрывать на губах и выбивать пальцами на чем попало различные пьесы. Когда хозяин пекарни делал ему внушения за испорченный или опоздавший к утру товар, он бесился, ругал хозяина беспощадно и при этом всегда указывал ему на свой музыкальный талант.

— Передержал тесто! — кричал он, оттопыривая свои рыжие, длинные усы, шлепая губами, толстыми и всегда почему-то мокрыми. — Корка сгорела! Хлеб сырой! Ах ты, черт тебя возьми, косоглазая кикимора! Да разве я для этой работы родился на свет? Будь ты апафема с твоей работой, я — музыкант! Понял? Я — бывало, альт запьет — на альте играю; гобой под арестом — в гобой дую; корнет-а-пистон хворает — кто его может заменить? Я! Тим-тар-рам-да-дди! А ты — м-мужик, кацап! Давай расчет.

А хозяин, сырой и пухлый человек, с разноцветными глазами и женоподобным лицом, колыхая животом, топал по полу короткими толстыми ногами и визгливым голосом вопил:

— Губитель! Разоритель! Хриstopродавец Иуда! — Растопырив короткие пальцы, он воздевал руки к небу и вдруг громко, голосом, резавшим уши, возглашал:

— А ежели я тебя за бунт в полицию?

— Слугу царя и отечества в полицию? — ревел солдат и уже лез на хозяина с кулаками. Тот уходил, отплевываясь и взволнованно сопя. Это все, что он мог сделать, — было лето, время, когда в приволжском городе трудно найти хорошего пекаря.

Такие сцены разыгрывались почти ежедневно. Солдат пил, портил тесто и играл разные марши и вальсы или «нумера», как он говорил, хозяин скрежетал зубами, а мне, в силу этого, приходилось работать за двоих.

И я был весьма обрадован, когда однажды между хозяином и солдатом разыгралась такая сцена.

— Ну, солдат, — сказал хозяин, появляясь в пекарне с лицом сияющим и довольным и с глазками, сверкавшими ехидной улыбкой, — ну, солдат, оттопыривай губы и играй походный марш!

— Чего еще?! — мрачно сказал солдат, лежавший на ларе с тестом и, по обыкновению, полупьяный.

— В поход собирайся! — ликовал хозяин.

— Куда? — спросил солдат, спуская с ларя ноги и чувствуя что-то недоброе.

— Куда хочешь...

— Это как понимать? — запальчиво крикнул солдат.

— А так и поймай, что больше я тебя держать не стану. Получи расчет и на все четыре стороны — марш!

Солдат привык чувствовать свою силу и безвыходность положения хозяина, заявление последнего не-

сколько отрезвило его: он понимал, как трудно ему с его плохим знанием ремесла найти себе место.

— Ну, это ты врешь!.. — с тревогой сказал он, вставая на ноги.

— Иди-ка, иди...

— Идти?

— Проваливай.

— Нароботался, значит... — с горечью мотнул головой солдат. — Пососал ты из меня крови, высосал и вош меня. Ловко! Ах ты — паук!

— Я паук? — вскипел хозяин.

— Ты! кровососец-паук — вот как! — убедительно сказал солдат и, пошатываясь, пошел к двери.

Хозяин ехидно смеялся вслед ему, и его глазки радостно сверкали.

— Поди-ка вот теперь поступи на место к кому-нибудь! Н-да. Я тебя, голубчика, везде так разрисовал, что, хоть ты даром просись, — не возьмут! Нигде не возьмут...

— Нового наняли? — спросил я.

— Новый-то — он старый. Моим подручным был. Ах, какой пекарь! Золото! Но тоже пьяница, п-их! Только он запоем тянет... Вот он придет, возьмется за работу и месяца три-четыре учнет ломить, как медведь! Сна, покоя не знает, за ценой не стоит. Работает и поет! Так он, братец ты мой, поет, что даже слушать невозможно — тягостно делается на сердце. Пост, поет, потом учнет снова пить!

Хозяин вздохнул и безнадежно махнул рукой.

— И когда он запьет — нет ему тут никакого удержу. Пьет до тех пор, пока не захворает или не пропьется догола... Тогда стыдно ему бывает, что ли, он пропадает куда-то, как нечистый дух от ладана. А вот и он... Совсем пришел, Лёса?

— Совсем, — отвечал с порога глубокий, грудной голос.

Там, прислонясь плечом к косяку двери, стоял высокий, плечистый мужчина лет тридцати. По костюму это был типичный босяк, по лицу — настоящий славянин. На нем красная кумачовая рубаха, невероятно грязная и рваная, холщовые широкие шаровары, на одной ноге остатки резинового ботика, на другой — кожаный опорок. Светло-русые волосы на голове были спутаны, и в них торчали щепочки, соломинки; все это было и в его

русой бороде, точно веером закрывавшей ему грудь. Продолговатое, бледное, изнуренное лицо освещалось большими голубыми глазами, они смотрели ласково. Губы его, красивые, но немного бледные, тоже улыбались под русыми усами. Улыбка была такая, точно он хотел сказать виновато:

«Вот я какой... Не обессудьте».

— Проходи, Сашок, вот тебе подручный,— говорил хозяин, потирая руки и любовно оглядывая могучую фигуру нового пекаря. Тот молча шагнул вперед, протянул мне длинную руку с богатырски широкой кистью; мы поздоровались; он сел на скамью, вытянул вперед ноги, посмотрел на них и сказал хозяину:

— Ты мне, Василий Семечыч, купи две смеши рубах да опорки... Холста на колпак.

— Все будет, не бойсь! Колпаки у меня есть; рубахи и порты вечером будут. Знай работай пока что; я тебя знаю, кто ты есть. Не обижу... Коновалова никто не обидит, потому — он сам никого не обижает. Разве хозяин — зверь? Я сам тоже работал, знаю, как редька слезы выжимает... Ну, оставайтесь, значит, ребятушки, а я пойду...

Мы остались одни.

Коновалов сидел на скамье и молча, улыбаясь, осматривался вокруг. Пекарня помещалась в подвале со сводчатым потолком, ее три окна были ниже уровня земли. Света мало, мало и воздуха, но зато много сырости, грязи и мучной пыли. У стен стояли длинные лари: один с тестом, другой еще только с опарой, третий пустой. На каждый ларь ложилась из окна тусклая полоса света. Громадная печь занимала почти треть пекарни; около нее на грязном полу лежали мешки муки. В печи жарко горели длинные плахи дров, и отраженное на серой стене пекарни пламя их колебалось и дрожало, точно беззвучно рассказывало о чем-то.

Сводчатый закопченный потолок давил своей тяжестью, от соединения дневного света с огнем печи образовалось неопределенное и утомлявшее глаза освещение. В окна с улицы лился глухой шум и летела пыль. Коновалов осмотрел все это, вздохнул и спросил скучным голосом:

— Давно здесь работаешь?

Я сказал. Помолчали, исподлобья осматривая друг друга.

— Экая тюрьма! — вздохнул он. — Пойдем на улицу к воротам, поспдим?..

Мы вышли к воротам и сели на лавку.

— Здесь дышать можно. Я к пропасти этой сразу не привыкну, — не могу. Сам посуди, от моря я пришел... в Каспии на ватагах работал... и вдруг сразу с широты такой — бух в яму!

Он с печальной улыбкой посмотрел на меня и замолчал, пристально вглядываясь в прохожих и в проезжих. В его голубых, ясных глазах светилась печаль... Вечер наступал; на улице было душно, шумно, пыльно, от домов на дорогу ложились тени. Коновалов сидел, прислонившись спиной к стене, сложив руки на груди, перебирая пальцами шелковистые волосы своей бороды. Я сбоку смотрел на его овальное бледное лицо и думал: «Что это за человек?» Но не решался заговорить с ним, потому что он был моим начальником и потому еще, что он внушал мне страшное уважение.

Лоб у него был разрезан тремя тонкими морщинками, но по временам они разглаживались и исчезали, и мне очень хотелось знать, о чем думает этот человек...

— Пойдем-ка, пора. Ты месн вторую, а я тем временем поставлю третью.

Развесив одну гору теста, замесив другую, мы сели пить чай; Коновалов сунул руку за пазуху и спросил меня:

— Ты читать умеешь? На-ка вот, почитай, — и подал мне смятый, запачканный листик бумаги.

«Дорогой Саша! — читал я. — Клапаясь и целую тебя заочно. Плохо мне и очень скучно живется, не могу дожидаться того дня, когда я уеду с тобой или буду жить вместе с тобой; надоела мне эта жизнь проклятая невозможно, хотя вначале и правилась. Ты сам это хорошо понимаешь, я тоже стала понимать, как познакомилась с тобой. Наниши мне, пожалуйста, поскорее; очень мне хочется получить от тебя письмо. А пока до свиданья, а не прощай, мой милый, бородатый друг моей души. Упреков я тебе никаких не пишу, хотя я тобой и разочорчена, потому что ты свинья — уехал, со мной не простился. Но все же ничего я от тебя, кроме хорошего, не видела: ты был один еще первый такой, и я про это не забуду. Нельзя ли постараться, Саша, о моей выключке. Тебе девицы говорили, что я убегу от тебя, если буду выключепа; но это все вздор и чистая неправда. Если

бы ты только сжалился надо мной, то я после выключки стала бы с тобой, как собака твоя. Тебе ведь легко это сделать, а мне очень трудно. Когда ты был у меня, я плакала, что принуждена так жить, хотя я тебе этого не сказала. До свиданья. Твоя Капвтолина».

Коновалов взял у меня письмо и задумчиво стал вертеть его между пальцами одной руки, другою покручивая бороду.

— А писать ты умеешь?

— Могу...

— А чернила у тебя есть?

— Есть.

— Напиши ты ей письмо, а? Она, чай, поди мерзавцем меня считает, думает — я про нее забыл... Напиши!

— Изволь. Она кто?

— Проститутка... Видишь — о выключке пишет. Это, значит, чтобы я полиции дал обещание, что женюсь на ней, тогда ей возвратят паспорт, а книжку у нее отберут, и будет она с той поры свободная! Вник?

Через полчаса готово было трогательное послание к ней.

— Ну-ка почитай, как оно вышло? — с нетерпением спросил Коновалов.

Вышло вот как:

«Капа! Не думай про меня, что я подлец и забыл о тебе. Нет, я не забыл, а просто запил и весь пропился. Теперь снова поступил на место, завтра возьму у хозяина денег вперед, вышлю их на Филиппа, и он тебя выключит. Денег тебе на дорогу хватит. А пока — до свиданья. Твой Александр».

— Гм... — сказал Коновалов, почесав голову, — а пишешь ты певажно. Жалости нет в письме у тебя, слезы нет. И опять же — я просил тебя ругать меня разными словами, а ты этого не написал...

— Да зачем это?

— А чтобы она видела, что мне перед ней стыдно и что я понимаю, как я перед ней виноват. А так что! Точно горох просыпал — написал! А ты слезу подпусти!

Пришлось подпустить в письмо слезу, что я с успехом и выполнил. Коновалов удовлетворился и, положив мне руку на плечо, задушевно проговорил:

— Вот теперь славно! Спасибо! Ты парень, видно, хороший, — мы с тобой уживемся.

Я не сомневался в этом и попросил его рассказать мне о Капитолине.

— Капитолина? Девочка она,— совсем дитя. Вятская, купеческая дочь была... Да вот свихнулась. Дальше — больше, и пошла в публичный дом... Я — смотрю, ребенок совсем! Господи, думаю, разве так можно? Ну, и познакомился с ней. Она — плакать. Я говорю: «Ничего, потерпи! Я те отсюда вытащу — погоди!» И все у меня было готово, деньги и все... И вдруг я запил и очутился в Астрахани. Потом вот сюда попал. Известил ее обо мне один человек, и она написала мне письмо.

— Что же ты,— спросил я его,— жениться хочешь на ней?

— Жениться, где мне! Ежели у меня запой — какой же я жених? Нет, так я это. Выключу ее — и потом иди на все четыре стороны. Место себе найдет,— может, человеком будет.

— Она с тобой хочет жить...

— Да ведь это она блажит только. Они все такие... бабы... Я их очень хорошо знаю. У меня много было разных. Даже купчиха одна... Конюхом я был в цирке, она меня и выглядела. «Иди, говорит, в кучера». Мне цирк в ту пору надоел, я и согласился, пошел. Ну и того... Стала она ко мне ластиться. Дом это у них, лошади, прислуга — как дворяне жили. Муж у нее был пизенький и толстый, на мапер пашего хозяина, а сама она такая худая, гибкая, как кошка, горячая. Бывало, как обнимет да поцелует в губы — как углей каленых в сердце всыплет. Так ты весь и задрожешь, даже страшно станет. Целует, бывало, а сама все плачет: плечи у нее даже ходуном ходят. Спрошу ее: «Чего ты, Верушка?» А она: «Ребенок, говорит, ты, Саша; не понимаешь ты ничего». Славная была... А это она верно, что я не понимаю-то ничего — очень я дураковат, сам знаю. Что делаю — не понимаю. Как живу — не думаю!

И, замолчав, он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами; в них светился не то испуг, не то вопрос, что-то тревожное, от чего красивое лицо его стало еще печальнее и краше...

— Ну, и как же ты с купчихой-то кончил? — спросил я.

— А на меня, видишь ты, тоска находит. Такая, скажу я тебе, братец мой, тоска, что невозможно мне в ту

пору жить, совсем нельзя. Как будто я один человек на всем свете и, кроме меня, нигде ничего живого нет. И все мне в ту пору противест — и сам я себе становлюсь в тягость, и все люди; хоть помирай они — не охну! Болезнь это у меня, должно быть. С нее я и пить начал... Так вот, я и говорю ей: «Вера Михайловна! отпусти меня, больше я не могу!» — «Что, говорит, надоела я тебе?» И смеется, знаешь, да таково нехорошо смеется. «Нет, мол, не ты мне надоела, а сам я себе не под силу стал». Сначала она не понимала меня, даже кричать стала, ругаться... Потом поняла. Опустила голову и говорит: «Что же, иди!..» Заплакала. Глаза у нее черные. Волосы тоже черные и кудрявые. Она не купеческого рода была, а из чиновных... Н-да... Жалко мне ее было, и противен я был сам себе тогда. Ей, конечно, скучно было с таким-то мужем. Он совсем как мешок муки... Плакала она долго — привыкла ко мне... Я ее очень нежил: возьму, бывало, на руки и качаю. Она спит, а я сижу и смотрю на нее. Во сне человек очень хорош бывает, такой простой; дышит да улыбается, и больше ничего. А то — на даче, когда жили, — бывало, поедем с ней кататься, — во весь дух она любила. Приедем, куда ни то в уголок в лесу лошадь привяжем, а сами в холодок на траву. Она велит мне лечь, положит мою голову себе на колени и читает мне какую-нибудь книжку. Я слушаю, слушаю, да и засну. Хорошие истории читала, очень хорошие. Никогда я не забуду одной — о немом Герасиме и его собаке. Он, немой-то, гоимый человек был, и никто его, кроме собаки, не любил. Смеются над ним и все такое, он сейчас к собаке идет... Очень это жалостная история... А дело-то было в крепостное время... Барыня и говорит ему: «Немой, иди утопи свою собаку, а то она воет». Ну, немой пошел... Взял лодку, посадил в нее собаку и поехал... Я, бывало, в этом месте дрожью дрожу. Господи! У живого человека единственную в свете радость его убивают! Какие это порядки? Удивительная история! И верно — вот что хорошо! Бывают такие люди, что для них весь свет в одном в чем-нибудь — в собаке, к примеру. А почему в собаке? Потому больше никого нет, кто бы любил такого человека, а собака его любит. Без любви какой-нибудь — жить человеку невозможно: затем ему и душа дана, чтобы он мог любить... Много она мне разных историй читала. Славная была женщина, и посеи-

час жалко мне ее... Кабы не моя планета — не ушел бы я от нее, пока она сама того не захотела бы или муж не узнал про наши с ней дела. Ласковая она была — вот что первое, не тем ласковая, что подарки дарила, а так — по сердцу своему ласковая. Целуется она со мной и все такое — женщина как женщина... а пайдет, бывало, на нее этакий тихий стих... удивительно даже, до чего она тогда хороший человек была. Смотрит, бывало, прямо в душу и рассказывает, как пьянька или мать. Я в такие времена, бывало, прямо как пятилетний ребенок перед ней. Но все-таки ушел от нее — тоска! Тянет меня куда-то... «Прощай, говорю, Вера Михайловна, прости меня». — «Прощай, говорит, Саша». И — чудная — обнажила мне руку по локоть да как вцепится зубами в мясо! Я чуть не заорал! Так целый кусок и выхватила почти, — недели три болела рука. Вот и сейчас знак цел.

Обнажив мускулистую руку, белую и красивую, он показал мне ее, улыбаясь добродушно-печальной улыбкой. На коже руки около локтевого сгиба был ясно виден шрам — два полукруга, почти соединявшиеся концами. Коновалов смотрел на них и, улыбаясь, качал головой.

— Чудачка! Это она на память куснула.

Я слышал и раньше истории в этом духе. Почти у каждого босяка есть в прошлом «купчиха» или «одна барыня из благородных», и у всех босяков эта купчиха и барыня от бесчисленных вариаций в рассказах о ней является фигурой совершенно фантастической, странно соединяя в себе самые противоположные физические и психические черты. Если она сегодня голубоглазая, злая и веселая, то можно ожидать, что через неделю вы услышите о ней как о черноокой, доброй и слезливой. И обыкновенно босяк рассказывает о ней в скептическом тоне, с массой подробностей, которые унижают ее.

Но в истории, рассказанной Коноваловым, звучало что-то правдивое, в ней были незнакомые мне черты — чтения книжек, эпитет ребенка в приложении к мощной фигуре Коновалова...

Я представил себе гибкую женщину, спящую у него на руках, прильнув головой к широкой груди, — это было красиво и еще более убедило меня в правде его рассказа. Наконец его печальный и мягкий тон при вос-

помипани о «купчихе» — топ исключительный. Истинный босяк никогда не говорит таким топом ни о женщинах, ни о чем другом — он любит показать, что для него на земле нет такой вещи, которую он не посмел бы обругать.

— Ты чего молчишь, думаешь, я паврал? — спросил Коновалов, и в голосе его звучала тревога. Он сидел на мешках с мукой, держа в одной руке стакан чаю, а другой медленно поглаживая бороду. Его голубые глаза смотрели на меня пытливо и вопросительно, морщинки на лбу легли резко...

— Нет, ты верь... Чего мне врать? Положим, наш брат, бродяга, сказки рассказывать мастер... Нельзя, друг: если у человека в жизни не было ничего хорошего, — он ведь никому не повредит, коли сам для себя выдумает какую ни то сказку, да и станет рассказывать ее за быль. Рассказывает и сам себе верит, будто так и было — верит, ну, ему и приятно. Многие живут этим. Ничего не поделаешь... Но я тебе рассказал правду, — так оно и было. Разве тут что особенное есть? Женщина живет, и ей скучно. Положим, я кучер, но женщине это все равно, потому что и кучер, и барин, и офицер — все мужчины... И все перед ней свиньи, все одного и того же ищут, и каждый поровит, чтобы побольше взять да поменьше заплатить. Простой-то человек совестливее. А я очень простой... Женщины это хорошо во мне понимают — видят, что не обижку, не насмеюсь над ней. Женщина — она согрешит и ничего так не боится, как смеха, издевки над ней. Они стыдливее против нас. Мы свое возьмем и хоть на базар пойдем рассказывать, хвастаться станем — вот, мол, как мы одну дуру провели!.. А женщине некуда идти, ей греха в удаль никто не ставит. Они, брат, даже самые потерянные, и те стыда больше нас имеют.

Я слушал его и думал: «Неужели этот человек верен сам себе, говоря все эти неподобающие ему речи?»

А он, задумчиво уставив на меня свои детски ясные глаза, все более удивлял меня своими речами.

Дрова в печи сгорели, яркая груда углей отбросила от себя на стену пекарни розоватое пятно...

В окно смотрел кусочек голубого неба с двумя звездами на нем. Одна из них — большая — блестела изумрудом, другая, неподалеку от нее, — едва видна.

Прошла неделя, и мы с Коноваловым были друзьями.

— Ты простой парень! Хорошо это! — говорил он мне, широко улыбаясь и хлопая меня своей ручищей по плечу.

Работал он артистически. Нужно было видеть, как он управлялся с семипудовым куском теста, раскатывая его, или как, наклонившись над ларем, месил, по локоть погружая свои могучие руки в упругую массу, пищавшую в его стальных пальцах.

Сначала, видя, как он быстро мечет в печь сырые хлебы, которые я еле успевал подкидывать из чашек на его лопату, — я боялся, что он насадит их друг на друга; но, когда он выпек три печи и ни у одного из ста двадцати караваев — пышных, румяных и высоких — не оказалось «притиска», я понял, что имею дело с артистом в своем роде. Он любил работать, увлекался делом, унывал, когда печь пекла плохо или тесто медленно всходило, сердился и ругал хозяина, если он покупал сырую муку, и был по-детски весел и доволен, если хлебы из печи выходили правильно круглые, высокие, «подъемистые», в меру румяные, с тонкой хрустящей коркой. Бывало, он брал с лопаты в руки самый удачный каравай и, перекидывая его с ладони на ладонь, обжигаясь, весело смеялся, говоря мне:

— Эх, какого красавца мы с тобой сработали...

И мне было приятно смотреть на <этого гигантского> ребенка, вложившего всю душу в работу свою, — как это и следует делать каждому человеку во всякой работе...

Однажды я спросил его:

— Саша, говорят, ты поешь хорошо?

— Пою... Только это у меня разами бывает... полосою. Начну я тосковать, тогда и пою... И, ежели петь начну — затоскую. Ты уж помалкивай об этом, не дразни. Ты сам-то не поешь? Ах ты, — штука какая! Ты лучше потерпи до меня... Потом оба запоем, вместе. Идет?

Я, конечно, согласился и свистал, когда хотелось петь. Но иногда прорывался и начинал мурлыкать себе под нос, меся тесто и катая хлебы. Коновалов слушал меня, шевелил губами и чрез некоторое время напоминал мне о моем обещании. А иногда грубо кричал на меня:

— Брось! Не стони!

Как-то раз я вынул из моего сундука книжку и, при-
мостившись к окну, стал читать.

Коновалов дремал, растянувшись на ларе с тестом,
но шелест перевортываемых мною над его ухом страниц
заставил его открыть глаза.

— Про что книжка?

Это были «Подлиповцы».

— Почитай вслух, а?.. — попросил он.

И вот я стал читать, сидя на подоконнике, а он усел-
ся на ларе и, прислонив свою голову к моим коленям,
слушал... Иногда я через книгу заглядывал в его лицо и
встречался с его глазами — у меня до сей поры они в
памяти — широко открытые, напряженные, полные глу-
бокого внимания... И рот его тоже был полуоткрыт, об-
нажая два ряда ровных белых зубов. Поднятые кверху
брови, изогнутые морщинки на высоком лбу, руки, кото-
рыми он охватил колени, — вся его неподвижная, вни-
мательная поза подогревала меня, и я старался как
можно внятнее и образнее рассказать ему грустную ис-
торию Сысойки и Пилы.

Наконец я устал и закрыл книгу.

— Все уж? — шепотом спросил меня Коновалов.

— Меньше половины...

— Всю вслух прочитаешь?

— Изволь.

— Эх! — Он схватил себя за голову и закачался,
сидя на ларе. Ему что-то хотелось сказать, он откры-
вал и закрывал рот, вздыхая, как мехи, и для чего-то
защурил глаза. Я не ожидал такого эффекта и не пони-
мал его значения.

— Как это ты читаешь! — шепотом заговорил он. —
На разные голоса... Как живые все они... Апроська! Пи-
ла... дураки какие! Смешно мне было слушать... А даль-
ше что? Куда они поедут? Господи боже! Ведь это все
правда. Ведь это как есть настоящие люди... всамде-
льные мужики... И совсем как живые и голоса и
рожи... Слушай, Максим! Посадим печь — читай дальше!

Мы посадили печь, приготовили другую, и снова час
и сорок минут я читал книгу. Потом опять пауза — печь
испекла, вынули хлебы, посадили другие, замесили еще
тесто, поставили еще опару... Все это делалось с лихора-
дочной быстротой и почти молча.

Коновалов, нахмурив брови, изредка кротко бросал
мне односложные приказания и торопился, торопился...

К утру мы копчили книгу, я чувствовал, что язык у меня одеревенел.

Сидя верхом на мешке муки, Коновалов смотрел мне в лицо страшными глазами и молчал, упершись руками в колени...

— Хорошо? — спросил я.

Он замотал головой, жмуря глаза, и опять-таки почему-то шепотом заговорил:

— Кто же это сочинил? — В глазах его светилось не изъяснимое словами изумление, и лицо вдруг вспыхнуло горячим чувством.

Я рассказал, кто написал книгу.

— Ну — человек он! Как хватил! А? Даже ужасно. За сердце берет — вот до чего живо. Что же он, сочинитель, что ему за это было?

— То есть как?

— Ну, например, дали ему награду или что там?

— А за что ему нужно дать награду? — спросил я.

— Как за что? Книга... вроде как бы акт полицейский. Сейчас ее читают... судят: Пила, Сысойка... какие же это люди? Жалко их станет всем... Народ темный. Какая у них жизнь. Ну, и...

— И — что?

Коновалов смущенно посмотрел на меня и робко заявил:

— Какое-нибудь распоряжение должно выйти. Люди ведь, нужно их поддержать.

В ответ на это я прочитал ему целую лекцию... Но — увы! — она не произвела того впечатления, на которое я рассчитывал.

Коновалов задумался, попик головой, закачался всем корпусом и стал вздыхать, ни словом не мешая мне говорить. Я устал накопец, замолчал.

Коновалов поднял голову и грустно посмотрел на меня.

— Так ему, значит, ничего и не дали? — спросил он.

— Кому? — осведомился я, позабыв о Решетникове.

— Сочинителю-то?

Я не ответил ему, чувствуя раздражение против слушателя, очевидно, не считавшего себя в силах решать мировые вопросы.

Коновалов, не дожидаясь моего ответа, взял книгу в свои руки, осторожно повертел ее, открыл, закрыл и, положив на место, глубоко вздохнул.

— Как все это премудро, господи! — вполголоса заговорил он. — Написал человек книгу... бумага и на ней точки разные — вот и все. Написал и... умер он?

— Умер, — сказал я.

— Умер, а книга осталась, и ее читают. Смотрит в нее человек глазами и говорит разные слова. А ты слушаешь и понимаешь: жили на свете люди — Пила, Сысойка, Апроська... И жалко тебе людей, хоть ты их никогда не видал и они тебе совсем — ничего! По улице они такие, может, десятками живые ходят, ты их видишь, а не знаешь про них ничего... и тебе нет до них дела... идут они и идут... А в книге тебе их жалко до того, что даже сердце щемит... Как это понимать? А сочинитель так без награды и умер? Ничего ему не было?

Я разозлился и рассказал ему о наградах сочинителям...

Коновалов слушал меня, испуганно тараща глаза, и соболезнующе чмокал губами.

— Порядки, — вздохнул он всей грудью и, закусив левый ус, грустно поник головой.

Тогда я начал говорить о роковой роли кабака в жизни русского литератора, о тех крупных и искренних талантах, что погибли от водки — единственной утехи их многотрудной жизни.

— Да разве такие люди пьют? — шепотом спросил меня Коновалов. В его широко открытых глазах сверкало и недоверие ко мне, испуг и жалость к тем людям. — Пьют! Что же они... после того, как напишут книги, запивают?

Это, по-моему, был неуместный вопрос, и я на него не ответил.

— Конечно, после, — решил Коновалов. — Живут люди и смотрят в жизнь, и вбирают в себя чужое горе жизни. Глаза у них, должно быть, особенные... И сердце тоже... Насмотрятся на жизнь и затоскуют... И волюют тоску в книги... Это уж не помогает, потому — сердце тронуто, из него тоски огнем не выжжешь... Остается — водкой ее заливать. Ну и пьют... Так я говорю?

Я согласился с ним, и это как бы придавало ему бодрости.

— Ну, и по всей правде, — продолжал он развивать психологию сочинителей, — следует их за это отличить. Верно ведь? Потому что они понимают больше других и указывают другим разные непорядки. Вот теперь я,

например,— что такое? Босьяк, галах, пъяпица и тропутый человек. Жизнь у меня без всякого оправдания. Зачем я живу на земле и кому я на ней нужен, ежели посмотреть? Ни угла своего, ни жепы, ни детей, и ни до чего этого даже и охоты нет. Живу, тоскую... Зачем? Неизвестно. Внутреннего пути у меня нет,— понимаешь? Как бы это сказать? Этакой искорки в душе нет... силы, что ли? Ну, нет во мне одной штуки — и все тут! Понял? Вот я живу и эту штуку ищу и тоскую по ней, а что она такое есть — это мне неизвестно...

Он, держась рукой за голову, смотрел на меня, и на лице его отразилась работа мысли, ищущей для себя формы.

— Ну, и что же дальше? — допытывался я.

— Дальше?.. Не могу я тебе рассказать... Но думаю так, что ежели бы какой-нибудь сочинитель присмотрелся ко мне,— мог бы он объяснить мне мою жизнь, а? Ты как думаешь?

Я думал, что и сам в состоянии объяснить ему его жизнь, и сразу же принялся за это, на мой взгляд, легкое и ясное дело. Я начал говорить об условиях и среде, о неравенстве, о людях — жертвах жизни и о людях — владыках ее.

Коповалов слушал внимательно. Он сидел против меня, подперши щеку рукой, и его большие голубые глаза, широко раскрытые, задумчивые и умные, постепенно заволакивались как бы легким туманом, на лбу все резче ложились складки, он, кажется, удерживал дыхание, весь поглощенный желанием понять мои речи.

Мне льстило все это. Я с жаром расписывал ему его жизнь и доказывал, что он не виноват в том, что он таков. Он — печальная жертва условий, существо, по природе своей, со всеми равноправное и длинным рядом исторических несправедливостей сведенное на степень социального нуля. Я заключил речь тем, что сказал:

— Тебе не в чем винить себя... Тебя обидели...

Он молчал, не сводя с меня глаз; я видел, как в них зарождается хорошая, светлая улыбка, и с нетерпением ждал, чем он откликнется на мои слова.

Он ласково засмеялся и, мягким, женским движением потянувшись ко мне, положил мне руку на плечо.

— Как ты, брат, легко рассказываешь! Откуда только тебе все эти дела известны? Все из книг? Много же ты читал их. Эх, ежели бы мне тоже почитать с эстоль!..

Но главная причина — очень ты жалостливо говоришь... Впервые мне такая речь. Удивительно! Все люди друг друга винят в своих пезадачах, а ты — всю жизнь, все порядки. Выходит, по-твоему, что человек-то сам по себе не виноват ни в чем, а написано ему на роду быть босяком — потому он и босяк. И насчет арестантов очень чудно: воруют потому, что работы нет, а есть падо... Как все это жалостливо у тебя! Слабый ты, видно, сердцем-то!..

— погоди,— сказал я,— ты согласен со мною? Верно я говорил?

— Тебе лучше знать, верно или нет,— ты грамотный... Оно, пожалуй,— ежели взять других,— так верно... А вот ежели я...

— То что?

— Ну, я,— особливая статья... Кто виноват, что я пью? Павелка, брат мой, не пьет — в Перми у него своя пекарня. А я вот работаю лучше его — однако бродяга и пьяница, и больше нет мне ни звания, ни доли... А ведь мы одной матери дети! Он еще моложе меня. Выходит — во мне самом что-то пеладно... Не так я, значит, родился, как человеку следует. Сам же ты говоришь, что все люди одинаковые. А я на особой стезе... И не один я — много нас этаких. Особливые мы будем люди... ни в какой порядок не включаемся. Особый нам счет нужен... и законы особые... очень строгие законы — чтобы нас искоренять из жизни! Потому пользы от нас нет, а место мы в ней занимаем и у других на тропе стоим... Кто перед нами виноват? Сами мы пред собой виноваты... Потому у нас охоты к жизни нет и к себе самим мы чувств не имеем...

Он — этот большой человек с ясными глазами ребенка — с таким легким духом выделял себя из жизни в разряд людей, для нее не нужных и потому подлежащих искоренению, с такой смеющейся грустью, что я был положительно ошеломлен этим самоуничижением, до той поры еще не виданным мною у босяка, в массе своей существа от всего оторванного, всему враждебного и над всем готового испробовать силу своего озлобленного скептицизма. Я встречал только людей, которые всегда все винили, на все жаловались, упорно отодвигая самих себя в сторону из ряда очевидностей, опровергавших их настойчивые доказательства личной непогрешимости,— они всегда сваливали свои неудачи на безмолв-

ную судьбу, на злых людей... Коновалов судьбу не винил, о людях не говорил. Во всей неурядице личной жизни был виноват только он сам, и чем упорнее я старался доказать ему, что он «жертва среды и условий», тем настойчивее он убеждал меня в своей виновности перед самим собою за свою печальную долю... Это было оригинально, но это бесило меня. А он испытывал удовольствие, бичуя себя; именно удовольствием блестящего глаза, когда он звучным баритоном кричал мне:

— Каждый человек сам себе хозяин, и никто в том не повинен, ежели я подлец!

В устах культурного человека такие речи не удивили бы меня, ибо еще нет такой болячки, которую нельзя было бы найти в сложном и спутанном психическом организме, именуемом «интеллигент». Но в устах босяка, — хотя он тоже интеллигент среди обниженных судьбой, голых, голодных и злых полулюдей, полужверей, наполняющих грязные трущобы городов, — из уст босяка странно было слышать эти речи. Приходилось заключить, что Коновалов действительно — особая статья, но я не хотел этого.

С внешней стороны Коновалов до мелочей являлся типичнейшим золоторотцем; но чем больше я присматривался к нему, тем больше убеждался, что мое дело с разнovidностью, нарушавшей мое представление о людях, которых давно пора считать за класс и которые вполне достойны внимания, как сильно алчущие и жаждущие, очень злые и далеко не глупые...

Мы с ним спорили все жарче.

— Да погоди, — кричал я, — как может человек устоять на ногах, коли на него со всех сторон разная темная сила прет?

— Упрись крепче! — возглашал мой оппонент, горячась и сверкая глазами.

— Да во что упереться?

— Найди свою точку и упрись!

— А ты чего же не упирался?

— Вот я те и говорю, чудак человек, что я сам виноват в моей доле!.. Не нашел я точки моей! Ищу, тоскую — не нахожу!

Однако надо было позаботиться о хлебе, и мы принялись за работу, продолжая доказывать друг другу правильность своих воззрений. Конечно, ничего не доказали и, оба взволнованные, кончив работу, легли спать.

Коновалов растянулся на полу пекарни и скоро заснул. Я лежал на мешках с мукой и сверху вниз смотрел на его могучую бородатую фигуру, богатырски раскинувшуюся на рогоже, брошенной около ларя. Пахло горячим хлебом, кислым тестом, углекислотой... Светало, в стекла окон, покрытые пленкой мучной пыли, смотрело серое небо. Грохотала телега, настух играл, собирая стадо.

Коновалов храпел. Я смотрел, как вздымалась его широкая грудь, и обдумывал разные способы наискорейшего обращения его в мою веру, но ничего не придумал и заснул.

Потру мы с ним встали, поставили опару, умылись и сели на ларе пить чай.

— Что, у тебя есть книжка? — спросил Коновалов.

— Есть...

— Почитаешь мне?

— Ладно...

— Вот хорошо! Знаешь что? Проживу я месяц, возьму у хозяина деньги и половину — тебе!

— На что?

— Купи книжек... Себе купи, которые по вкусу там, и мне купи — хоть две. Мне — которые про мужиков. Вот вроде Пилы и Сысойки... И чтобы, знаешь, с жалостью было написано, а не смеха ради... Есть иные — чепуха совсем! Панфилка и Филатка — даже с картинкой на первом месте — дурость. Пошехонцы, сказки разные. Не люблю я это. Я не знал, что есть этакие, вот как у тебя.

— Хочешь про Стеньку Разина?

— Про Стеньку? Хорошо?

— Очень хорошо...

— Тащи!

И вскоре я уже читал ему Костомарова: «Бунт Стеньки Разина». Сначала талантливая монография, почти эпическая поэма, не понравилась моему бородатому слушателю.

— А почему тут разговоров нет? — спросил он, заглядывая в книгу. И, когда я объяснил — почему, он даже зевнул и хотел скрыть зевок, но это ему не удалось, и он сконфуженно и виновато заявил мне:

— Читай — ничего! Это я так...

Но по мере того, как историк рисовал кистью художника фигуру Степана Тимофеевича и «князь волжской

вольницы» вырастал со страниц книги, Коновалов перерождался. Ранее скучный и равнодушный, с глазами, затуманенными ленивой дремотой,— он, постепенно и незаметно для меня, предстал предо мной в поразительно новом виде. Сидя на ларе против меня и обняв свои колени руками, он положил на них подбородок так, что его борода закрыла ему ноги, и смотрел на меня жадными, странно горевшими глазами из-под сурово нахмуренных бровей. В нем не было ни одной черточки той детской наивности, которой он удивлял меня, и все то простое, женственно мягкое, что так шло к его голубым, добрым глазам,— теперь потемневшим и суженым,— исчезло куда-то. Нечто львиное, огневое было в его сжатой в ком мускулов фигуре. Я замолчал.

— Читай,— тихо, но внушительно сказал он.

— Ты что?

— Читай! — повторил он, и в тоне его вместе с просьбой звучало раздражение.

Я продолжал, изредка поглядывая на него, и видел, что он все более разгорается. От него исходило что-то возбуждавшее и опьянявшее меня — какой-то горячий туман. И вот я дошел до того, как поймали Стеньку.

— Поймали! — крикнул Коновалов.

Боль, обида, гнев звучали в этом возгласе.

У него выступил пот на лбу и глаза странно расширились. Он соскочил с ларя, высокий и возбужденный, остановился против меня, положил мне руку на плечо и громко, торопливо заговорил:

— погоди! Не читай... Скажи, что теперь будет? Нет, стой, не говори! Казнят его? А? Читай скорее, Максим!

Можно было думать, что именно Коновалов, а не Фролка — родной брат Разину. Казалось, что какие-то узы крови, неразрывные, не остывшие за три столетия, до сей поры связывают этого босяка со Стенькой и босяк со всей силой живого, крепкого тела, со всей страстью тоскующего без «точки» духа чувствует боль и гнев пойманного триста лет тому назад вольного сокола.

— Да читай, Христа ради!

Я читал, возбужденный и взволнованный, чувствуя, как бьется мое сердце, и вместе с Коноваловым переживая Стенькину тоску. И вот мы дошли до пыток.

Коновалов скрипел зубами, и его голубые глаза сверкали, как угли. Он навалился на меня сзади и тоже не

отрывал глаз от книги. Его дыхание шумело над моим ухом и сдувало мне волосы с головы на глаза. Я встряхивал головой для того, чтобы отбросить их. Коновалов увидал это и положил мне на голову свою тяжелую ладонь.

«Тут Разин так скрипнул зубами, что вместе с кровью выплюнул на пол...»

— Будет!.. К черту! — крикнул Коновалов и, вырвав у меня из рук книгу, изо всей силы шлепнул ее об пол и сам опустился за ней.

Он плакал, и так как ему было стыдно слез, он как-то рычал, чтобы не рыдать. Он спрятал голову в колени и плакал, вытирая глаза о свои грязные тиковые штаны.

Я сидел перед ним на ларе и не знал, что сказать ему в утешение.

— Максим! — говорил Коновалов, сидя на полу. — Страшно! Пила... Сысойка. А потом Степьяка... а? Какая судьба!.. Зубы-то как он выплюнул!.. а?

И он весь вздрагивал.

Его особенно поразили выплюнутые Степьякой зубы, он то и дело, болезненно передергивая плечами, говорил о них.

Мы оба с ним были как пьяные под влиянием вставшей пред нами мучительной и жестокой картины пыток.

— Ты мне ее еще раз прочитай, слышишь? — уговаривал меня Коновалов, подняв с полу книгу и подавая ее мне. — А ну-ка, покажи, где тут написано насчет зубов?

Я показал ему, и он впился глазами в эти строки.

— Так и написано: «зубы свои выплюнул с кровью»? А буквы те же самые, как и все другие... Господи! Как ему больно-то было, а? Зубы даже... а в конце там что еще будет? Казнь? Ага! Слава те, господи, все-таки казнят человека!

Он выразил эту радость с такой страстью, с таким удовлетворением в глазах, что я вздрогнул от этого сострадания, так сильно желавшего смерти измученному Степьяке.

Весь этот день прошел у нас в странном тумане: мы все говорили о Степьяке, вспоминая его жизнь, песни, сложенные о нем, его пытки. Раз два Коновалов запевал звучным баритоном песни и обрывал их.

Мы с ним стали еще ближе друг к другу с этого дня.

Я еще несколько раз читал ему «Бунт Стеньки Разина», «Тараса Бульбу» и «Бедных людей». Тарас тоже очень поправился моему слушателю, но он не мог затемнить яркого впечатления от книги Костомарова. Макара Девушкина и Варю Коповалов не понимал. Ему казался только смешным язык писем Макара, а к Варе он относился скептически.

— Ишь ты, ластится к старику! Хитрая!.. А он — экое чучело! Однако брось ты, Максим, эту капитель! Чего тут? Он к ней, она к нему... Портнули бумагу... пу их к свиньям па хутор! Не жалостно и не смешно: для чего писано?

Я напоминал ему подлиповцев, но он не соглашался со мной.

— Пила и Сысойка — это другая модель! Они люди живые, живут и бьются... а эти чего? Пишут письма... скучно! Это даже и не люди, а так себе, одна выдумка. Вот Тарас со Стенькой, ежели бы их рядом... Батюшки! Каких они делов патворили бы. Тогда и Пила с Сысойкой — взбодрились бы, чай?

Он плохо понимал время, и в его представлении все излюбленные им герои существовали вместе, только двое из них жили в Усолье, одни в «хохлах», один на Волге... Мне с трудом удалось убедить его, что если бы Сысойка и Пила «съехали» вниз по Каме, они со Стенькой не встретились бы, и если бы Степка «дернул через донские казаки в хохлы», он не нашел бы там Бульбу.

Это огорчило Коповалова, когда он понял, в чем дело. Я попробовал угостить его пугачевским бунтом, желая посмотреть, как он отнесется к Емельке. Коповалов забраковал Пугачева.

— Ах, шельма клейменная, — ишь ты! Царским именем прикрылся и мутит... Сколько людей погубил, пес!.. Степка? — это, брат, другое дело. А Пугач — гнида, и больше ничего. Важное кушанье! Вот вроде Стеньки нет ли книжек? Поищи... А этого телячьего Макара брось — незаинтересованно. Уж лучше ты еще раз прочти, как казнили Степана...

В праздники мы с Коповаловым уходили за реку, в луга. Мы брали с собой немного водки, хлеба, книгу и с утра отправлялись «на вольный воздух», как называл Коповалов эти экскурсии.

Нам особенно нравилось бывать в «стеклянном заводе». Так почему-то называлось здание, стоявшее недалеко от города в поле. Это был трехэтажный каменный дом с провалившейся крышей, с изломанными рамами в окнах, с подвалами, все лето полными жидкой пахучей грязи. Зеленовато-серый, полуразрушенный, как бы опустившийся, он смотрел с поля на город темными впадинами своих изуродованных окоп и казался инвалидом-калекой, обиженным судьбой, изринутым из пределов города, жалким и умирающим. В половодье этот дом из года в год подмывала вода, но он, весь от крыши до основания покрытый зеленой коркой плесени, несокрушимо стоял, огражденный лужами от частых визитов полиции,— стоял и, хотя у него не было крыши, давал кров разным темным и бесприютным людям.

Их всегда было много в нем; оборванные, полуголодные, боящиеся солнечного света, они жили в этой развалине, как совы, и мы с Коноваловым были среди них желанными гостями, потому что и он и я, уходя из пекарни, брали по караваю белого хлеба, дорогой покупали четверть водки и целый лоток «горячего» — печенки, легкого, сердца, рубца. На два-три рубля мы устраивали очень сытное угощение «стеклянным людям», как их называл Коновалов.

Они платили нам за эти угощения рассказами, в которых ужасная, душу потрясающая правда фантастически перепутывалась с самой наивной ложью. Каждый рассказ являлся пред нами кружевом, в котором преобладали черные нити — это была правда, и встречались нити ярких цветов — ложь. Такое кружево падало на мозг и сердце и больно давило и то и другое, сжимая его своим жестким, мучительно разнообразным рисунком. «Стеклянные люди» по-своему любили нас — я часто читал им разные книги, и почти всегда они внимательно и вдумчиво слушали мое чтение.

Знание жизни у них, вышвырнутых за борт ее, поражало меня своей глубиной, и я жадно слушал их рассказы, а Коновалов слушал их для того, чтобы возражать против философии рассказчика и втянуть меня в спор.

Выслушав историю жизни и падения, рассказанную каким-нибудь фантастически разодетым субъектом, с физиономией человека, которому никак уж нельзя положить пальца в рот,— выслушав такую историю,

всегда носящую характер оправдательно-защитительной речи, Коновалов задумчиво улыбался и отрицательно покачивал головой. Это замечали.

— Не веришь, Лёса? — восклицал рассказчик.

— Нет, верю... Как можно не верить человеку! Даже и если видишь — врет он, верь ему, слушай и старайся понять, почему он врет? Иной раз враг-то лучше правды объясняет человека... Да и какую мы все про себя правду можем сказать? Самую пакостную... А соврать можно хорошо... Верно?

— Верно, — соглашается рассказчик. — А все-таки ты это к чему головой-то качал?

— К чему? А к тому, что ты неправильно рассуждаешь... Рассказываешь ты так, что приходится понимать, будто всю твою жизнь не ты сам, а шабры делали и разные прохожие люди. А где же ты в это время был? И почему ты против своей судьбы никакой силы не выставил? И как это так выходит, что все мы жалуемся на людей, а сами тоже люди? Значит, на нас тоже можно жаловаться? Нам жить мешают, — значит, и мы тоже кому-нибудь мешали, верно? Ну, как это объяснить?

— Нужно такую жизнь строить, чтоб в ней всем было просторно и никто никому не мешал, — говорят Коновалову.

— А кто должен строить жизнь? — победоносно вопрошает он и, боясь, что у него предвосхитят ответ на вопрос, тотчас же отвечает: — Мы! Сами мы! А как же мы будем строить жизнь, если мы этого не умеем и наша жизнь не удалась? И выходит, братцы мои, что вся опора — это мы! Ну, а известно, что такое есть мы...

Ему возражали, оправдывая себя, но он настойчиво твердил свое: никто ни в чем не виноват пред нами, каждый виноват сам пред собою.

Крайне трудно было сбить его с почвы этого положения, и трудно было усвоить его взгляд на людей. С одной стороны, они в его представлении являлись вполне правоспособными к устройству свободной жизни, с другой — они какие-то слабые, хлипкие и решительно не способные ни на что, кроме жалоб друг на друга.

Весьма часто такие споры, начатые в полдень, кончались около полуночи, и мы с Коноваловым возвращались от «стеклянных людей» во тьме и по колено в грязи.

Однажды мы едва не утонули в какой-то трясине, другой раз мы попали в облаву и ночевали в части вместе с двумя десятками разных приятелей из «стеклянного завода», с точки зрения полиции оказавшихся подозрительными личностями. Иногда нам не хотелось философствовать, и мы шли далеко в луга, за реку, где были маленькие озера, изобиловавшие мелкой рыбой, зашедшей в них во время половодья. В кустах, на берегу одного из таких озер, мы зажигали костер, который был нам нужен лишь потому, что увеличивал красоту обстановки, и читали книгу или беседовали о жизни. А иногда Коновалов задумчиво предлагал:

— Максим! Давай в небо смотреть!

Мы ложились на спины и смотрели в голубую бездну над нами. Сначала мы слышали и шелест листвы вокруг, и всплески воды в озере, чувствовали под собою землю... Потом постепенно голубое небо как бы притягивало нас к себе, мы утрачивали чувство бытия и, как бы отрываясь от земли, точно плавали в пустыне небес, находясь в полудремотном, созерцательном состоянии и стараясь не разрушать его ни словом, ни движением.

Так лежали мы по несколько часов кряду и возвращались домой к работе духовно и телесно обновленные и освеженные.

Коновалов любил природу глубокой, бессловесной любовью, и всегда, в поле или на реке, весь проникался каким-то миролюбиво-ласковым настроением, еще более увеличивавшим его сходство с ребенком. Изредка он с глубоким вздохом говорил, глядя в небо:

— Эх!.. Хорошо!

И в этом восклицании всегда было более смысла и чувства, чем в риторических фигурах многих поэтов, восхищающихся скорее ради поддержания своей репутации людей с тонким чутьем прекрасного, чем из действительного преклонения пред невыразимо ласковой красой природы...

Как всё, и поэзия теряет свою святую простоту, когда из поэзии делают профессию.

День за днем прошли два месяца. Я с Коноваловым о многом переговаривал и много прочитал. «Бунт Стеньки» я читал ему так часто, что он уже свободно рассказывал книгу своими словами, страницу за страницей, с начала до конца.

Эта книга стала для него тем, чем становится ино-

гда волшебная сказка для впечатлительного ребенка. Он называл предметы, с которыми имел дело, именами ее героев, и когда однажды с полки упала и разбилась хлебная чашка, он огорченно и зло воскликнул:

— Ах ты, воевода Прозоровский!

Неудавшийся хлеб он величал Фролкой, дрожжи именовались «Степкины думки»; сам же Стенька был синонимом всего исключительного, крупного, несчастного, неудавшегося.

О Капитолине, письмо которой я читал и сочинял ответ на него в первый день знакомства с Коноваловым, за все время почти не упоминалось.

Коновалов посылал ей деньги на имя некоего Филиппа с просьбой к нему поручиться в полиции за девушку, но ни от Филиппа, ни от девушки никакого ответа не последовало.

И вдруг, однажды вечером, когда мы с Коноваловым готовились сажать хлебы, дверь в пекарню отворилась, и из темноты сырых сеней низкий женский голос, одновременно робкий и задорный, произнес:

— Извините...

— Кого нужно? — спросил я, в то время как Коновалов, опустив к ногам лопату, смущенно дергал себя за бороду.

— Булочник Коновалов здесь работает?

Теперь она стояла на пороге, и свет висячей лампы падал ей прямо на голову — в белом шерстяном платке. Из-под платка смотрело круглое, миловидное, курносое личико с пухлыми щеками и ямочками на них от улыбки пухлых красных губ.

— Здесь! — ответил я ей.

— Здесь, здесь! — вдруг и как-то очень шумно обрадовался Коновалов, бросив лопату и широкими шагами направляясь к госте.

— Сашенька! — глубоко вздохнула она ему навстречу.

Они обнялись, для чего Коновалов низко поклонился к ней.

— Ну что? Как? Давно? Вот так ты! Свободна? Хорошо! Вот видишь? Я говорил!.. Теперь у тебя опять есть дорога! Ходи смело! — торопливо изъяснялся перед ней Коновалов, все еще стоя у порога и не разводя своих рук, обнявших ее шею и талию.

— Максим., ты, брат, воюй один сегодня, а я зай-

мусь вот по дамской части... Где же ты, Капа, остановилась?

— А я прямо сюда, к тебе...

— Сю-юда? Сюда невозможно... здесь хлеб пекут и... никак нельзя! Хозяин у нас строжайший человек. Нужно будет пристроиться на ночь в каком-нибудь месте... в номере, скажем. Айда!

И они ушли. Я остался воевать с хлебами и никак не ожидал Коновалова ранее утра; но, к немалому моему изумлению, часа через три он явился. Мое изумление еще больше увеличилось, когда, взглянув на него в чайной видеть на его лице сияние радости, я увидел, что оно только кисло, скучно и утомлено.

— Что ты? — спросил я, сильно заинтересованный этим не подобающим событию настроением моего друга.

— Ничего... — уныло ответил он и, помолчав, довольно свирепо сплюнул.

— Нет, все-таки?.. — настаивал я.

— Да что тебе? — устало отозвался он, во весь рост растягиваясь на ларе. — Все-таки... все-таки... Все-таки — баба!

Мне стоило большого труда добиться от него объяснения, и наконец он дал мне его такими приблизительно словами:

— Говорю — баба! И когда бы я не был дураком, так ничего бы этого не было. Понял? Вот ты говоришь: и баба человек! Известно, ходит она на одних задних лапах, травы не ест, слова говорит, смеется — значит, не скот. А все-таки нашему брату не компания... Почему? А... не знаю! Чувствую, не подходит, но понимать не могу — почему... Вот она, Капитолина, какую линию гнет: «Хочу, говорит, с тобой жить вроде жены. Желаю, говорит, быть твоей дворняжкой...» Совсем песообразно! «Ну, милая ты девочка, говорю, дуреха ты; ну, рассуди, как со мной жить? Первое дело у меня — запой, во-вторых, нет у меня никакого дому, в-третьих, я есть бродяга и не могу на одном месте жить...» — и прочее такое, очень многое... А она: «Запой — наплевать! Все, говорит, мастеровые мужчины горькие пьяницы, однако жены у них есть; дес, говорит, будет, коли будет жена, и никуда, говорит, ты тогда не побежишь...» Я говорю: «Капа, никак я не могу к этому склониться, потому что я знаю — жизнью такой жить не умею, не научусь». А она: «А я, говорит, в речку прыгну!» А я

ей: «Ду-урра!» А она ругаться, да ведь ка-ак! «Ах ты, говорит, смутьян, бесстыжая рожа, обманщик, длинный черт!..» И почала, и почала... просто так-то ли разъярилась на меня, что я чуть не сбегал. Потом почала плакать. Плачет и пеняет мне: «Зачем ты, говорит, меня из того места вынул, коли я тебе не нужна? Зачем ты, говорит, меня оттуда смапил, и куда, говорит, я теперь денусь? Рыжий ты, говорит, дурак...» Ну, что теперь с ней делать?

— Да ты ее, в самом деле, почему оттуда вытащил? — спросил я.

— Почему? Вот чудак! Чай, жалко! Ведь угрызает человек... и всякому, мимо идущему, его жалко. Но чтобы обзаводиться... и прочее такое, ни-ни! На это я согласиться не могу. Какой я семьянин? Да кабы я мог держаться на этой точке, так я бы уж давно решился. Какие резоны были! Мог бы и с приданым и... все такое. Но ежели это не в моей силе, как я могу творить такое дело? Плачет она... это, конечно... тово, нехорошо... Но ведь как же? Я не могу!

Он даже головой замотал в подтверждение своего тоскливого «не могу», встал с ларя и, обеими руками ероша бороду, начал, низко опустив голову и отплевываясь, шагать по пекарне.

— Максим! — просительно и скопфуженно заговорил он, — пошел бы ты к ней и как-нибудь этак сказал ей, почему и отчего... а? Пойди, брат!

— Что же я ей скажу?

— Всю правду говори!.. Не может, мол, он. Не подходящее это ему... А то скажи вот что... у него, мол, дурная болезнь!

— Да ведь это неправда? — засмеялся я.

— Н-да... неправда... А причина хо-орошая, а? Ах ты, черт те возьми! Вот так каша! А? Ну куда мне жена?

Он с таким недоумением и испугом развел руками при этих словах, что было ясно — ему некуда девать жену! И, несмотря на комизм его изложения этой истории, ее драматическая сторона заставила меня крепко задуматься над судьбою девушки. А он все ходил по пекарне и говорил как бы уже сам с собою:

— И не понравилась теперь она мне, ну просто страх как! Так это и засасывает меня она, так и втягивает куда-то, точно трясина бездонная. Ишь ты, облюбовала себе мужа! Не больно умна, а хитрая девочка.

Это в нем, видимо, начинал говорить инстинкт бродяги, чувство вечного стремления к свободе, на которую было сделано покушение.

— Нет, меня на такого червя не поймает, я рыба крупная! — хвастливо воскликнул он. — Я вот как возьму, да... а что, в самом деле? — И, остановясь среди пекарни, он, улыбаясь, задумался. Я следил за игрой его возбужденной физиономии и старался предугадать, на чем он решил.

— Максим! Айда на Кубань?!

Этого я не ожидал. У меня по отношению к нему имелись некоторые литературно-педагогические намерения: я питал надежду выучить его грамоте и передать ему все то, что сам знал в ту пору. Он дал мне слово все лето не двигаться с места; это облегчало мне мою задачу, и вдруг...

— Ну, это уж ты ерундишь! — несколько смущенно сказал я ему.

— Да что ж мне делать? — воскликнул он.

Я начал говорить ему, что посягательство Капитолины на него совсем уж не так серьезно, как он его себе представляет, и что надо посмотреть и подождать.

И даже, как оказалось, ждать-то было недолго.

Мы беседовали, сидя на полу перед печью спинами к окнам. Время было близко к полночи, и с той поры, как Коновалов пришел, прошло часа полтора-два. Вдруг сзади нас раздался дребезг стекол, и на пол шумно грохнулся довольно увесистый булыжник. Мы оба в испуге вскочили и бросились к окну.

— Не попала! — визгливо кричали в него. — Плохо метила. А уж бы...

— П'дём! — рычал зверский бас. — П'дём, а я его после уважу!

Отчаянный, истерический и пьяный хохот, визгливый, рвавший нервы, летел с улицы в разбитое окно.

— Это она! — тоскливо сказал Коновалов.

Я видел пока только две ноги, свешенные с панели в углубление пред окном. Они висели и странно болтались, ударяя пятками по кирпичной стенке ямы, как бы ища себе опоры.

— Да п'дём! — лопотал бас.

— Пусти! Не тяни меня, дай отвести душу. Прощай, Сашка! Прощай... — следовала довольно нецензурная брань.

Подойдя ближе к окну, я увидел Капитолину. Наклонившись вниз, упираясь руками в панель, она старалась заглянуть внутрь пекарни, и ее растрепанные волосы рассыпались по плечам и груди. Беленький платок был сбит в сторону, грудь лифа разорвана. Капитолина была пьяна и качалась из стороны в сторону, икая, ругаясь, истерично взвизгивая, дрожащая, растрепанная, с красным, пьяным, облитым слезами лицом...

Над ней согнулась высокая фигура мужчины, и он, упираясь одной рукой ей в плечо, а другой в стену дома, все рычал:

— П'дё-ем!..

— Сашка! Погубил ты меня... помни! Будь проклят, рыжий черт! Не видать бы тебе ни часу света божьего. Надеялась я... насмеялся ты, злодей, надо мной... ладно! Сочтемся! Спрятался! Стыдно, харя поганая... Саша... голубчик.

— Я не спрятался...— подойдя к окну и взлезая на ларь, сказал глухо и густо Коновалов.— Я не прячусь... а ты напрасно... Я добра ведь тебе хотел; добро будет — думал, а ты понесла совсем несообразное...

— Сашка! Можешь ты меня убить?

— Зачем ты напилась? Разве ты знаешь, что было бы... завтра!..

— Сашка! Саша! Утопи меня!

— Бу-удет! П'дё-ем!

— Мер-рзавец! Зачем ты притворился хорошим человеком?

— Что за шум, а? Кто такие?

Свисток ночного сторожа вмешался в этот диалог, заглушил его и замер.

— Зачем я в тебя, черт, поверила...— рыдала девушка под окном.

Потом ее ноги вдруг дрогнули, быстро мелькнули вверх и пропали во тьме. Раздался глухой говор, возня...

— Не хочу в полицию! Са-аша! — тоскливо вопила девушка.

По мостовой тяжело затопали ноги.

Свистки, глухое рычание, вопли...

— Са-аша! Ми-илый!

Казалось, кого-то немилосердно истязуют. Все это удалялось от нас, становилось глуше, тише и пропало, как кошмар.

Подавленные этой сценой, разыгравшейся поразительно быстро, мы с Коноваловым смотрели на улицу во тьму и не могли опомниться от плача, рева, ругательств, начальнических окриков, болезненных стонов. Я вспоминал отдельные звуки и с трудом верил, что все это было наяву. Страшно быстро кончилась эта маленькая, но тяжелая драма.

— Все!.. — как-то особенно кротко и просто сказал Коновалов, прислушавшись еще раз к тишине темной ночи, безмолвно и строго смотревшей на него в окно.

— Как она меня!.. — с изумлением продолжал он через несколько секунд, оставаясь в старой позе, на ларе, на коленях и упираясь руками в пологий подоконник. — В полицию попала... пьяная... с каким-то чертом. Скоро как порешила! — Он глубоко вздохнул, слез с ларя, сел на мешок, обнял голову руками, покачался и спросил меня вполголоса:

— Расскажи ты мне, Максим, что же это такое тут теперь вышло?.. Какое мое теперь во всем этом дело?

Я рассказал. Прежде всего пужно понимать то, что хочешь делать, и в начале дела нужно представлять себе его возможный конец. Он все это не понимал, не знал и — кругом во всем виноват. Я был обозлен им — стоны и крики Капитолины, пьяное «п'дө-ем!..» — все это еще стояло у меня в ушах, и я не щадил товарища.

Он слушал меня с наклоненной головой, а когда я кончил, поднял ее, и на лице его я прочитал испуг и изумление.

— Вот так раз! — восклицал он. — Ловко! Ну, и... что же теперь? А? Как же? Что мне с ней делать?

В топе его слов было так много чисто детского по искренности сознания своей вины пред этой девушкой и так много беспомощного недоумения, что мне тут же стало жаль товарища, и я подумал, что, пожалуй, уж очень резко говорил с ним.

— И зачем я ее тронул с того места! — каялся Коновалов. — Эхма! ведь как она теперь на меня... Я пойду туда, в полицию, и похлопочу... Увижу ее... и прочее такое. Скажу ей... что-нибудь. Идти?

Я заметил, что едва ли будет какой-либо толк от его свидания. Что он ей скажет? К тому же она пьяная и, наверное, спит уже.

Но он укрепился в своей мысли.

— Пойду, погоди. Все-таки я сй добра желаю... как хошь. А там что за люди для нее? Пойду. Ты тут тово... я — скоро!

И, надев на голову картуз, он даже без опорок, в которых обыкновенно щеголял, быстро вышел из пекарни.

Я отработался и лег спать, а когда поутру, проснувшись, по привычке взглянул на место, где спал Коновалов, его еще не было.

Он явился только к вечеру — хмурый, взъерошенный, с резкими складками на лбу и с каким-то туманом в голубых глазах. Не глядя на меня, подошел к ларям, посмотрел, что мной сделано, и молча лег на пол.

— Что же, ты видел ее? — спросил я.

— Затем и ходил.

— Ну так что же?

— Ничего.

Было ясно — он не хотел говорить. Полагая, что такое настроение не продлится у него долго, я не стал надоедать ему вопросами. Он весь день молчал, только по необходимости бросая мне краткие слова, относящиеся к работе, расхаживая по пекарне с понуренной головой и все с теми же туманными глазами, с какими пришел. В нем точно погасло что-то; он работал медленно и вяло, связанный своими думами. Ночью, когда мы уже посадили последние хлеба в печь и, из боязни передержать их, не ложились спать, он попросил меня:

— Ну-ка, почитай про Стеньку что-нибудь.

Так как описание пыток и казни всего более возбуждало его, я стал ему читать именно это место. Он слушал, неподвижно растянувшись на полу кверху грудью, и, не мигая глазами, смотрел в закопченные своды потолка.

— Вот и порешили с человеком, — медленно заговорил Коновалов. — А все-таки в ту пору можно было жить. Свободно. Было куда податься. Теперь вот тишина и смиренность... ежели так со стороны посмотреть, совсем даже смирная жизнь теперь стала. Книжки, грамота... А все-таки человек без защиты живет и пикакого призору за ним нет. Грешить ему запрещено, но не грешить невозможно... Потому на улицах-то порядок, а в душе — путаница. И никто никого не может понимать.

— Ну так как же ты с Капитолиной-то? — спросил я.

— А? — встрепенулся он. — С Капкой? Шабаш... — Он решительно махнул рукой.

— Кончил, значит?

— Я? Нет... она сама кончила.

— Как?

— Очень просто. Стала на свою точку и больше никаких... Все по-старому. Только раньше она не пила, а теперь пить стала... Ты вынь хлеб, а я буду спать.

В пекарне стало тихо. Коптила лампа, изредка потрескивала заслонка печи, и корки испеченного хлеба на полках тоже трещали. На улице, против наших окон, разговаривали ночные сторожа. И еще какой-то странный звук порой доходил до слуха с улицы — не то где-то скрипела вывеска, не то кто-то стонал.

Я выпул хлеба, лег спать, но не спалось, и, прислушиваясь ко всем звукам ночи, я лежал, полузакрыв глаза. Вдруг вижу, Коновалов бесшумно поднимается с полу, идет к полке, берет с нее книгу Костомарова, раскрывает ее и подносит к глазам. Мне ясно видно его задумчивое лицо, я слежу, как он водит пальцем по строкам, качает головою, перевортыивает страницу, снова пристально смотрит на нее, а потом переводит глаза на меня. Что-то странное, напряженное и вопрошающее отражает от себя его задумчивое, осунувшееся лицо, и долго оно остается обращенным ко мне, новое для меня.

Я не мог сдержать своего любопытства и спросил его, что он делает.

— А я думал, ты спишь... — смутился он; потом подошел ко мне, держа книгу в руке, сел рядом и, запинаясь, заговорил: — Я, видишь ли, хочу тебя спросить вот про что... Нет ли книги какой-нибудь насчет порядков жизни? Поучения, как жить? Поступки бы нужно мне разъяснить, которые вредны, которые — ничего себе... Я, видишь ты, поступками смущаюсь своими... Который в начале мне кажется хорошим, в конце выходит плохим. Вот хоть бы насчет Капки. — Он перевел дух и продолжал просительно: — Так вот поищи-ка, нет ли книги насчет поступков? И прочитай мне.

Несколько минут молчания...

— Максим!..

— А?

— Как меня Капитолина-то раскрашивала!

— Да ладно уж... Будет тебе...

— Конечно, теперь уж ничего... А что, скажи мне... вправе она?..

Это был щекотливый вопрос, но, подумав, я отвечал на него утвердительно.

— Вот и я тоже так полагаю... Вправе...— уныло протянул Коновалов и замолчал.

Он долго возился на своей рогоже, постланной прямо на пол, несколько раз вставал, курил, садился под окно, снова ложился.

Потом я заснул, а когда проснулся, его уже не было в пекарне, и он явился только к вечеру. Казалось, что весь он был покрыт какой-то пылью, и в его отуманенных глазах застыло что-то неподвижное. Кинув картуз на полку, он вздохнул и сел рядом со мной.

— Ты где был?

— Ходил Капку посмотреть.

— Ну и что?

— Шабаш, брат! Ведь я те говорил...

— Ничего, видно, не поделаешь с этим народом...— попробовал было я рассеять его настроение и заговорил о могучей силе привычки и о всем прочем, что в этом случае было уместно, Коновалов упорно молчал, глядя в пол.

— Нет, это что-о! Не в том сила! А просто я есть заразный человек... Не доля мне жить на свете... Ядовитый дух от меня исходит. Как я близко к человеку подойду, так сейчас он от меня и заражается. И для всякого я могу с собой принести только горе... Ведь ежели подумать — кому я всей моей жизнью удовольствие принес? Никому! А тоже, со многими людьми имел дело... Тлеющий я человек...

— Это чепуха!..

— Нет, верно!.. — убежденно кивнул он головой.

Я разубеждал его, но в моих речах он еще более черпал уверенности в своей непригодности к жизни...

Он быстро и резко изменился. Стал задумчив, вял, утратил интерес к книге, работал уже не с прежней горячностью, молчаливо, необщительно.

В свободное время ложился на пол и упорно смотрел в своды потолка. Лицо у него осунулось, глаза утратили свой ясный детский блеск.

— Саша, ты что? — спросил я его.

— Запой начинается, — объяснил он. — Скоро я начну водку глушить... Внутри у меня жжет... вроде изжо-

ги, знаешь... Пришло время... Кабы не эта самая история, я бы, поди-ка, еще протянул сколько-нибудь. Ну — ест меня это дело... Как так? Желал я человеку оказать добро — и вдруг... совсем песообразно! Да, брат, очень нужен для жизни порядок поступков... Неужто уж так и нельзя выдумать этакий закон, чтобы все люди действовали как один и друг друга понимать могли? Ведь совсем нельзя жить на таком расстоянии один от другого! Неужто умные люди не понимают, что нужно на земле устроить порядок и в ясность людей привести?.. Э-эхма!

Поглощенный думами о необходимости в жизни порядка, он не слушал моих речей. Я заметил даже, что он как бы стал чуждаться меня. Однажды, выслушав в сто первый раз мой проект реорганизации жизни, он рассердился на меня.

— Ну тебя... Слыхал я это... Тут не в жизни дело, а в человеке. Первое дело — человек... понял? Ну, и больше никаких... Этак-то, по-твоему, выходит, что, пока там все это переделается, человек все-таки должен оставаться как теперь. Нет, ты его перестрой сначала, покажи ему ходы... Чтобы ему было и светло и не тесно на земле, — вот чего добивайся для человека. Научи его находить свою тропу...

Я возражал, он горячился или делался угрюмым и скучно восклицал:

— Э, отстань!

Как-то раз он ушел с вечера и не пришел ни ночью к работе, ни на другой день. Вместо него явился хозяин с озабоченным лицом и объявил:

— Закутил Лексаха-то у нас. В «Стенке» сидит. Надо нового пекаря искать...

— А может, оправится?!

— Ну, как же, жди... Знаю я его...

Я пошел в «Стенку» — кабак, хитроумно устроенный в каменном заборе. Он отличался тем, что в нем не было окон и свет падал в него сквозь отверстие в потолке. В сущности, это была квадратная яма, вырытая в земле и покрытая сверху тесом. В ней пахло землей, махоркой и перегорелой водкой, ее наполняли завсегда-тай — темные люди. Они целыми днями торчали тут, ожидая закутившего мастерового для того, чтоб допага опить его.

Коновалов сидел за большим столом, посредине кабака, в кругу почтительно и льстиво слушавших его шестерых господ в фантастически рваных костюмах, с физиономиями героев из рассказов Гофмана.

Пили пиво и водку, закусывали чем-то похожим на сухие комья глины...

— Пейте, братцы, пейте, кто сколько может. У меня есть и деньги и одежда... Дня на три хватит всего. Все пропью и... шабаш! Больше не хочу работать и жить здесь не хочу.

— Город сквернейший, — сказал некто, похожий на Джона Фальстафа.

— Работа? — вопросительно посмотрел в потолок другой и с изумлением спросил: — Да разве человек для этого на свет родился?

И все они сразу загалдели, доказывая Коновалову его право все пропить и даже возводя это право на степень неременной обязанности — именно с ними пропить.

— А, Максим... и котомка с ним! — скаламбурил Коновалов, увидав меня. — Ну-ка, книжник и фарисей, — тяпни! Я, брат, окончательно прыгнул с рельс. Шабаш! Пропиться хочу до волос... Когда одни волосы на теле останутся — кончу. Вали и ты, а?

Он еще не был пьян, только голубые глаза его сверкали возбуждением и роскошная борода, падавшая на грудь ему шелковым веером, то и дело шевелилась — его нижняя челюсть дрожала нервной дрожью. Ворот рубахи был расстегнут, на белом лбу блестели мелкие капельки пота, и рука, протянутая ко мне со стаканом пива, тряслась.

— Брось, Саша, уйдем отсюда, — сказал я, положив ему руку на плечо.

— Бросить?.. — Он засмеялся. — Кабы ты лет на десять раньше пришел ко мне да сказал это, — может, я и бросил бы. А теперь я уж лучше не брошу... Чего мне делать? Ведь я чувствую, все чувствую, всякое движение жизни... но понимать ничего не могу и пути моего не знаю... Чувствую — и пью, потому что больше мне делать нечего... Выпей!

Его компания смотрела на меня с явным неудовольствием, и все двенадцать глаз измеряли мою фигуру далеко не миролюбиво.

Бедняги боялись, что я уведу Коновалова — угощение, которое они ждали, быть может, целую неделю.

— Братцы! Это мой товарищ, — ученый, черт его возьми! Максим, можешь ты здесь прочитать про Стеньку?.. Ах, братцы, какие книги есть на свете! Про Пилу... Максим, а?.. Братцы, не книга это, а кровь и слезы. А... ведь Пила-то — это я? Максим!.. И Сысойка — я... Ей-богу! Вот и объяснилось!

Он широко открытыми глазами, с испугом в них, смотрел на меня, и нижняя его губа странно дрожала. Компания не особенно охотно очистила мне место за столом. Я сел рядом с Коноваловым, как раз в момент, когда он хватил стакан пива пополам с водкой.

Ему, очевидно, хотелось как можно скорее оглушить себя этой смесью. Выпив, он взял с тарелки кусок того, что казалось глиной, а было вареным мясом, посмотрел на него и бросил через плечо в стену кабака.

Компания вполголоса урчала, как стая голодных собак.

— Потерянный я человек... Зачем меня мать на свет родила? Ничего не известно... Темь!.. Теснота!.. Прощай, Максим, коли ты не хочешь пить со мной. В пекарню я не пойду. Деньги у меня есть за хозяином — получи и дай мне, я их пропью... Нет! Возьми себе на книги... Берешь? Не хочешь? Не надо... А то возьми? Свинья ты, коли так... Уйди от меня! У-ходи!

Он пьянел, глаза у него зверски блеснули.

Компания была совершенно готова вытурить меня в шею из среды своей, и я, не желая дожидаться этого, ушел.

Часа через три я снова был в «Стенке». Компания Коновалова увеличилась еще на два человека. Все они были пьяны, он — меньше всех. Он пел, облокотясь на стол и глядя на небо через отверстие в потолке. Пьяницы в разнообразных позах слушали его и некоторые икали.

Пел Коновалов баритоном, на высоких нотах переходившим в фальцет, как у всех певцов-мастеровых. Подперев щеку рукой, он с чувством выводил заунывные рулады, и лицо его было бледно от волнения, глаза полужакрыты, горло выгнуто вперед. На него смотрели восемь пьяных, бессмысленных и красных физиономий, и только порой были слышны бормотанье и икота. Голос Коновалова вибрировал, плакал и стонал, — было до

слез жалко видеть этого славного парня поющим свою грустную песню.

Тяжелый запах, потные, пьяные рожки, две коптящие керосиновые лампы, черные от грязи и копоты доски стен кабака, его земляной пол и сумрак, наполнявший эту яму,— все было мрачно и болезненно. Казалось, что это пируют заживо погребенные в склепе и один из них поет в последний раз перед смертью, прощаясь с небом. Безднадежная грусть, спокойное отчаяние, безысходная тоска звучали в песне моего товарища.

— Максим здесь? Хочешь ко мне эсаулом? — прервав свою песню, заговорил он, протягивая мне руку.— Я, брат, совсем готов... Набрал шайку себе... вот она... потом еще будут люди... Иаидем! Это п-ничего! Пилу и Сысойку призовем... И будем их каждый день кашей кормить и говяжьей... хорошо? Идешь? Возьми с собой книги... будешь читать про Стеньку и про других... Друг! Ах, и тошно мне, тошно мне... то-ошно-о!..

Он изо всей силы грохнул кулаком по столу. Загремели стаканы и бутылки, и компания, очнувшись, сразу же наполнила кабак страшным шумом.

— Пей, ребята! — крикнул Коновалов.— Пей! Отводи душу — дуй вовсю!

Я ушел от них, постоял у двери на улице, послушал, как Коновалов ораторствовал заплетающимся языком, и, когда он снова начал петь, отправился в пекарню, и вслед мне долго стопала и плакала в ночной тишине неуклюжая пьяная песня.

Через два дня Коновалов пропал куда-то из города.

Нужно родиться в культурном обществе для того, чтобы найти в себе терпение всю жизнь жить среди него и не пожелать уйти куда-нибудь из сферы всех этих тяжелых условностей, узаконенных обычаем маленьких ядовитых лжей, из сферы болезненных самолюбий, идейного сектантства, всяческой неискренности,— одним словом, из всей этой охлаждающей чувство, развращающей ум суеты сует. Я родился и воспитывался вне этого общества и по сей приятной для меня причине не могу принимать его культуру большими дозами без того, чтобы, спустя некоторое время, у меня не явилась настоятельная необходимость выйти из ее рамок и освежиться несколько от чрезмерной сложности и болезненной утонченности этого быта.

В деревне почти так же невыносимо тошно и грустно, как и среди интеллигенции. Всего лучше отправиться в трущобы городов, где хотя все и грязно, но все так просто и искренне, или идти гулять по полям и дорогам родины, что весьма любопытно, очень освежает и не требует никаких средств, кроме хороших, выносливых ног.

Лет пять тому назад я предпринял именно такую прогулку и, расхаживая по святой Руси, попал в Феодосию. В то время там начинали строить мол, и, в чаянии заработать немного денег на дорогу, я отправился на место сооружения.

Желая сначала посмотреть на работу как на картину, я взошел на гору и сел там, глядя вниз на бескрайнее, могучее море и крошечных людей, строивших ему ковы.

Передо мной развернулась широкая картина труда: весь каменистый берег перед бухтой был изрыт, всюду ямы, кучи камня и дерева, тачки, бревна, полосы железа, копры для битья свай и еще какие-то приспособления из бревен, и среди всего этого сновали люди. Они, разорвав гору динамитом, дробили ее кирками, расчищая площадь для линии железной дороги, они месили в громадных творилах цемент и, делая из него саженные кубические камни, опускали их в море, строя оплот против титанической силы его неугомонных волн. Они казались маленькими, как черви, на фоне темно-коричневой горы, изуродованной их руками, и, как черви, суетливо копошились среди груд щебня и кусков дерева в облаках каменной пыли, в тридцатиградусном зное южного дня. Хаос вокруг них, раскаленное небо над ними придавали их суете такой вид, как будто бы они вкапывались в гору, стремясь уйти в педра ее от солнечного зноя и окружающей их унылой картины разрушения.

В душном воздухе стоял ропот и гул, раздавались удары кирок о камень, заунывно пели колеса тачек, глухо падала чугунная баба на дерево свай, плакала «дубинушка», стучали топоры, обтесывая бревна, и на все голоса кричали темные и серые, хлопотливые фигурки людей...

В одном месте кучка их, громко ухая, возилась с большим осколком горы, стараясь сдвинуть его с места, в другом подымали тяжелое бревно и, надрываясь, кричали:

— Бе-е-ри-и!

И гора, изрытая трещинами, глухо повторяла: и-и-и!

По ломаной линии досок, набросанных тут и там, медленно двигалась вереница людей, согнувшись над тачками, нагруженными камнем, и навстречу им шла другая с порожними тачками, шла медленно, растягивая одну минутку отдыха на две... У копра стояла густая, пестрая толпа народа, и в ней кто-то протяжно тенором выпевал:

И-эх-ма, бра-атцы, дюже жарко!

И-эх! Никому-то нас не жалко!

О-ой, ду-убинушка,

У-ухнем!

Мощно гудела толпа, натягивая тросы, и кусок чугуна, взлетая вверх по дудке копра, падал оттуда, раздавался тупой охающий звук, и копер вздрагивал.

На всех точках площади между горой и морем сновали маленькие серые люди, насыщая воздух своим криком, пылью, терпким запахом человека. Среди них расхаживали распорядители в белых кителях с металлическими пуговицами, сверкавшими на солнце, как чьи-то желтые холодные глаза.

Море спокойно раскинулось до туманного горизонта и тихо плещет своими прозрачными волнами на берег, полный движения. Сияя в блеске солнца, оно точно улыбалось добродушной улыбкой Гулливера, сознающего, что, если он захочет, одно движение — и работа лилипутов исчезнет.

Оно лежало, ослепляя глаза своим блеском, — большое, сильное, доброе, его могучее дыхание веяло на берег, освежая истомленных людей, трудящихся над тем, чтобы стеснить свободу его волн, которые теперь так кротко и звучно ласкают изуродованный берег. Оно как бы жалело их: века его существования научили его понимать, что не те злоумышляют против него, которые строят; оно давно уже знает, что это только рабы, их роль бороться со стихиями лицом к лицу, а в этой борьбе готова и месть стихии им. Они всё только строят, вечно трудятся, их пот и кровь — цемент всех сооружений на земле; но они ничего не получают за это, отдавая все свои силы вечному стремлению соорудить, — стремлению, которое создает на земле чудеса, но все-таки не дает людям крова и слишком мало дает им хле-

ба. Они — тоже стихия, и вот почему море не гневно, а ласково смотрит на их труд, от которого им нет пользы. Эти серые маленькие черви, так источившие гору, — то же самое, что и его капли, которые первыми идут на неприступные и холодные скалы берегов в вечном стремлении моря расширить свои пределы и первыми гибнут, разбиваясь о них. В массе эти капли тоже родственны ему, тогда они совсем как море, — так же мощны и так же склонны к разрушению, чуть только веяние бури пронесется над ними. Морю издревле ведомы и рабы, строившие пирамиды в пустыне, и рабы Ксеркса, смешного человека, который думал наказать море тремястами ударов за то, что оно поломало его игрушечные мосты. Рабы всегда были одинаковы, они всегда повиновались, их всегда плохо кормили, и они вечно исполняли великое и чудесное, иногда обоготворяя тех, кто заставлял их работать, чаще проклиная их, изредка возмущаясь против своих владык...

Тихо взбегают волны на берег, усеянный толпой людей, создающих каменную преграду их вечному движению, взбегают и поют свою звучную, ласковую песню о прошлом, о всем, что в течение веков видели они на берегах этой земли...

...Среди работавших были какие-то странные, сухие, бронзовые фигуры в красных чалмах, в фесках, в синих коротких куртках и в шароварах, узких у голени, но — с широкой мотней. Это, как я узнал, анатолийские турки. Их гортанный говор мешался с протяжным, растянутым говорком вятичей, с крепкой, быстрой фразой волгарей, с мягкой речью хохлов.

В России голодали, голод согнал сюда представителей чуть ли не всех охваченных несчастьем губерний. Они делились на маленькие группы, стараясь держаться земляк к земляку, и только космополиты-босяки сразу выделялись — и своим независимым видом, и костюмами, и особым складом речи — из людей, еще находившихся во власти земли, лишь временно порвавших с нею связь, оторванных от нее голодом и не забывших о ней. Они были во всех группах: и среди вятичей, и среди хохлов, всюду чувствуя себя на своем месте, но большинство их собралось у копра, как у работы — сравнительно с работой на тачках и с киркой — более легкой.

Когда я подошел к ним, они стояли, опустив руки с веревкой, дожидаясь, когда нарядчик исправит что-то

в блоке копра, должно быть «заедавшем» веревку. Он копался там вверху деревянной башни, то и дело крича оттуда:

— Дерни!

Веревку лениво дергали.

— Сто-ой!.. Ище дерни. Сто-ой! П'шел!..

Запевала — давно не бритый малый, с рябым лицом и солдатской выправкой — повел плечами, скосил в сторону глаза, откашлялся и завел:

— Ба-аба сваю в землю гонит...

Следующий стих не выдержал бы даже и самой снисходительной цензуры и вызвал единодушный взрыв хохота, явившись, очевидно, импровизацией, только что созданной запевалой, который, под смех товарищей, крутил себе усы с видом артиста, привыкшего к такому успеху у своей публики.

— Поше-ол! — пейстово заорал сверху копра нарядчик. — Заржали!..

— Митрич, — лопнешь!.. — предупредил его один из рабочих.

Голос был мне знаком, и я где-то видел эту высокую, широкоплечую фигуру с овальным лицом и большими голубыми глазами. Это — Коновалов? Но у Коновалова не было шрама от правого виска к переносью, рассекавшего высокий лоб этого парня; волосы Коновалова были светлее и не вились такими мелкими кудрями, как у этого; у Коновалова была красивая широкая борода, этот же брился и носил густые усы концами книзу, как хохол. И тем не менее в нем было что-то хорошо знакомое мне. Я решил с ним заговорить о том, к кому тут нужно обратиться, чтоб «встать на работу», и стал дожидаться, когда перестанут бить сваю.

— О-о-ух! о-о-ох! — могуче вздыхала толпа, приседая, натягивая веревки и снова быстро выпрямляясь, как бы готовая оторваться от земли и взлететь на воздух. Копер скрипел и дрожал, пад головами толпы поднимались обнаженные, загорелые и волосатые руки, вытягиваясь вместе с веревкой; их мускулы вздувались шишками, но сорокапудовый кусок чугуна взлетал вверх все на меньшее расстояние, и его удар о дерево звучал все слабее. Глядя на эту работу, можно было подумать, что это молится толпа идолопоклонников, в отчаянии и экстазе вздымая руки к своему молчаливому богу и преклоняясь пред ним. Облитые потом, грязные

и напряженные лица с растрепанными волосами, приставшими к мокрым лбам, коричневые шеи, дрожащие от напряжения плечи — все эти тела, едва прикрытые разноцветными рваными рубахами и портами, насыщали воздух вокруг себя горячими испарениями и, слившись в одну тяжелую массу мускулов, неуклюже возились во влажной атмосфере, пропитанной зноем юга и густым запахом пота.

— Шабаш! — крикнул кто-то злым и надорванным голосом.

Руки рабочих выпустили веревки, и они слабо повисли вдоль копра, а рабочие грузно опустились тут же на землю, отирая пот, тяжело вздыхая, поводя спинами, щупая плечи и наполняя воздух глухим ропотом, похожим на рычание большого раздраженного зверя.

— Земляк! — обратился я к облюбованному малому.

Он лепиво обернулся ко мне, скользнул по моему лицу своими глазами и сощурил их, пристально всматриваясь в меня.

— Коновалов!

— Постой... — он запрокинул рукой мою голову назад, точно собираясь схватить меня за горло, и вдруг весь вспыхнул радостной и доброй улыбкой.

— Максим! Ах ты... ан-пафема! Дружок... а? И ты сорвался со стези-то своей? В босые приписался? Ну вот и хорошо! Отлично! Давно ты? Откуда ты идешь? Мы теперь с тобою всю землю ошагаем! Какая там жизнь... сзади-то? Тоска одна, капитель; не живешь, а гниешь! А я, брат, с той самой поры гуляю по белу свету. В каких местах бывал! Какими воздухами дышал... Нет, как ты обрядился ловко... не узнать: по одеже — солдат, по роже — студент. Ну что, хорошо так жить, с места на место? А ведь Стеньку-то я помню... И Тараса, и Пилу... все!..

Он толкал меня в бок кулаком, хлопал своей широкой ладонью по плечу. Я не мог вставить ни слова в залп его вопросов и только улыбался, глядя в его доброе лицо, сиявшее удовольствием встречи. Я был тоже рад видеть его, очень рад; встреча с ним напомнила мне начало моей жизни, которое, несомненно, было лучше ее продолжения.

Наконец мне удалось-таки спросить старого приятеля, откуда у него шрам на лбу и кудри на голове.

— А это, видишь ты... история одна была. Думал было я пробраться втроем с товарищами через румынскую границу, посмотреть хотели, как там, в Румынии. Ну, вот и отправились из Кагула — местечко этакое есть в Бессарабии, около самой граицы. Ночью, конечно, потихоньку идем себе. Вдруг: стой! Кордон таможенный, прямо на него палезли. Ну—бежать! Тут меня один солдатик и съездил по башке. Не больно важпо ударил, а все-таки с месяц я провалялся в госпитале. И какая ведь история! Солдат-то земляком оказался! Наш, муромский!.. Его тоже скоро в госпиталь положили — контрабандист его испортил, пожаром в живот ткнул. Очухались мы и разобрались в делах-то. Солдат спрашивает у меня: «Это, говорит, я тебя полоснул?» — «Надо быть, ты, коли признаешь». — «Должно, я, говорит; ты, говорит, не сердись — служба такая. Мы думали, вы с контрабандой идете. Вот, говорит, и меня уважили — брюхо подпороли. Ничего не поделаешь: жизнь — игра серьезная». Ну, мы и подружились с ним. Хороший солдатик — Яшка Мазин... А кудри? Кудри? Кудри, брат ты мой, это после тифа. Тиф у меня был. Посадили меня в Кишиневе в тюрьму, желая судить за самовольное прохождение границы, а там у меня и разыгрался тиф... Валялся я с ним, валялся, насилу встал. Надо быть, даже и не встал бы, да сиделка очень уж за меня хлопотала. Я, брат, просто диву дался — возится со мной, как с детей, а на что я ей пужен? «Марья, говорю, Петровна, бросьте вы эту музыку; чай, мне совестно!» А она знай себе посмеивается. Добрая девица... Душеспасительное мне читала иногда. Ну, а я говорю — нет ли, мол, чего этакого? Припесла книгу насчет англичанина-матроса, который спасся от кораблекрушения на безлюдный остров и устроил на нем себе жизнь. Интересно, страх как! Очень мне понравилась книга; так бы туда к нему и поехал. Понимаешь, какая жизнь? Остров, море, небо — ты один себе живешь, и все у тебя есть, и ты свободен! Там еще дикий был. Ну, я бы дикого утопил — на кой черт он мне нужен! Мне и одному не скучно. Ты читал такую книгу?

— Ну, а как же ты вышел из тюрьмы?

— А — выпустили. Посудили, оправдали и выпустили. Очень просто... Вот что: я сегодня больше не работаю, ну ее к лешему! Ладно, навихлял себе руки и будет. Денег у меня есть рубля три да за сегодняшние

полдня сорок копеек получу. Вон сколько капитала! Значит, пойдём со мной к нам... мы не в бараке, а тут поблизости, в горе... дыра там есть такая, очень удобная для человеческого жительствова. Вдвоем мы квартируем в ней, да товарищ болеет — лихорадка его скрючила... Ну, так ты посиди тут, а я к подрядчику... я скоро!..

Он быстро встал и пошел как раз в то время, когда сваебойцы брались за веревку, начиная работу. Я остался сидеть на камне, поглядывая на шумную суету, царившую вокруг меня, и на спокойное синевато-зеленое море.

Высокая фигура Коновалова, быстро шмыгая между людей, груд камня, дерева и тачек, исчезала вдали. Он шел, размахивая руками, одетый в синюю кретоновую блузу, которая была ему коротка и узка, в холщовые порты и в тяжелые опорки. Шапка русских кудрей колыхалась на его большой голове. Иногда он оборачивался назад и делал мне руками какие-то знаки. Весь он был какой-то новый, оживленный, спокойно-уверенный и сильный. Всюду вокруг него работали, трещало дерево, раскалывался камень, уныло визжали тачки, вздымались облака пыли, что-то с грохотом падало, и люди кричали, ругались, ухали и пели, точно стоная. Среди всей этой путаницы звуков и движений красивая фигура моего приятеля, удалявшегося куда-то твердыми шагами, очень резко выделялась, являясь как бы намеком на что-то, объясняющее Коновалова.

Часа через два после встречи мы с ним лежали в «дыре, очень удобной для человеческого жительствова». На самом деле «дыра» была весьма удобна — в горе когда-то давно брали камень и вырубили большую четырехугольную нишу, в которой можно было вполне свободно поместиться четверым. Но она была низка, и над входом в нее висела глыба камня, изображая собой как бы навес, так что для того, чтобы попасть в дыру, следовало лечь на землю перед ней и потом засовывать себя в нее. Глубина ее была аршина три, но влезать в нее с головой не представлялось надобности, да и было рискованно, ибо эта глыба над входом могла обвалиться и совсем похоронить нас там. Мы не хотели этого и устроились так: поги и туловища сунули в дыру, где было очень прохладно, а головы оставили на солнце, в отверстии дыры, так что если бы глыба камня над нами

захотела упасть, то она только раздавила бы нам черепа.

Больной босяк весь выбрался на солнце и лег около нас шагах в двух, так что мы слышали, как стучали его зубы в пароксизме лихорадки. Это был сухой и длинный хохол: «з Пілтавы», — задумчиво сказал он мне.

Он катался по земле, стараясь плотнее закутаться в серый балахон, сшитый из одних дыр, и очень образно ругался, видя, что все его усилия тщетны, ругался и все-таки продолжал кутаться. У него были малепькие черные глаза, постоянно прищуренные, точно он всегда что-то пристально рассматривал.

Солнце невыносимо пекло нам затылки, Коновалов устроил из моей солдатской шинели нечто вроде ширм, воткнув в землю палки и распялив на них шинель. Издали долетал глухой шум работ на бухте, но ее мы не видели: справа от нас лежал на берегу город тяжелыми глыбами белых домов, слева — море, пред нами — оно же, уходившее в неизмеримую даль, где в мягких полутонах смешались в фантастическое марево какие-то дивные и нежные, невиданные краски, ласкающие глаз и душу неуволнимой красотой своих оттенков...

Коновалов смотрел туда, блаженно улыбался и говорил мне:

— Сядет солнце, мы запалим костер, вскипятим чаю, есть у нас хлеб, есть мясо. Хочешь арбуза?

Он выкатил ногой из угла ямы арбуз, достал из кармана нож и, разрезая арбуз, говорил:

— Каждый раз, как я бываю у моря, я все думаю — чего люди мало селятся около него? Были бы они от этого лучше, потому что — ласковое такое... хорошие думы от него в душе у человека. А ну, расскажи, как ты сам жил в эти годы?

Я стал рассказывать ему. Море вдаль уже покрылось багрецом и золотом, навстречу солнцу поднимались розовато-дымчатые облака мягких очертаний. Казалось, что со дна моря встают горы с белыми вершинами, пышно убранными снегом, розовыми от лучей заката.

— Совсем напрасно ты, Максим, в городах трешься, — убедительно сказал Коновалов, выслушав мою эпопею. — И что тебя к ним тянет? Тухлая там жизнь. Ни воздуха, ни простору, ничего, что человеку надо. Люди? Люди везде есть... Книжки? Ну, будет уж тебе книжки читать! Не для этого, поди-ка, ты родился... Да и книжки —

чепуха. Ну, купи ее, положи в котомку и иди. Хочешь со мной идти в Ташкент? В Самарканд или еще куда?.. А потом на Амур хватим... идет? Я, брат, решил ходить по земле в разные стороны — это всего лучше. Идешь и все видишь повое... И ни о чем не думается... Дует тебе ветерок навстречу и выгоняет из души разную пыль. Легко и свободно... Никакого ни от кого стеснения: захотелось есть — пристал, поработал чего-нибудь на полтину; нет работы — попроси хлеба, дадут. Так — хоть земли много увидишь... Красоты всякой. Айда?

Солнце село. Облака над морем потемнели, море тоже стало темным, повеяло прохладой. Кое-где уж вспыхивали звезды, гул работы в бухте прекратился, лишь порой оттуда тихие, как вздохи, доносились возгласы людей. И когда на нас дул ветер, он приносил с собой меланхолический звук шороха волн о берег.

Тьма ночная быстро сгущалась, и фигура хохла, за пять минут перед тем имевшая вполне определенные очертания, теперь уже представляла собою неуклюжий ком...

— Костер бы... — сказал он, покашливая.

— Можно...

Коновалов откуда-то извлек кучку щеп, подпалил их спичкой, и тонкие язычки огня начали ласково лизать желтое смолистое дерево. Струйки дыма вились в ночном воздухе, полном влаги и свежести моря. А вокруг становилось все тише: жизнь точно отодвигалась куда-то от нас, звуки ее таяли и гасли во тьме. Облака рассеялись, на темно-синем небе ярко засверкали звезды, на бархатной поверхности моря тоже мелькали огоньки рыбачьих лодок и отраженных звезд. Костер перед нами расцвел, как большой красно-желтый цветок... Коновалов сунул в него чайник и, обняв колени, задумчиво стал смотреть в огонь. Хохол, как громадная ящерица, подполз к нему.

— Настроили люди городов, домов, собрались там в кучи, пакостят землю, задыхаются, теснят друг друга... Хорошая жизнь! Нет, вот она, жизнь, вот как мы...

— Ого, — потрянул головой хохол, — коли б к ней еще нам на зиму кожухи добыть, а то теплую хату, то и совсем была бы господская жизнь... — Он прищурил один глаз и, усмехнувшись, посмотрел на Коновалова.

— Н-да, — смутился тот, — зима — треклятое время. Для зимы города действительно пужны... тут уж ничего

не поделаешь... Но большие города все-таки ни к чему... Зачем народ сбивать в такие кучи, когда и двое-трое ужиться между собой не могут?.. Я — вот про что! Оно, конечно, ежели подумать, так ни в городе, ни в степи, нигде человеку места нет. Но лучше про такие дела не думать... ничего не выдумаешь, а душу надорвешь...

Я думал, что Коновалов изменился от бродячей жизни, что наросты тоски, которые были на его сердце в первое время нашего знакомства, слетели с него, как шелуха, от вольного воздуха, которым он дышал в эти годы; но топ его последней фразы восстановил предомной приятеля все тем же ищущим своей «точки» человеком, каким я его знал. Все та же ржавчина недоумения пред жизнью и яд дум о ней разъедали могучую фигуру, рожденную, к ее несчастью, с чутким сердцем. Таких «задумавшихся» людей много в русской жизни, и все они более несчастны, чем кто-либо, потому что тяжесть их дум увеличена слепотой их ума. Я с сожалением посмотрел на приятеля, а он, как бы подтверждая мою мысль, тоскливо воскликнул:

— Вспомнил я, Максим, нашу жизнь и все там... что было. Сколько после того исходил я земли, сколько всякой всячины видел... Нет для меня на земле ничего удобного! Не нашел я себе места!

— А зачем родился с такой шеей, на которую ни одно ярмо не подходит? — равнодушно спросил хохол, вынимая из огня вскипевший чайник.

— Нет, скажи ты мне... — спрашивал Коновалов, — почему я не могу быть покоен? Почему люди живут ничего себе, занимаются своим делом, имеют жен, детей и все прочее?.. И всегда у них есть охота делать то, другое. А я — не могу. Тошно. Почему мне тошно?

— Вот скулит человек, — удивился хохол. — Да разве ж оттого, что ты поскулишь, тебе полегчает?

— Верно... — грустно согласился Коновалов.

— Я всегда говорю немного, да знаю, как сказать, — с чувством собственного достоинства произнес стоик, не уставая бороться с своей лихорадкой.

Он закашлялся, завозился и стал ожесточенно плевать в костер. Вокруг нас все было глухо, завешено густой пеленой тьмы. Небо над нами тоже было темно, луны еще не было. Море скорее чувствовалось, чем было видимо нам, — так густа была тьма впереди нас.

Казалось, на землю спустился черный туман. Костер гас.

— А поляжемте спать,— предложил хохол.

Мы забрались в «дыру» и легли, высунув из нее головы на воздух. Молчали. Коповалов как лег, так и остался неподвижен, точно окаменел. Хохол неустанно возился и все стучал зубами. Я долго смотрел, как тле-ли угли костра: сначала яркий и большой, уголь понемногу становился меньше, покрывался пеплом и исчезал под ним. И скоро от костра не осталось ничего, кроме теплого запаха. Я смотрел и думал:

«Так и все мы... Хоть бы разгореться ярче!»

...Через три дня я простился с Коповаловым. Я шел на Кубаць, он не хотел. Но мы оба расстались в уверенности, что встретимся.

Не пришлось...

СУПРУГИ ОРЛОВЫ

...Почти каждую субботу перед всенощной из двух окон подвала старого и грязного дома кунца Петуникова на тесный двор, заваленный разною рухлядью и застроенный деревянными, покосившимися от времени службами, рвались ожесточенные женские крики.

— Стой! Стой, пропойца, дьявол! — низким контральто кричала женщина.

— Пусти! — отвечал ей тенор мужчины.

— Не пущу я тебя, пзверга!

— Вр-решь! пустишь!

— Убей, не пущу!

— Ты? Вр-решь, еретица!

— Батюшки! Убил, — ба-атюшки!

— Пу-устишь!

При первых же криках Сенька Чижики, ученик маляра Сучкова, целыми днями растиравший краски в одном из сарайчиков на дворе, стремглав вылетал оттуда и, сверкая глазенками, черными, как у мыши, во все горло орал:

— Сапожки Орловы стражаются! Ух ты!

Страстный любитель всевозможных происшествий, Чижики подбегал к окнам квартиры Орловых, ложился животом на землю и, свесив вниз свою лохматую, озорную голову с бойкой рожицей, выпачканной охрой и мумией, жадными глазами смотрел вниз, в темную и сырую дыру, из которой пахло плесенью, варом и прелой кожей. Там, на дне ее, яростно возились две фигуры, хрипя и ругаясь.

— Убьешь ведь, — задыхаясь, предупреждала женщина.

— Н-ничего! — уверенно и с сосредоточенной злобой успокаивал ее мужчина.

Раздавались тяжелые, глухие удары по чему-то мягкому, вздохн, взвизгивания, напряженное кряхтенье человека, ворочающего большую тяжесть.

— И-эх ты! Ка-ак он ее колодкой-то саданул! — иллюстрировал Чпжик ход событий в подвале, а собравшаяся вокруг него публика — портные, судебный рассыльный Левченко, гармонист Кисляков и другие любители бесплатных развлечений — то и дело спрашивали Сеньку, в нетерпении дергая его за ноги и за штанишки, пропитанные красками:

— Ну?

— Сидит на ней верхом и мордой ее в пол тычет, — докладывал Сенька, сладострастно посживаясь от переживаемых им впечатлений...

Публика тоже наклонялась к окнам Орловых, охваченная горячим стремлением самой видеть все детали боя; и хотя она уже давно знала приемы Гришки Орлова, употребляемые им в войне с женой, но все-таки изумлялась:

— Ах, дьявол! Разбил?

— Весь нос в кровь — так и тикёт! — захлебываясь, сообщал Сенька.

— Ах ты, господи, боже мой! — восклицали женщины. — Ах, изверг-мучитель!

Мужчины рассуждали более объективно.

— Беспременно он ее должен до смерти забить, — говорили они.

А гармонист тоном провидца заявлял:

— Помяните мое слово — ножом распотрошит! Устанет возиться вот таким манером да сразу и кончит всю музыку!

— Кончил! — вскакивая с земли, вполголоса сообщал Сенька и миготом отлетал от окон куда-нибудь в сторону, в уголок, где занимал новый наблюдательный пост, зная, что сейчас должен выйти на двор Орлов.

Публика быстро расходилась, не желая попадаться на глаза свирепого сапожника; теперь, по окончании сражения, он терял в ее глазах всякий интерес и вместе с этим был не безопасен.

Обыкновенно на дворе не было уже ни одной живой души, кроме Сеньки, когда Орлов являлся из своего подвала. Тяжело дыша, в разорванной рубахе, с растрепанными волосами на голове, с царапинами на потном и возбужденном лице, он исподлобья оглядывал двор налитыми кровью глазами и, заложив руки за спину, медленно шел к старым розвальням, лежавшим кверху полозьями у стены деревянного сарая. Иногда он при этом ухарски посвистывал и так смотрел по сторонам, точно имел намерение вызвать на бой все население дома Петунникова. Затем он садился на полозья розвален, отирал рукавом рубахи пот и кровь с лица и замирал в усталой позе, тупо глядя на стену дома, грязную, с облезлою штукатуркой и с разноцветными полосами красок,— маляры Сучкова, возвращаясь с работы, имели обыкновение чистить кисти об эту часть стены.

Орлову было лет под тридцать. Нервное лицо с тонкими чертами украшали маленькие темные усы, резко оттеняя полные красные губы. Над большим хрящеватым носом почти срастались густые брови; из-под них смотрели всегда беспокойно горевшие, черные глаза. Среднего роста, немного сутулый от своей работы, мускулистый и горячий, он, долго сидя на розвальнях в каком-то оцепенении, рассматривал раскрашенную стену, глубоко дыша здоровой смуглой грудью.

Солнце уже село, но на дворе душно; пахнет масляной краской, дегтем, кислой капустой и какой-то гнилью. Из всех окон обеих этажей дома на двор льются песни и брань, иногда чья-нибудь испитая физиономия с минуту рассматривает Орлова, высунувшись из-за косяка, и исчезает, усмехаясь.

Являются маляры с работы; проходя мимо Орлова, они искоса смотрят на него, перемигиваются между собой и, наполняя двор бойким костромским говором, собираются кто в баню, кто в кабак. Сверху из второго этажа сползают на двор портные — народ полуодетый, худосочный и кривоногий,— начинают подтрупивать над костромичами-малярами за их горохом рассыпающуюся речь. Весь двор наполняется шумом, бойким и живым смехом, шутками. Орлов сидит в своем углу и молчит, ни на кого не глядя. Никто не подходит к нему и никто не решается пошутить над ним, ибо знают, что теперь он — зверь лютый.

Он сидит, охваченный глухой и тяжелой злобой, которая давит ему грудь, затрудняя дыхание, ноздри его хищно вздрагивают, а губы искривляются, обнажая два ряда крепких и крупных желтых зубов. В нем растет что-то бесформенное и темное, красные, мутные пятна плавают перед его глазами, тоска и жажда водки сосет его внутренности. Он знает, что, когда он выпьет, ему будет легче, но пока еще светло, и ему стыдно идти в кабак в таком оборванном и истерзанном виде по улице, где все знают его, Григория Орлова.

Он не хочет выходить на всеобщее посмешище, но и пойти домой, чтобы одеться и умыться, тоже не может. Там, на полу, лежит избитая жена, а она ему теперь всячески противна.

Она там стонет, чувствует, что она мученица и что она права перед ним,— он знает это. Он знает и то, что она действительно права, а он виноват,— это еще более усиливает его ненависть к пей, потому что рядом с этим сознанием в душе его кипит злобное темное чувство и оно сильнее сознания. В нем все смутно и тяжело, и он безвольно отдается тяжести своих внутренних ощущений, не умея разобраться в них и зная, что только полбутылка водки может облегчить его.

Вот идет гармонист Кисляков. Он в плисовой безрукавке, в красной шелковой рубашке, в шароварах, заправленных в щегольские сапоги. Под мышкой у него гармоника в зеленом мешке, черпенькие усики закручены в стрелки, картуз ухарски надет набекрень, и все лицо сияет удалью и весельем. Орлов любит его за удальство, за игру, за веселый характер и завидует его легкой, беззаботной жизни.

С по-бед-дой, Гриша, поздравляю
И с расцар-рапанной щекой!

Орлов не сердится на него за эту шутку, хотя он уже слышал ее раз пятьдесят, да гармонист и не со зла говорит это, а просто потому, что шутить любит.

— Что брат! опять Плевна была? — спрашивает Кисляков, останавливаясь на минутку перед сапожником. — Эх ты, Гриня, спела дыня! Шел бы ты туда, куда всем нам дорога... Ключули бы мы с тобой.

— Я скоро, — не поднимая головы, говорит Орлов.

— Жду и страдаю по тебе...

Вскоре уходит и Орлов.

Тогда из подвала, держась за стены, выходит маленькая, полная женщина. Голова у нее плотно закутана платком, из отверстия на лице смотрит только один глаз, кусок щеки и лба. Пошатываясь, она идет через двор и садится на то место, где сидел ее муж. Ее появление никого не удивляет — к этому привыкли, и все знают, что она просидит тут до той поры, пока Гришка, пьяный и напостроенный на покаянный лад, не появится из кабака. Она выходит на двор потому, что в подвале душно, и для того, чтобы свести с лестницы пьяного Гришку. Лестница — полусгнившая и крутая; однажды Гришка упал с нее и вывихнул себе руку, так что недели две не работал, и за это время, чтобы прокормиться, они заложили почти все пожитки.

С той поры Матрена и караулила его.

Иногда кто-нибудь со двора подсаживается к ней, чаще всех Левченко — усатый унтер-офицер в отставке, рассудительный и степенный хохол с гладко остриженной головой и сизым носом. Он садится и, позевывая, спрашивает:

— Снова подрались?

— А тебе что? — недружелюбно и задорно говорит Матрена.

— А ничего! — объясняет хохол, и после этого оба они долго молчат.

Матрена тяжело дышит, и в груди у нее что-то хрипит.

— И чего вы все воюете? Чего б вам делить? — начинает рассуждать хохол.

— Наше дело... — кратко говорит Матрена Орлова.

— Ваше, это так, — соглашается Левченко, кивая головой.

— Так чего же ты лезешь ко мне? — резко заявляет Орлова.

— Фу-ты, какая! Слова ей не скажи! Как посмотрю я на вас — пара вы с Гришкой! Батогами бы вас лупить надо каждый день — раз поутру и раз вечером — вот что! Были бы тогда оба не такие ежи...

И, рассерженный, он уходит прочь от нее, чем она очень довольна: по двору давно уже ходит говор, что хохол недаром к ней ластится, она зла на него, на него и на всех людей, которые суются не в свое дело. А хохол идет в угол двора прямой солдатской походкой, бодрый и сильный, несмотря на свои сорок лет.

Вот откуда-то к нему под ноги подвертывается Чижи́к.

— Она тоже, дяденька, редька, Орлиха-то! — вполголоса сообщает он Левченку, подмигивая туда, где сидит Матрена.

— Вот я тебе такую пропишу, где нужно, редьку! — усмехаясь в усы, грозит хохол. Он любит бойкого Чижика и внимательно слушает его, зная, что Чижи́ку известны все тайны двора.

— Около нее не обрыбишься, — не обращая внимания на угрозу, поясняет Чижи́к. — Максимка-маляр пробовал, дык она его так смазала! Я сам слышал — здорово! Прямо по харе, как по барабану!

Полуребенок, полувзрослый, несмотря на свои двенадцать лет, живой и впечатлительный, он, как губка влагу, жадно впитывает в себя грязь окружающей его жизни, на лбу у него уже есть толстая морщинка, признак, что Сенька Чижи́к думает.

...На дворе темно. Над ним сияет, весь в блеске звезд, квадратный кусок синего неба, и, окруженный высокими стенами, двор кажется глубокой ямой, когда с него смотришь вверх. В одном углу этой ямы сидит маленькая женская фигурка, отдыхая от побоев, ожидая пьяного мужа...

Орловы были женаты четвертый год. Был у них ребенок, но, прожив около полутора года, умер; они оба недолго горевали о нем, успокоившись в надежде иметь другого.

Подвал, где они помещались, — большая, продолговатая, темная комната со сводчатым потолком. Прямо у двери — большая русская печь, челом к окнам; между нею и стеной — узенький проход в квадрат, освещенный двумя окнами, выходившими во двор. Свет падал из них в подвал косыми, мутными полосами, в комнате было сыро, глухо и мертво. Жизнь билась где-то там наверху, а сюда залетали от нее только глухие, неопределенные звуки, падавшие вместе с пылью в яму к Орловым бесцветными хлопьями. Против печи, по стене — деревянная двухспальная кровать за ситцевым пологом, желтым, с розовыми цветами; у другой стены — стол, на нем пили чай и обедали, а между кроватью и стеной, в двух полосах света, супруги работали.

По стенам лениво путешествовали тараканы, объедая хлебный мякиш, которым были приклеены к штукатурке картинки из журналов; унылые мухи летали повсюду, скучно жужжа, и засиженные ими картинки смотрели темными пятнами с грязно-серого фона стен.

День Орловых начинался так. Часов в шесть утра Матрена просыпалась, умывалась и ставила самовар, перазискалеченный в пылу драк и весь покрытый заплатами из олова. Пока кипел самовар, она убирала комнату, ходила в лавочку, потом будила мужа; он вставал, умывался, а самовар уже стоял на столе, шипя и курлыкая. Садились пить чай с белым хлебом, которого съедали вдвоем фунт.

Григорий работал хорошо, и работа у него была всегда, за чаем он распределял ее. Он делал чистую работу, требовавшую руки мастера, жена сучила дратву, подклеивала поднаряд, делала набойки на стоптанные каблуки и тому подобные мелочи. За чаем обсуждался обед. Зимой, когда надо есть больше, это был довольно интересный вопрос; летом из экономии печь топили только по праздникам, и то не всегда, питались же преимущественно окрошками из кваса, с добавлением луку, соленой рыбы, иногда мяса, сваренного у кого-нибудь на дворе. Копчив чай, садились работать: Григорий на квашонку, обитую кожей и с трещиной на боку, жена рядом с ним — на низенькую скамейку.

Сначала работали молча — о чем им было говорить? Перекинутся парой слов, относящихся к работе, и молчат по полчаса и больше. Стучит молоток, шипит дратва, продергиваемая сквозь кожу. Григорий иногда зевнет и непременно заключит зевок протяжным ревом или воем. Матрена вздыхает. Иногда Орлов запевал песню. Голос у него резкий, с металлическим тембром, но петь он умеет. Слова песни то собирались в жалобный и быстрый речитатив и, как бы боясь не договорить того, что хотели сказать, стремительно рвались из Гришкиной груди, то, вдруг растягиваясь в грустные вздохи — с воплем «эх!», — тоскливые и громкие, летели из окна на двор. Матрена подтягивала мужу мягким контральто. Лица у обоих становились задумчивы и печальны, темные глаза Гришки подергивались влагой. Жена его, погруженная в звуки, как-то тупела, сидя точно в полусне и покачиваясь из стороны в сторону, а иногда она точно захлебывалась песней, разрывая

средины лоты паузой, и снова продолжала вести ее в унисон голоса мужа. Оба они во время пения не чувствовали присутствия друг друга, стараясь излить в чужих словах пустоту и скуку своей темной жизни, хотели, быть может, оформить этими словами те полусознательные мысли и ощущения, которые зарождались в их душах.

Порой Гришка импровизировал:

Э-ох, ты, жи-изнь... эх, да уж ты, жизнь моя треклятая...
Да ты, тоска-а! Эх и ты, тоска моя проклятая,
Проклятущая тоска-а-а!..

Матрене эти импровизации не нравились, и она обыкновенно в таких случаях спрашивала его:

— Чего ты завыл, как пес перед покойником?

Он почему-то тотчас же сердился на нее:

— Тупорылая хавропья! Что ты можешь понимать?
Кикимора болотная!

— Выл, выл, да залаял...

— Молчать твое дело! Я кто — подмастерье что ли твой, что ты мне рацей-то начитывать суешься, а?..

Матрена, видя, что у него напрягаются жилы на шее и глаза блещут гневом, — молчала, молчала долго, демонстративно не отвечая на вопросы мужа, гнев которого гас так же быстро, как и вспыхивал.

Она отвертывалась от его взглядов, искавших примирения с ней, ожидавших ее улыбки, и вся была полна трепетного чувства боязни, что он вновь рассердится на нее за эту игру с ним. Но в то же время сердиться на него и видеть его стремление к миру с ней для нее было приятно, — ведь это значило жить, думать, волноваться. .

Оба они — молодые и здоровые люди — любили друг друга и гордились друг другом. Гришка был такой сильный, горячий, красивый, а Матрена — белая, полная, с огопком в серых глазах, — «ядрёная баба», — говорили о ней на дворе. Они любили друг друга, но им было скучно жить, у них не было впечатлений и интересов, которые могли бы дать им возможность отдохнуть друг от друга, удовлетворяли бы естественную потребность человека — волноваться, думать, — вообще жить. Если бы у Орловых была жизненная цель, — хоть бы накопление денег грош за грошом, — тогда, несомненно, им жилось бы легче.

Но у них не было и этого.

Постоянно один у другого на глазах, они привыкли друг к другу, знали все слова и жесты один другого. День шел за днем и не вносил в их жизнь почти ничего, что развлекало бы их. Иногда, по праздникам, они ходили в гости к таким же шщим духом, как сами, иногда к ним приходили гости, пили, пели, передко — дрались. А потом снова один за другим тянулись бесцветные дни, как звенья невидимой цепи, отягчавшей жизнь этих людей работой, скукой и бессмысленным раздражением друг против друга.

Иногда Гришка говорил:

— Вот так жизнь, ведьма ее бабушка! И зачем только она мне далась? Работища да скучища, скучища да работища... — И, помолчав, с поднятыми к потолку глазами, с блуждающей улыбкой, он продолжал: — Родила меня мать по воле божией, — супротив этого ничего не скажешь! Научился я мастерству... это вот зачем? Али, кроме меня, мало сапожников? Ну, ладно, сапожник, а дальше что? Какое в этом для меня удовольствие?.. Сижу в яме и шью... Потом помру. Вот, говорят, холера... Ну и что же? Жил Григорий Орлов, шил сапоги — и помер от холеры. В чем же тут сила? И зачем это нужно, чтоб я жил, шил и помер, а?

Матрена молчала, чувствуя в словах мужа что-то страшное; иногда она просила его не говорить таких слов, потому что они против бога, который уж знает, как устроить человеку жизнь. А иногда, будучи не в духе, она скептически заявляла мужу:

— А ты бы вот не был винища-то — и жилось бы тебе веселее, и не лезли бы в голову-то этакie мысли. Другие живут — не жалуются, а копят денежки да свои мастерские на них заводят и живут потом, как господа.

— И выходишь ты за такие деревянные твои слова — чертова кукла! Раскни мозгами-то, разве я могу не пить, коли в этом моя радость? Другие! Много ты их, других-то, этаких удачливых знаешь? А я разве до же-питьбы такой был? Это, ежели по совести говорить, так ты меня сосешь и жизнь мне теснишь... У, жаба!

Матрена обижалась, но чувствовала, что муж ее прав. В пьяном виде он и веселый и ласковый, — другие были плодом ее фантазии, — и до женитьбы он был весельчак, занятый и добрый...

«Почему это? Неужто и впрямь я ему тяжела?» — думала она.

Сердце ее сжималось от горькой думы, ей становилось жаль себя и его: она подходила к нему и, ласково, любовно заглядывая ему в глаза, плотно прижималась к его груди.

— Ну, теперь будет лизаться, корова... — угрюмо говорил Гришка и показывал вид, что хочет оттолкнуть ее от себя; но она уже знала, что он этого не сделает, и еще ближе, еще крепче жалась к нему.

Тогда у него вспыхивали глаза, он бросал на пол работу и, посадив жену к себе на колени, целовал ее много и долго, вздыхая во всю грудь и говоря вполголоса, точно боясь, что его подслушает кто-то:

— Э-эх, Мотря! Живем мы с тобой ай-ай как плохо! Как зверье, грыземся... А почему? Такая звезда моя, под звездой рождается человек, и звезда — судьба его!

Но это объяснение не удовлетворяло его, и, прижав жену к груди, он задумывался.

Они подолгу сидели так в мутном свете и спертом воздухе своего подвала. Она молчала, вздыхая, но иногда в такие хорошие моменты ей вспоминались незаслуженные обиды и побои, понесенные от него, и она с тихими слезами жаловалась ему на него.

Тогда он, смущенный ее ласковыми упреками, еще горячее ласкал ее, а она все более разливалась в жалобах. Это наконец снова раздражало его.

— Будет скулить! Мне, может быть, в тысячу раз больнее, когда я тебя быю. Понимаешь? Ну и помолчи. Вашей сестре дай волю, так вы и за горло. Брось разговоры. Что ты можешь сказать человеку, ежели ему жизнь осточертела?

В другое время он смягчался под потоком ее тихих слез и страстных жалоб и уныло, задумчиво объяснял:

— Что я с моим характером поделаю? Обижаю я тебя, — это верно. Знаю, что ты у меня одна душа... ну, не всегда я это помню. Понимаешь, Мотря, иной раз глаза бы мои на тебя не смотрели! Вроде как бы объелся я тобой. И подступит мне в ту пору под сердце этакое зло — разорвал бы я тебя, да и себя заодно. И чем ты предо мной правее, тем мне больше бить тебя хочется...

Она едва ли понимала его, но кающийся и ласковый тон успокаивал ее.

— Бог даст, как-нибудь поправимся, привыкнем, — говорила она, не сознавая, что они уже давно привыкли и исчерпали друг друга.

— Вот ежели бы дите у нас родилось — было бы лучше нам, — вздыхая, заявляла она. — Была бы у нас и забава и забота.

— Так чего же ты? Рожай...

— Да... ведь при таких твоих побоях — не могу я принести. Очень уж ты по животу и по бокам больно бьешь... Хоть бы ногами-то не бил...

— Ну, — угрюмо и сконфуженно оправдывался Григорий, — разве можно в этом разе соображать, чем, почему бить надо? Да и я не палач какой... не для удовольствия бью, а от тоски...

— И отчего она завелась в тебе, тоска эта? — грустно спрашивала Матрена.

— Судьба такая, Мотря! — философствовал Гришка. — Судьба и характер души... Гляди, — хуже я других, хохла, к примеру? Однако хохол живет и не тоскует. Один он, ни жены, никого... Я бы подох без тебя... А он ничего! Он курит трубку и улыбается, — доволен, дьявол, и тем, что трубку курит. А я так не могу... я родился с беспокойством в сердце. Характер у меня такой... как пружина: нажмешь на него — дрожит... Выйду я, к примеру, на улицу, вижу то, другое, третье, а у меня ничего нет. Это мне обидно. Хохлу — тому ничего не надо, а мне и то обидно, что он, усатый черт, ничего не хочет, а я... и не знаю даже, чего хочу... всего! Н-да... Я сижу вот в яме, работаю, а ничего нет у меня. Опять же и ты... Жена ты мне, а — что в тебе запятого? Баба как баба, со всем бабьим набором... Знаю я все в тебе; как ты чихнешь завтра — и то знаю, потому ты уж тысячу раз, может, при мне чихала... Какая же поэтому у меня может быть жизнь и какой интерес? Нет интересу. Ну, я и иду в трактир, потому что там весело.

— А ты зачем женился? — спрашивала Матрена.

— Зачем? — Гришка усмехался. — Черт меня знает зачем... не надо бы, ежели по совести сказать... В босяки бы лучше уйти... Там хоть голодно, да свободно — иди куда хочешь! Шагай по всей земле!..

— Так иди, а меня отпусти на волю, — заявляла Матрена, готовая разреветься.

— Это куда? — внушительно спрашивал Гришка.

— А мое дело.

— Ку-уда? — И глаза у него зловеще разгорались.

— Не ори, — не боюсь...

— Али присмотрела себе кого? Говори!

— Пусти!

— Куда пустить? — ревел Гришка.

Он уже держал ее за волосы, сбив платок с ее головы. Побой озлобляли ее, зло же доставляло ей великое наслаждение, возбуждая всю ее душу, и она, вместо того чтобы двумя словами угасить его ревность, еще более подзадоривала его, улыбаясь ему в лицо многозначительными улыбками. Он бесился и бил ее, беспощадно бил.

А почью, когда она, вся изломанная и измятая, стоя, лежала на постели рядом с ним, он искоса смотрел на нее и тяжело вздыхал. Ему было скверно, совесть мучила его, он понимал, что его ревность не имеет оснований и что он напрасно избил ее.

— Ну, будет уж, — скопфуженно говорил он. — Али я виноват? И ты тоже хороша... Вместо того чтоб меня уговорить, — подзадориваешь. Зачем это тебе надобно?

Она молчала, но — она знала зачем, знала, что теперь ее, избитую и оскорбленную, ожидают его ласки, страстные и нежные ласки примирения. За это она готова была ежедневно платить болью в избитых боках. И она плакала уже от одной только радости ожидания, прежде чем муж успевал прикоснуться к ней.

— Ну, полно, Мотря! Ну, голубушка, а? Полно, прости уж! — Он гладил ее волосы, целовал ее и скрипел зубами от горечи, наполнявшей все его существо.

Окна их были открыты, но небо закрывала капитальная стена соседнего дома, и в комнате их, как и всегда, было темно, душно и тесно.

— Эх, жизнь! Каторга ты великолепная! — шептал Гришка, не будучи в состоянии высказать того, что с болью чувствовал. — От ямы это, Мотря. Что мы? Вроде как бы прежде смерти в землю похоронены...

— Переедем на другую квартиру, — сквозь сладкие слезы предлагала Матрена, понимая его слова буквально.

— Э-эх! Не то, тетенька! Хоть на чердак заберись, все в яме будешь... не квартира — яма... жизнь — яма!

Матрена задумывалась и опять говорила:

— Бог даст, может, и поправимся...

— Да, поправимся... Часто ты это говоришь. А дело-то у нас, Мотря, не на поправку идет... Скандалы-то все чаще,— понимаешь?

Это было верно. Промежутки между их ссорами все сокращались, и вот наконец каждую субботу еще с утра Гришка уже настраивался враждебно к своей жене.

— Сегодня вечером пошашу и в трактир к Лысому... Папьюсь...— объявлял он.

Матрена, странно щуря глаза, молчала.

— Молчишь? И ужо вот так же молчи, целее будешь,— предупреждал он.

В течение дня он с озлоблением, возраставшим по мере приближения вечера все более, несколько раз напоминал ей о своем намерении напиться, чувствовал, что ей больно это слышать, и, видя, как она, сосредоточенно молчаливая, с твердым блеском в глазах, готовая бороться, ходит по комнате, еще более свирепел.

Вечером вестник их несчастья, Сенька Чижик, объявлял о «стражении».

Избыв жену, Гришка исчезал иногда на всю ночь, иногда не являлся и в воскресенье. Она, вся в синяках, встречала его суровая, молчаливая, но полная скрытой жалости к нему, оборванному, часто тоже избитому, в грязи, с налитыми кровью глазами.

Она знала, что ему надо опохмелиться, и у нее уже было припасено полбутылки водки. Он тоже знал это.

— Дай рюмочку,— хрипло просил он, пил две-три и садился работать.

Депь проходил у него в угрызениях совести; часто он не выносил их остроты, бросал работу и ругался страшными ругательствами, бегая по комнате или валяясь на постели. Мотря давала ему время перекипеть, тогда они мирились.

Раньше это примирение имело в себе много острого и сладкого, но от времени все это постепенно выдыхалось, и мирились уже почти только потому, что неудобно же было молчать все пять дней вплоть до субботы.

— Сопьешься ты,— вздыхая, говорила Мотря.

— Сопьюсь,— подтверждал Гришка и сплевывал в сторону с видом человека, которому решительно все равно, спиться или не спиться.— А ты от меня удержись,— дополнял он картину будущего, пытливо глядя ей в глаза.

Она с некоторых пор стала опускать их, чего раньше не делала, а Гришка, видя это, злое еще хмурил брови и тихо-пыхо скрипел зубами. Но, тайком от мужа, она пока еще ходила к гадалкам и знахаркам, принося от них наговорные корешки и угли. А когда все это не помогло, она отслужила молебен святому великомученику Вонифатию, помогающему от запоя, и во все время молебна, стоя на коленях, горячо плакала, беззвучно двигая дрожащими губами.

И все чаще и чаще она чувствовала к мужу дикую и холодную ненависть, возбуждавшую в ней черные думы, и все менее жалела она этого человека, три года тому назад так обогатившего ее жизнь веселым смехом, ласками, любовными речами.

Так изо дня в день жили эти, в сущности, бедурные люди, жили, ожидая чего-то такого, что окончательно вдребезги разобьет их мучительно нелепую жизнь...

Однажды, в понедельник, утром, когда Орлов пил чай, на пороге их невеселого жилища явилась внушительная фигура полицейского. Орлов вскочил и, пытаясь восстановить в своей похмельной голове события последних дней, молчаливо уставился на гостя мутными глазами, полный самых скверных ожиданий. Жена его смотрела пугливо и укоризненно.

— Сюда, сюда, — приглашал кого-то полицейский.

— Темно, как в омуте, черт бы побрал купца Петуникова, — раздался молодой и веселый голос, и в подвал вошел студент в белом кителе, с фуражкой в руке, гладко стриженный, с большим загорелым лбом, веселыми карими глазами, смешливо сверкавшими из-под очков.

— Здравствуйте! — воскликнул он баском. — Честь имею представиться — саптар! Пришел осведомиться, как поживаете... и понюхать ваш воздух — воздух у вас скверный!

Орлов свободно вздохнул и радушно улыбнулся. Ему сразу понравился студент: лицо у него было такое здоровое, розовое, доброе, покрытое на щеках и подбородке русым пухом. Все оно улыбалось какою-то особенной, ясной улыбкой, от которой в подвале Орловых стало как бы светлее и веселее.

— Ну-с, господа хозяева! — без пауз говорил студент, — помойку опрастывайте почаще, а то от нее идет

этот дух невкусный. Я вам, тетенька, посоветовал бы мыть ее почаще. А у вас, дяденька, почему такой скучный вид? — обратился он к Орлову и тут же, схватив его за руку, стал щупать пульс.

Бойкость студента несколько смутила Орловых. Матрeпа растерянно улыбалась, молча оглядывая его. Григорий улыбался недоверчиво.

— Животики у вас как поживают? — спрашивал тот. — Рассказывайте, не стесняясь, — дело житейское, а ежели чуть что неладно, мы вас снабдим разными кислыми лекарствами, и все как рукой снимет.

— Мы ничего... в добром здоровье, — сообщил Григорий, усмехаясь. — А ежели я не того... так это одна наружность... потому что, — сжали по правде говорить, — с похмелья я несколько.

— То-то я чую носом-то, что как будто бы вы, хозяин, чуть-чуть выпили вчера, — самую малость, знаете...

Он до того уморительно произнес это и такую при этом скорчил рожу, что Орлов так и прыснул смехом. Матрена тоже смеялась, закрывая рот передником. Веселее и громче всех смеялся сам студент, он же скорее всех и перестал. Когда расправились вызванные смехом складки кожи вокруг его пухлого рта и глаз, лицо его, простое и открытое, стало как-то еще проще.

— Выпить рабочему человеку следует, ежели в меру, но — по нынешним временам лучше совсем воздержаться от выпивки. Слышали, какая болезнь ходит между людьми?

И уже серьезно, понятным языком, он начал рассказывать Орловым о холере и о мерах борьбы с ней. Говорил и расхаживал по комнате, то щупая стену рукой, то заглядывая за дверь, в угол, где висел рукомойник и стояла лохань с помоями, даже нагнулся к подпечку и понюхал, чем из него пахнет. Голос у него то и дело срывался с басовых нот на теноровые, простые слова его речи как-то сами собой, без усилий со стороны слушателей, одно за другим плотно укладывались в их памяти. Светлые глаза его горели, и весь он был пропитан пылом своей молодой страсти к делу.

Григорий с улыбкой любопытства следил за ним. Матрена то и дело фыркала носом, полицейский исчез.

— Так насчет чистоты позаботьтесь сегодня же, хозяева. Тут рядом с вами стройка, каменщики вам на пятак сколько угодно известки дадут. А от выпивки нуж-

по воздержаться, хозяин... II-пу, пока до свиданья... Я еще забегу к вам...

Он исчез так же быстро, как явился, оставив воспоминанием о своих смеющихся глазах довольные улыбки на лицах Орловых, — они были смущены набегом сознательной энергии в их темную жизнь.

— А-яй! — протянул Григорий, качая головой. — Вот так — химик! А про них говорят, что они отравляют народ! Да разве человек с такой рожей будет этим заниматься?.. Нет, тут совсем открыто пришел и сразу — на вот, вот он я! Известка — разве это вредно? Лимонная кислота — что такое? Просто кислота и больше ничего! И главное — чистота везде, в воздухе, на полу, в лохотке... Ах, черти! Отравители, говорят... Этакой-то рубаха-парень, а? Рабочему, говорит, человеку в меру выпить всегда следует... слышь, Мотря? Ну-ка, нацеди мне рюмочку, — есть, что ли?

Она очень охотно палила ему полчаши водки из бутылки, неизвестно откуда взятой ею.

— Этот-то действительно хороший... располагающий к себе, — сказала она, улыбаясь при воспоминании о студенте. — А другие, прочие — кто их знает? Может, и впрямь папаты они...

— Да для чего папаты-то, и кем опять же? — воскликнул Григорий.

— Для людского истребления... Говорят, что бедного люда очень много и вышло распоряжение — травить лишних, — сообщила Матрена.

— Кто это говорит?

— Все говорят. Стряпка от маляров говорила и другие многие...

— И дуры! Да разве это выгодно? Ты подумай: лечат! Это как понимать? Хоронят! Это разве не убыток? Тоже нужен гроб, могила и прочее такое... Все идет на счет казны... Ер-рунда! Ежели бы хотели сделать очистку и убавление людей, то взяли бы да и сослали их в Сибирь — там места про всех хватит! Или на необитаемые острова... И приказали бы там работать. Вот тебе и очистка, и очень даже выгодно... Потому что необитаемый остров никакого дохода не даст, ежели не засадить его людьми. А казне — доход первое дело, значит, морить людей да хоронить их на свой счет ей не рука... Поняла? И опять же студент... озорник он, это точно, но он больше насчет бунта, а чтобы людей морить... не-ет,

его для такой игры не купишь за все медные! Разве сразу не видно, что он к этому делу не способен? Рыло у него не того калибра...

Целый день они толковали о студенте и о всем, что он сообщил им. Вспоминали его смех, его лицо, панталон, что у него на кителе не хватало одной пуговицы, и едва не разругались из-за вопроса: «на какой стороне груди?» Матрена упорно утверждала, что на правой, ее муж говорил — на левой и уже дважды крепко ругнул ее, но, вовремя вспомнив, что, наливая водку в чашку, жена не подняла дно бутылки кверху, уступил ей. Потом решили с завтрашнего дня заняться введением у себя чистоты и снова, овеянные чем-то свежим, продолжали беседовать о студенте.

— Нет, какой ведь хлюст! — восхищался Григорий. — Пришел — точно десять лет знакомы... Обнюхал все, разъяснил и... больше ничего! Ни крика, ни шума, хотя ведь и он начальство тоже... Ах, раздуй его горой! Поимаешь, Матрена, тут, брат, есть о нас забота. Сразу видно... Желают нас сохранить в целости, а не то что... Это все ерунда, насчет мора, — бабьи сказки! Живот, говорит, как действует?.. А ежели мор, так на кой ему черт действие живота знать? А как он ловко разъяснил насчет этих... как их? дьяволов-то, которые заползают в кишки, ну?

— Как-то вроде небылицы, — усмехнулась Матрена. — Чай, это так только, для страха, чтобы насчет чистоты старался народ...

— Ну, там кто их знает, может, и правда... от сырости черви ведь заводятся же. Ах ты, черт! Как их, этих козявок? Небылицы? Нет... На языке вертится слово, а не поймаю...

Они и когда спать легли, все еще говорили о событии с тем наивным воодушевлением, с каким дети делятся между собой впервые пережитым, сильно поразившим их впечатлением. Так они и заснули среди разговора.

Потутру рано их разбудили. У кровати их стояла доверодная стряпка маляров, и ее всегда красное, полное лицо против обыкновения было серо и вытянуто.

— Что вы прокладываетесь? — торопливо говорила она, как-то особенно шлепая толстыми губами. — Холера-то ведь на дворе у нас... Посетил господь! — И она вдруг заплакала.

— Ах ты — врешь? — воскликнул Григорий.

— А я лоханку-то с вечера не вынесла,— виновато сказала Матреша.

— Я, милые вы мои, хочу расчет взять. Уйду я... Уйду... в деревню,— говорила стряпка.

— Кого забрало? — спросил Григорий, поднимаясь с постели.

— Гармониста! В ночь схватило... И схватило, сударик, прямо за живот, вроде как бы от мышьяка бывает...

— Гармонист? — бормотал Григорий. Ему не верилось. Такой веселый, удалой парень, вчера он прошел по двору таким же павлином, как и всегда.— Поиду взгляну,— решил Орлов, недоверчиво усмехаясь.

Обе женщины испуганно вскрикнули:

— Гриша, ведь зараза!

— Что ты, батюшка, куда ты?

Григорий крепко выругался, сунул ноги в опорки и, растрепанный, с расстегнутым воротом рубахи, пошел к двери. Жена схватила его сзади за плечо, он чувствовал, что рука ее дрожит, и вдруг озлился почему-то.

— В морду дам! Прочь! — рявкнул он и ушел, толкнув жену в грудь.

На дворе было тихо и пусто. Григорий, идя к двери гармониста, одновременно чувствовал озноб страха и острое удовольствие от того, что из всех обитателей дома один он смело идет к больному. Это удовольствие еще более усилилось, когда он заметил, что из окон второго этажа на него смотрят портные. Он даже засвистал, ухарски тряхнув головой. Но у двери в каморку гармониста его ждало маленькое разочарование в образе Сеньки Чижики.

Притворив дверь, он сунул свой острый нос в образовавшуюся щель и, по своему обыкновению, наблюдал, увлеченный до такой степени, что обернулся только тогда, когда Орлов дернул его за ухо.

— Вот так скрючило его, дяденька Григорий,— шепотом заговорил он, подняв на Орлова свою чумазую мордочку, еще более обостренную переживаемым впечатлением.— И вроде как бы разохся он,— как худая бочка,— ей-богу!

Орлов, охваченный зловонным воздухом, стоял и молча слушал Чижики, стараясь заглянуть одним глазом в щель непритворенной двери.

— Воды ему дать папиться, дяденька Григорий? — предложил Чижи́к.

Орлов взглянул на лицо мальчика, возбужденное почти до нервной дрожи, и сам почувствовал взрыв возбуждения.

— Тащи воды! — скомандовал он Чижи́ку и, смело распахнув дверь, остановился на пороге, несколько подавшись назад.

Сквозь туман в глазах Григорий видел Кислякова: гармонист в своем парадном костюме лежал грудью на столе, крепко вцепившись в него руками, и его ноги в лакированных сапогах вяло двигались по мокрому полу.

— Кто это? — спросил он сипло и апатично, точно голос его слинял.

Григорий оправился и, осторожно шагая по полу, пошел к нему, стараясь говорить бодро и даже шутливо.

— Я, брат, Митрий Павлов... А ты что это — переложил, что ли, вчера? — Он внимательно, с боязнью и любопытством рассматривал Кислякова и не узнавал его.

Лицо у гармониста все обострилось, скулы торчали двумя резкими углами, глаза глубоко ввалились и, окруженные зеленоватыми пятнами, были странно неподвижны, мутны. Кожа на щеках такого цвета, какою она бывает у покойников в жаркое, летнее время; мертвое, страшное лицо, и только медленное движение челюстей доказывало, что оно еще живо. Неподвижные глаза Кислякова долго смотрели в лицо Григория, и этот взгляд наводил на него ужас. Зачем-то ощупывая свои бока руками, Орлов стоял шагах в трех от больного и чувствовал, что его точно кто-то схватил за горло сырой и холодной рукой, схватил и медленно душит. Ему захотелось скорее уйти из этой комнатки, прежде такой светлой и уютной, а теперь пропитанной удушающим запахом гнили и страшным холодом.

— Ну... — начал было он, приготавливаясь отступить. Но серое лицо гармониста странно задвигалось, губы, покрытые черным налетом, раскрылись, и он сказал своим беззвучным голосом:

— Это... я... умираю...

Неизъяснимое равнодушие трех его слов отдалось в голове и груди Орлова, как три тупых удара. С бессмысленной гримасой на лице он повернулся к двери, но навстречу ему влетел Чижи́к, с ведром в руке, запыхавшийся и весь в поту.

— Вот — из колодца от Спиридонова, — не давали, черти...

Он поставил ведро на пол, бросился куда-то в угол, снова явился и, подавая стакан Орлову, продолжал тараторить:

— У вас, говорят, холера... Я говорю, ну, так что? И у вас будет, — теперь уж она пойдет чесать, как в слободке... Дык — он меня как ахпет по башке!..

Орлов взял стакан, зачерпнул из ведра воды и одним глотком выпил ее. В ушах его звучали мертвые слова: «Это... я... умираю...»

А Чижикик вьюном вертелся около него, чувствуя себя как чужья более в своей сфере.

— Дайте пить, — сказал гармонист, двигаясь по полу вместе со столом.

Чижикик подскочил к нему и поднес к черным губам его стакан воды. Григорий, прислонясь к стене у двери, точно сквозь сон слушал, как больной громко втягивал в себя воду; потом услышал предложение Чижикика раздеть Кислякова и уложить его в постель, потом раздался голос стряпки маляров. Ее широкое лицо, с выражением страха и соболезнования, смотрело со двора в окно, и она говорила плаксивым тоном:

— Дать бы ему сажу голландской с ромом: на стакан чайный — сажу две ложки хлебальных, да рому до краев.

А кто-то невидимый предложил деревянного масла с огуречным рассолом и царской водкой.

Орлов вдруг почувствовал, что тяжелая, гнетущая тьма внутри его освещается каким-то воспоминанием. Он крепко потер себе лоб, как бы желая усилить яркость этого света, и вдруг быстро вышел вон, перебежал двор и исчез на улице.

— Батюшки! Саножника схватило! В больницу побежал, — крикливо плачущим голосом объяснила стряпка его бегство.

Матрена, стоявшая рядом с ней, посмотрела широко открытыми глазами и, побледнев, вся затряслась.

— Врешь ты, — хрипло сказала она, едва двигая белыми губами, — Григорий этой поганой болезнью не захворает, — не поддастся!

Но стряпка, горестно воя, уже исчезла куда-то, и через пять минут на улице около дома купца Петунникова глухо гудела кучка соседей и прохожих. На всех ли-

цах чередовались одни и те же чувства: возбуждение, сменявшееся безнадежным унынием, и что-то злое, уступавшее иногда место деланной удалости. Со двора к толпе и обратно то и дело летал Чижик, сверкая босыми ногами и сообщая ход событий в компании гармониста.

Публика, тесно сбившись в кучу, наполняла пыльный и пахучий воздух улицы глухим гулом своего голоса, а иногда сквозь него вырывалось крепкое ругательство, злое и бессмысленное.

— Смотрите — Орлов-то!

Орлов подъехал к воротам на козлах холщовой фуры, которой правил угрюмый человек, весь одетый в белое. Он рявкнул глухим басом:

— Пошел с дороги!

И поехал прямо на людей.

Вид этой фуры и окрик ее возницы как бы придавил повышенное настроение зрителей — все сразу потемнело, многие быстро ушли.

Вслед за фурой явился студент, знакомый Орловых. Фуражка у него съехала на затылок, по лбу струился пот, на нем была надета какая-то длинная магия ослепительной белизны, и спереди на ее подоле красовалась большая круглая дыра с рыжими краями, очевидно, только что прожженная чем-то.

— Ну, где больной? — громко спрашивал он, искоса поглядывая на публику, собравшуюся в уголке у ворот, — люди встретили его недоброжелательно.

Кто-то громко сказал:

— Ишь ты, какой повар!

Другой голос тише и злое пообещал:

— Погоди, он те угостит!

Нашелся, как всегда в толпе, шутник.

— Он те даст такой суп, что у тебя лопнет пуп!

Раздался смех, невеселый, затемненный боязливым подозрением.

— Ведь вот сам-то он не боится заразы, — это как понимать? — многозначительно спросил человек с напуганным лицом и взглядом, полным сосредоточенной злобы.

Лица людей потемнели, говор стал глуше...

— Несут!

— Орлов-то! Ах, собака!

— Не боится?

— Ему что? Пьяница...

— Осторожней, осторожней, Орлов! Поднимайте выше ноги... так! Готово! Поезжай, Петр! — командовал студент. — Я скоро приеду. Ну-с, господин Орлов, я прошу вас помочь мне уничтожить здесь заразу... Кстати, на случай, вы выучитесь, как это делать... Согласны?

— Могу, — сказал Орлов, оглядываясь вокруг и чувствуя прилив гордости.

— И я тоже могу, — заявил Чирик.

Он проводил печальную фуру за ворота и вернулся как раз вовремя для того, чтобы предложить свои услуги. Студент через очки посмотрел на него.

— Ты кто такой есть, а?

— Из маляров, — в учениках... — объяснил Чирик.

— А холеры боишься?

— Я? — удивился Сеня. — Вот! Я — ничего не боюсь!

— Ну? Ловко! Так вот что, братцы. — Студент присел на бочку, лежавшую на земле, и, покачиваясь на ней, стал говорить о необходимости для Орлова и Чирика хорошенько вымыться.

К ним подошла Матрена, боязливо улыбаясь. За ней кухарка, вытиравшая мокрые глаза салыным передником. Через некоторое время осторожно, как кошки к воробьям, к этой группе подошло еще несколько человек. Около студента собрался тесный кружок человек в десять, и это воодушевило его. Стоя в центре людей, быстро жестикуюлируя, он, то вызывая улыбки на лицах, то сосредоточенное внимание, то острое недоверие и скептические смешки, начал нечто вроде лекции.

— Главное дело во всех болезнях — чистота тела и воздуха, которым вы дышите, — уверял он своих слушателей.

— О господи! — громко вздыхала стряпка маляров. — От печальной смерти Варваре-великомученице надо молиться...

— И в теле и в воздухе живут, однако тоже умирают, — заявил один из слушателей.

Орлов стоял рядом со своей женой и смотрел в лицо студента, о чем-то думая. Его дернули за рубаху.

— Дяденька Григорий! — шепнул Сеня Чирик, сверкая горящими, как угольки, глазами, — теперь вот помрет Митрий-то Павлов, родных у него нету... кому же гармошка достанется?

— Отстань, чертепок! — отмахнулся Орлов.

Сенька отошел в сторону и уставился в окно комнаты гармониста, ища в ней чего-то жадным взглядом.

— Известка, деготь, — громко перечислял студент.

Вечером этого беспокойного дня, когда Орловы сели пить чай, Матрена с любопытством спросила у мужа:

— Ты давеча куда ходил со студентом-то?

Григорий посмотрел ей в лицо затуманенными, чужими глазами, не отвечая.

Около полудня, копчив мыть комнату гармониста, Григорий ушел куда-то с санитаром, воротился часа в три задумчивый, молчаливый, лег на постель и вплоть до чая лежал кверху лицом, не вымолвив за все время ни слова, хотя жена много раз пыталась вызвать его на разговор. Он даже не обругал ее, — это было странно, непривычно ей и возбуждало ее.

Инстинктом женщины, вся жизнь которой сосредоточилась на муже, она подозревала, что его охватило чем-то новым, ей было боязно и тем более страстно хотелось знать, — что с ним?

— Тебе, может, нездоровится, Гриша?

Григорий слил с блюдца в рот последний глоток чая, вытер рукой усы, не спеша подвинул жене пустой стакан и, нахмутив брови, заговорил:

— Ходил я со студентом в барак...

— В холерный? — воскликнула Матрена и тревожно, понизив голос, спросила: — Много там их?

— Пятьдесят три с нашим-то... Некоторые поправляются... Ходят... Желтые, худые...

— Холерные? Чай — пет?.. Других каких-нибудь сунули туда для оправдания: вот-де, смотрите, вылечиваем!

— Ты дура! — решительно сказал Григорий и зло блеснул глазами. — Все вы тут дубье! Необразованность и глупость — больше ничего! Подохнешь с вами от тоски при вашем невежестве... Ничего вы не можете понимать, — он резко подвинул к себе вновь налитый стакан чаю и замолчал.

— Где это ты образовался так? — схибно спросила Матрена и вздохнула.

Он промолчал, задумчивый, неприступно суровый. Потухавший самовар тянул пискливую мелодию, пол-

пую раздражающей скуки, в окна со двора веяло запахом масляной краски, карболки и обеспокоенной помойной ямы. Полусумрак, писк самовара и запахи — все плотно сливалось одно с другим, черное жерло печи смотрело на супругов так, точно чувствовало себя призывным проглотить их при удобном случае. Супруги грызли сахар, стучали посудой, глотали чай. Матрена вздыхала, Григорий стучал пальцем по столу.

— Чистота невиданная! — вдруг с раздражением заговорил он. — Все служащие до последнего — в белом. Хворые то и дело в вапны лезут... Вином их поят, — два с полтиной бутылка! Кушанья... с одного запаха сыт будешь... Обращение со всеми — материнское... И-да... Извольте понять: живешь на земле, ни один черт даже и плюнуть на тебя не хочет, не то что зайти иногда и спросить — что, как и вообще — какая жизнь? по душе она или по душу человеку? А пачнешь умирать — не только не позволяют, но даже в изъяхи вводят себя. Бараки... вино... два с полтиной бутылка! Неужто нет у людей догадки? Ведь бараки и вино большущих денег стоят. Разве эти самые депьги нельзя на улучшение жизни употреблять, — каждый год по нескольку?

Жена не старалась понять его речей, ей достаточно было чувствовать, что они повы, и она безошибочно выводила отсюда: у Григория в душе творится что-то нехорошее для нее. Она скорее хотела узнать, — как это коснется ее? В этом желании была и боязнь, и надежда, и что-то враждебное мужу.

— Там, чай, уж побольше твоего знают, — сказала она, когда он кончил, и поджала губы.

Григорий повел плечом, искоса взглянул на нее и, помолчав, начал в тоне еще более повышенном:

— Знают, не знают — это их дело. Но ежели мне, не видав никакой жизни, помирать приходится, об этом я могу рассуждать. Я тебе вот что скажу: такого порядка я больше не хочу, сидеть, дожидаться, когда придет холера да меня скрючит, — не согласен. Не могу! Петр Иванович говорит: вали навстречу! Судьба против тебя, а ты против нее, — чья возьмет? Война! Больше никаких... Значит, — что теперь? А поступаю я служителем в барак — и все тут! Попяла? Прямо в пасть влезу — глотай, а я буду ногами дрыгать!.. Двадцать рублей в месяц жалованья, да еще награду могут дать... Можпо умереть?.. Это так, но здесь еще скорее сдохнешь.

Орлов стукнул кулаком по столу так, что вся посуда подпрыгнула.

Матрена в начале речи смотрела на мужа с выражением беспокойства и любопытства, а в конце ее уже враждебно прищурила глаза.

— Это студент тебе посоветовал? — сдержанно спросила она.

— У меня свой ум есть, — могу рассудить, — уклонился Григорий от прямого ответа.

— Ну, а как же со мной разделаться посоветовал он тебе? — продолжала Матрена.

— С тобой? — Григорий несколько смутился — он не успел подумать о жене. Конечно, можно бабу оставить на квартире, вообще это делается, но Матрену — опасно. За ней нужен глаз да глаз. Остановившись на этой мысли, Орлов хмуро продолжал: — Что же? Будешь тут жить... а я буду жалованье получать... н-да...

— Так, — спокойно сказала женщина и усмехнулась той многозначщей, женской улыбкой, которая сразу может вызвать у мужчины колющее сердце чувство ревности.

Орлов, перевозный и чуткий, ощутил это, но из самолюбия не желая выдавать себя, бросил жене:

— Квак да хрюк — все твои речи!.. — И насторожился, ожидая, — что еще скажет она?

Она снова улыбнулась этой раздражающей улыбкой и промолчала.

— Ну, так как же? — спросил Григорий повышенным тоном.

— Что? — произнесла Матрена, равнодушно вытирая чашки.

— Ехидна! Не фшшти — пришибу! — вскипел Орлов. — Я, может, на смерть иду!

— Не я тебя посылаю, не ходи...

— Ты бы рада послать, я знаю! — иронически воскликнул Орлов.

Она молчала. Это бесило его, но Орлов сдержал привычное выражение чувства, сдержал под влиянием прехидной, как ему казалось, мысли, мелькнувшей у него в голове. Он улыбнулся злорадной улыбкой, говоря:

— Я знаю, тебе хочется, чтобы я провалился хоть в тартарары. Ну, еще посмотрим, чья возьмет... да! Я тоже могу сделать такой ход — ах ты мне!

Он вскочил из-за стола, схватил с окна картуз и

ушел, оставив жену не удовлетворенной ее политикой, смущенной угрозами, с возрастающим чувством страха пред будущим. Она шептала:

— О господи! Царица небесная! Пресвятая богородица!

Она долго сидела за столом, пытаясь предположить, что сделает Григорий? Пред ней стояла вымытая посуда; на капитальную ступу соседнего дома, против окоп комнаты, заходящее солнце бросило красноватое пятно; отраженное белой стеной, оно проникло в комнату, и край стеклянной сахарницы, стоявшей пред Матреной, блеснул. Наморщив лоб, она смотрела на этот слабый отблеск, пока не утомились глаза. Тогда она, убрав посуду, легла на кровать.

Григорий пришел, когда уже было совсем темно. Еще по его шагам на лестнице она догадалась, что муж в духе. Он выругал тьму в комнате, подошел к постели, сел на нее.

— Знаешь что? — усмехаясь, спросил Орлов.

— Ну?

— И ты пойдешь на место!

— Куда? — дрогнувшим голосом спросила она.

— В один барак со мной! — торжественно объявил Орлов.

Она обняла его за шею и, крепко сжав руками, поцеловала в губы. Он не того ждал и оттолкнул ее.

«Притворяется... — думал он, — ей, шельме, совсем не хочется вместе с ним. Притворяется, ехидна, за дурака считает мужа...»

— Чему рада? — грубо и подозрительно спросил он, чувствуя желание сбросить ее на пол.

— Так уж! — бойко ответила она.

— Финти! Знаю я тебя!

— Еруслан ты мой храбрый!

— Брось... а то смотри!

— Гришаня ты мой!

— Да ты что в самом деле?

Когда ее ласки укротили его несколько, он озабоченно спросил ее:

— А ты не боишься?

— Чай, вместе будем, — просто ответила она.

Ему приятно было слышать это. Он сказал ей:

— Молодчина!

И так ущипнул ее, что она взвизгнула.

Первый день дежурства Орловых совпал с очень сильным наплывом больных, и двум повичкам, привыкшим к своей медленно двигавшейся жизни, было жутко и тесно среди кипучей деятельности, охватившей их. Неловкие, не понимавшие приказаний, подавленные жуткими впечатлениями, они растерялись, и хотя пытались работать, но только мешали другим. Григорий несколько раз чувствовал, что заслуживает строгого окрика или выговора за свое неумение, но, к великому его изумлению, на него не кричали.

Когда один из докторов, высокий черноусый человек с горбатым посом и большущей бородавкой над правой бровью, велел Григорию помочь одному из больных сесть в ванну, Григорий с таким усердием цапнул больного под мышки, что тот даже крикнул и сморщился.

— А ты, голубчик, не ломай его, он и целиком в ванну уберется... — серьезно сказал доктор.

Орлов скопфузился; больной же, сухой и длинный верзила, усмехнулся через силу и хрипло сказал:

— С нови... Непривычен.

Другой доктор, старик с острой седой бородой и блестящими большими глазами, сказал Орловым, когда они пришли в барак, наставление, как обращаться с больными, что делать в том и другом случае, как брать больных, переносить их; в заключение спросил их, были ли они вчера в бане, и выдал им белые передники. Голос у этого доктора был мягкий, говорил он быстро; он очень поправился супругам. Вокруг них мелькали люди в белом, раздавались приказания, подхватываемые прислугой на лету, хрипели, охали и стонали больные, текла и плескалась вода, и все эти звуки плавали в воздухе, до того густо насыщенном острыми, неприятно щекочущими поздри запахами, что казалось — каждое слово доктора, каждый вздох больного тоже пахнут, раздражая нос...

Сначала Орлов находил, что тут царит бесшабашный хаос, в котором ему ни за что не найти себе места, и что он задохнется, заболит... Но прошло несколько часов, и, охваченный веянием повсюду рассеянной энергии, он насторожился, проникся желанием приспособиться к делу, чувствуя, что ему будет покойнее и легче, если он завертится вместе со всеми.

— Сулемы! — кричал доктор.

— Горячей воды! — командовал худенький студентик с красными опухшими веками.

— Вы — как вас? Орлов... трите-ка ему ноги!.. Вот так... понимаете?.. Та-ак, та-ак... Легче, — сдерете кожу! — показывал Григорию другой студент, длинноволосый и рябой.

— Еще больного привезли! — раздавалось сообщение.

— Орлов, тащите его.

Григорий усердствовал — потный, ошеломленный, с мутными глазами и с тяжелым туманом в голове. Порой чувство личного бытия в нем совершенно исчезало под давлением впечатлений, переживаемых им. Зеленые пятна под мутными глазами на землистых лицах, кости, точно обточенные болезнью, липкая, пахучая кожа, страшные судороги едва живых тел — все это сжимало сердце тоской и вызывало тошноту.

Несколько раз в коридоре барака он мельком видел жену; она похудела, и лицо у нее было серое и растерянное. Он охрипшим голосом спросил ее:

— Ну, что?

Она слабо улыбнулась в ответ ему и молча исчезла.

Григория кольнула совершенно непривычная ему мысль: а, пожалуй, он напрасно втиснул сюда, в такую пакостную работу, свою бабу! Захворает она... И, встретив ее еще раз, он строго крикнул:

— Смотри, чаще руки-то мой, — берегись!

— А то что будет? — задорно спросила она, оскалив свои мелкие белые зубы.

Это разозлило его. Вот нашла место смешкам, дура! И до чего они подлы, эти бабы! Но сказать ей он ничего не успел: поймав его сердитый взгляд, Матрена быстро ушла в женское отделение.

А он через минуту уже нес знакомого полицейского в мертвецкую. Полицейский тихо покачивался на посылках, уставившись в ясное и жаркое небо стеклянными глазами из-под искривленных век. Григорий смотрел на него с тупым ужасом в сердце: третьего дня он этого полицейского видел на посту и даже ругнул его, проходя мимо, — у них были маленькие счеты между собой. А теперь вот этот человек, такой здоровяк и злючка, лежит мертвый, обезображенный, скорченный судорогами.

Орлов чувствовал, что это нехорошо, — зачем и па свет родиться, если можно в один день от такой поганой болезни умереть? Он смотрел сверху вниз на полицейского и жалел его.

Но вдруг согнутая левая рука трупа медленно пошевелилась и выпрямилась, а левая сторона искривленного рта, раньше полуоткрытая, закрылась.

— Стой! Пронип... — захрипел Орлов, ставя носилки на землю. — Жив! — шепотом заявил он служителю, который нес с ним труп.

Тот обернулся, пристально взглянул на покойника и с сердцем сказал Орлову:

— Чего врешь? Алл не понимаешь, что это он для гроба расправляется? Айда, песп!

— Да ведь шевелится, — трепеща от ужаса, протестовал Орлов.

— Неси знай, чудака человек! Что ты, слов не понимаешь? Говорю: выправляется, — ну, значит, шевелится. Эта необразованность твоя, смотри, до греха тебя может довести... Жив! Разве можно про мертвый труп говорить такие речи? Это, брат, бунт... Понимаешь? Молчи, никому ни слова насчет того, что они шевелятся, — они все так. А то свинья — борову, а боров — всему городу, ну и бунт — живых хоронят! Придет сюда народ и разнесет нас вдребезги. И тебе будет на калачи. Понял? Сваливай налево.

Спокойный голос служителя, его неторопливая походка действовали на Григория отрезвляюще.

— Ты, брат, только духом не падай — привыкнешь. Здесь хорошо. Харч, обращение и всякое другое — все в аккурате. Все, брат, мертвецами будем; это самое обыкновенное дело. А пока что, — живи знай, не робей только — главная причина! Водку пьешь?

— Пью, — сказал Орлов.

— Ну вот. Вон тут в ямке у меня бутылочка есть на всякий случай, айда-ка, проглотим несколько.

Они подошли к ямке за углом барака, выпили, и Пронип, налив на сахар мятных капель, подал его Орлову, со словами:

— Ешь, а то пахнуть водкой будешь. Здесь насчет водки — строго. Потому вредно пить ее!

— А ты привык тут? — спросил у него Григорий.

— Я — спервоначалу. При мне тут народу перемерло — сотни, прямо сказать. Житье здесь беспокойное,

а — хорошее жите, ежели говорить правду. Божье дело. Вроде как на войне... ты про санитаров и сестер милосердия слышал? Я в турецкую кампанию посмотрелся на них. Под Ардаганом, под Карсом был. Ну, а это, брат, чище нас, солдат, люди. Мы воюем, ружье у нас есть, пули, штык; а они — безо всего под пулями, как в зеленом саду, гуляют. Наш, турка — берут и тащат на перевязочный. А вокруг них — ж-жи! ти-ю! фить! Иногда ему, санитару-то, в затылок — чик! — и готово!..

После этого разговора и здорового глотка водки Орлов несколько прибодрился.

«Взялся за гуж, так не бай, что не дюж», — усовещивал он себя, растирая ноги больного. За его спиной кто-то жалобно стонущим голосом просил:

— Пи-ить! Ой, голу-убчики-и!

А кто-то гоготал:

— Ого-го-го! Погорячей!.. Го-го-сподии доктор, помогаст! Вот вам Христос, — чувствую! Разрешите еще подлить кипяточку!

— Дайте вина! — кричал доктор Ващенко.

Орлов работал и видел, что, в сущности, все это совсем уж не так погано и страшно, как казалось ему недавно, и что тут — не хаос, а правильно действует большая, разумная сила. Но, вспоминая о полицейском, он все-таки вздрагивал и искоса посматривал в окно барака на двор. Он верил, что полицейский мертв, но было что-то неустойчивое в этой вере. А вдруг выскочит и крикнет? И ему вспомнилось, как кто-то рассказывал: однажды холерные мертвецы выскочили из гробов и разбежались.

Он вспоминал о жене: каково ей? Иногда к этому примешивалось мимолетное желание улучшить минутку и посмотреть на Матрону. Но вслед за этим Орлов как бы конфузился своего желания и восклицал про себя: «Повертись-ка вот этак-то, толстомясая! Побойсь подсохнешь... Лишишься своих намеренств...»

Он всегда подозревал, что у жены его имеются в душе намерения, оскорбительные для него как мужа, а иногда, восходя в своих подозрениях до некоторого объективизма, даже признавал, что эти намерения имеют основание. Жизнь у нее желтенькая, от такой жизни всякая дрянь в голову ползет. Этот объективизм обыкновенно перерождал, на время, его подозрения в

уверенность. Потом он спрашивал себя: а зачем ему надо было лезть из своего подвала в этот котел кипящий? И недоумевал. Но все эти думы вращались где-то глубоко в нем, они были как бы отгорожены от прямого влияния на его работу тем напряженным вниманием, с которым он относился к действиям врачебного персонала. Он никогда не видал, чтоб в каком-нибудь труде люди убивались так, как они убиваются тут, и не раз подумал, глядя на утомленные лица докторов и студентов, что все эти люди — воистину не даром деньги получают!

Сменясь с дежурства, усталый, Орлов вышел на двор барака и прилег у стены его под окном аптеки. В голове у него шумело, под ложечкой сосало, ноги болели ноющей болью. Ни о чем не думалось и ничего не хотелось, он вытянулся на дерне, посмотрел в небо, где стояли пышные облака, богато украшенные красками заката, и уснул как убитый.

Приснилось ему, что будто бы он с женой в гостях у доктора в громадной комнате, уставленной по стенам венскими стульями. На стульях сидят все больные из барака. Доктор с Матреной ходят «русскую» среди зала, а он сам играет на гармонике и хохочет, потому что длинные ноги доктора совсем не гнутся, и доктор, важный, падутый, ходит по залу за Матреной — точно цапля по болоту. И все больные тоже хохочут, раскачиваясь на стульях.

Вдруг в дверях является полицейский.

— Ага! — мрачно и грозно кричит он. — Ты, Гришка, думал, что я умер? На гармонике играешь, а меня в мертвецкую стащил! Ну-ка пойдем со мной! Вставай!

Охваченный дрожью, облитый потом, Орлов быстро поднялся и сел на земле. Против него сидел на корточках доктор Ващенко и укоризненно говорил ему:

— Какой же ты, друже, санитар, если спишь на земле, да еще и брюхом на нее лег, а? А ну ты простудишь себе брюхо, — ведь сляжешь на койку, да еще, чего доброго, и помрешь... Это, друже, не годится, — для сна у тебя есть место в бараке. Тебе не сказали про это. Да ты и потный, и знобит тебя. Ну-ка, иди, я тебе кое-чего дам.

— Я с устатка, — пробормотал Орлов.

— Тем хуже. Надо беречь себя, — время опасное, а ты человек нужный.

Орлов молча прошел за доктором по коридору барака, молча выпил какое-то лекарство из одной рюмки, выпил еще из другой, сморщился и плюнул.

— Ну, а теперь иди спи! — И доктор начал переставлять по полу коридора свои длинные, тонкие ноги.

Орлов посмотрел ему вслед и вдруг, широко улыбувшись, побежал за ним.

— Покорно благодарю, доктор!

— За что? — остановился тот.

— За заботу. Теперь я буду стараться для вас во всю силу! Потому приятно мне ваше беспокойство... и... что я пужный человек... и вообще пок-корнейше благодарен!

Доктор пристально и с удивлением смотрел на взволнованное какой-то радостью лицо барачного служителя и тоже улыбулся.

— Чудачина ты! А впрочем, ничего, — это все славно у тебя выходит, искренне! Валяй, старайся во всю; это не для меня будет, а для больных. Надо нам человека от болезни отбить, вырвать его из ее лап — понимаешь? Ну, вот и давай стараться во всю силу победить болезнь. А пока — спи иди!

Вскоре Орлов лежал на койке и засыпал с приятным ощущением ласкающей теплоты в животе. Ему было радостно, и он был горд своим таким простым разговором с доктором.

Заснул он, сожалея, что жена не слыхала этого разговора. Рассказать ей завтра... Не поверит, чертова перепица.

— Чай пить иди, Гриша, — разбудила его поутру жена.

Он приподнял голову и посмотрел на нее. Она улыбалась ему. Гладко причесанная, в своем белом балахоне, она была такая чистенькая, свежая.

Ему было приятно видеть ее такой, и в то же время он подумал, что ведь и другие мужчины в бараке ее видят такой же.

— Это какой же чай пить? У меня свой чай есть, — куда мне идти? — хмуро сказал он.

— А ты иди со мной попей, — предложила она, глядя на него ласкающими глазами.

Григорий отвел свои глаза в сторону и сказал, что придет.

Она ушла, а он снова лег на койку и задумался.

«Ишь ты какая! Чай пить зовет, ласковая... Похудела, однако же, за день-то». Ему стало жалко ее и захотелось сделать для жены приятное. Купить к чаю чего-нибудь сладкого, что ли? Но, умываясь, он уже отбросил эту мысль, — зачем бабу баловать? Живет и так!

Чай пили в маленькой светлой каморке с двумя окнами, выходившими в поле, залитое золотистым сиянием утреннего солнца. На дворе, под окнами, еще блестела роса, вдали, на горизонте, в туманно-розоватой дымке утра, стояли деревья почтового тракта. Небо было чисто, с поля веяло в окна запахом сырой травы и земли.

Стол стоял в простенке между окон, за ним сидело трое: Григорий и Матрена с товаркой — пожилой, высокой и худой женщиной с рябым лицом и добрыми серыми глазами. Звали ее Фелицата Егоровна, она была девицей, дочерью коллежского асессора, и не могла пить чай на воде из больничного куба, а всегда кипятила самовар свой собственный. Объявив все это Орлову надорванным голосом, она гостеприимно предложила ему сесть под окном и дышать вволю «настоящим небесным воздухом», а затем куда-то исчезла.

— Что, устала вчера? — спросил Орлов у жены.

— Просто страсть как! — живо ответила Матрена. — Ног под собой не слышу, головонька кружится, слов не понимаю, того и гляди, пластом лягу. Еле-еле до смены дотянула... Все молплась, — помоги, господи, думаю.

— А боишься?

— Покойников — боюсь. Ты знаешь, — она наклонилась к мужу и со страхом шепнула ему, — они после смерти шевелятся — ей богу!

— Это я ви-идал! — скептически усмехнулся Григорий. — Мне вчера Назаров-полицейский и после смерти своей чуть-чуть плюху не влепил. Несу я его в мертвецкую, а он ка-ак размахнется левой рукой... я едва увернулся... вот как! — Он приврал пемпного, но это вышло само собой, помимо его желания.

Очень уж ему нравилось чаепитие в светлой, чистой комнате с окнами в безграничный простор зеленого поля и голубого неба. И еще что-то ему нравилось — не то жена, не то он сам. В конце концов — ему хотелось

показать себя с самой лучшей стороны, быть героем наступающего дня.

— Примусь я тут работать — даже побу жарко станет, вот как! Потому есть причина у меня на это. Во-первых, люди здесь, я тебе скажу, — не существующие на земле!

Он рассказал свой разговор с доктором, и так как он снова, незаметно для себя, несколько приврал, — это обстоятельство еще более усилило его настрояние.

— Во-вторых, — работа сама! Это, брат, великое дело, вроде войны, например. Холера и люди — кто кого? Тут ум требуется и чтобы все было в аккурате. Что такое холера? Это надо понять, и валяй ее тем, что она не терпит! Мне доктор Ващенко говорит: «Ты, говорит, Орлов, человек в этом деле нужней! Не робей, говорит, и гони ее из ног в брюхо больного, а там, говорит, я ее кисленьким и прищемлю. Тут ей и конец, а человек-то ожил и весь век нас с тобой благодарить должен, потому кто его у смерти отнял? Мы!» Орлов гордо выпятил грудь, глядя на жену возбужденными глазами.

Она задумчиво улыбалась ему в лицо, он был красив и очень походил теперь на того Гришу, каким она видела его когда-то давно, еще до свадьбы.

— У нас в отделении тоже все такие работающие и добрые. Докторша то-олстая, в очках. Хорошие люди, говорят с тобой таково просто, и все у них понимаешь.

— Так ты, значит, ничего, довольна? — спросил Григорий, несколько остыв от возбуждения.

— Я-то? Господи, ты посуди: я получаю двенадцать рублей, да ты двадцать — тридцать два рубля в месяц! На готовом на всем! Это, сжеле до зимы хворать будут люди, сколько мы накопим?.. А там, бог даст, и поднимемся из подвала-то...

— Н-да, это тоже важная статья... — задумчиво сказал Орлов и, помолчав, воскликнул с пафосом надежды, ударив жепу по плечу: — Эх, Матрешка, али нам солнце не улыбнется? Не робей знай!

Она вся загорелась.

— Только бы ты стерпел...

— А про это — молчок! По коже — шило, по жизни — рыло... Иная жизнь, иное поведение мое будет.

— Господи, кабы это случилось! — глубоко вздохнула женщина.

— Ну и цыц!

— Гришешька!

Они расстались с какими-то новыми чувствами друг к другу, воодушевленные надеждами, готовые работать до изнеможения, бодрые, веселые.

Прошло дня три-четыре, и Орлов заслужил несколько лестных отзывов о себе, как о сметливом и расторопном малом, и вместе с этим заметил, что Пронин и другие служители в бараке стали относиться к нему с завистью, с желанием пасолить. Он насторожился, в нем тоже возникла злоба против толсторожего Пронина, с которым он не прочь был вести дружбу и беседовать «по душе». В то же время ему делалось как-то горько при виде явного желания товарищей по работе нанести ему какой-либо вред.

«Эх, злыдари!» — восклицал он про себя и тихонько поскрипывал зубами, стараясь не упустить удобного случая заплатить врагам «за лычко — ремешком». Невольно мысль его останавливалась на жене — с той можно говорить про все, она его успехам завидовать не будет и, как Пронин, карболкой сапог ему не сожжет.

Все дни работы были такие же бурные и кипучие, как первый, но Григорий уже не так уставал, ибо тратил свою энергию с каждым днем более сознательно. Он научился распознавать запахи лекарств и, выделив из них запах эфира, потихоньку, когда удавалось, с наслаждением пюхал его, заметив, что вдыхание эфира действует почти так же приятно, как добрая рюмка водки. С полуслова понимая приказания медицинского персонала, всегда добрый и разговорчивый, умевший развлекать больных, он все более и более правился докторам и студентам, и вот, под влиянием совокупности всех впечатлений новой формы бытия, у него образовалось странное, повышенное настроение. Он чувствовал себя человеком особых свойств. И в нем забилося желание сделать что-то такое, что обратило бы на него внимание всех, всех поразило бы. Это было своеобразное честолюбие существа, которое вдруг признало себя человеком и, еще не уверенное в этом новом для него факте, хотело подтвердить его чем-либо для себя и других; это было честолюбие, постепенно перерождавшееся в жажду бескорыстного подвига.

Из такого побуждения Орлов совершал разные рискованные вещи, вроде того, что единолично, не ожидая помощи товарищей и подрываясь, тащил коренастого

больного с койки в ванну, ухаживал за самыми грязными больными, относился с каким-то ухарством к возможности заражения, а к мертвым — с простотой, порою переходившей в цинизм. Но все это не удовлетворяло его: ему хотелось чего-то более крупного, это желание все разгоралось в нем, мучило его и наконец доводило до тоски. Тогда он изливал душу жене, — потому что больше было некому.

Однажды вечером, сменившись с дежурства, попив чаю, супруги вышли в поле. Барак стоял далеко за городом, среди длинной, зеленой равнины, с одной стороны ограниченной темной полосой леса, с другой — линией городских зданий; на севере поле уходило вдаль и там, зеленое, сливалось с мутно-голубым горизонтом; на юге его обрезывал крутой обрыв к реке, а по обрыву шел тракт и стояли на равном расстоянии друг от друга старые, ветвистые деревья. Заходило солнце, кресты городских церквей, возвышаясь над темной зеленью садов, пылали в небе, отражая снопы золотых лучей, на стеклах окон крайних домов города тоже отражалось красное пламя заката. Где-то играла музыка; из оврага, густо поросшего ельником, веяло смолистым запахом; лес расстилал в воздухе свой сложный, сочный аромат; легкие душистые волны теплого ветра ласково плыли к городу; в поле, пустынном и широком, было так славно, тихо и сладко-печально.

Орловы шли по траве молча, с удовольствием вдыхая чистый воздух вместо барачных запахов.

— Где это музыка играет, в городе или в лагерях? — тихонько спросила Матрена у задумавшегося мужа.

Она не любила видеть его думающим — он казался чужим ей и далеким от нее в эти минуты. Последнее время им и так мало приходится бывать вместе, и тем более она дорожила этими моментами.

— Музыка? — переспросил Григорий, точно освобождаясь от дремы. — А черт с ней, с этой музыкой! Ты бы послушала, какая в душе у меня музыка... вот это так!

— А что? — тревожно взглянув ему в глаза, спросила она.

— А я — не знаю что... Горит у меня душа... Хочется ей простора... чтобы мог я развернуться во всю мою силу... Эхма! силу я в себе чувствую — неоторимую! То есть если б эта, например, холера да преобра-

зплась в человека,— в богатыря... хоть в самого Илью Муромца,— сцепился бы я с ней! Иди на смертный бой! Ты сила, и я, Орлов, сила,— ну, кто кого? Придушил бы я ее и сам бы лег... Крест надо мной в поле и надпись: «Григорий Андреев Орлов... Освободил Россию от холеры». Больше ничего не надо...

Он говорил, и лицо его горело, а глаза сверкали.

— Силач ты мой! — ласково шепнула Матрена, прижимаясь к нему боком.

— Понимаешь... на сто пожей бросился бы я... Но чтобы с пользой! Чтоб от этого облегчение вышло жизни. Потому — вижу я людей: доктор Ващенко, студент Хохряков — работают они, даже удивление! Им бы давно надо умереть с устатка... Из-за денег, думаешь? Из-за денег так работать нельзя! У доктора — слава те господи! — есть-таки кое-что и еще чемпиоко... А старик захворал прошлый раз, так Ващенко за него четверо суток отбарабанил, даже домой не съездил за все время... Деньги тут ни при чем; тут жалость — причина. Жалко им людей — и не жалеют себя... Ради кого, спроси? Ради всякого... Ради Мишки Усова... Мишке место в каторге, потому — всякий знает, что Мишка вор, а может, хуже... Мишку лечат... Рады, когда он с койки встал, смеются... Вот и я хочу эту самую радость испытать... и чтобы было много ее — задохнуться бы мне в ней! Потому что смотреть на них, как они смеются от своей радости, — заюза мне. Взною весь и загорюсь. Эх ты... черт!

Орлов глубоко задумался.

Матрена молчала, но сердце у нее билось тревожно — ее пугало возбуждение мужа, в словах его она ясно чувствовала великую страсть его желания, непонятного ей, потому что она и не пыталась понять его. Ей был дорог и нужен муж, а не герой.

Подшли к краю оврага и сели рядом друг с другом. Снизу на них смотрели кудрявые вершины молодых березок, на дне оврага лежала сивеватая мгла, оттуда несло сыростью, гниющими листьями, хвоей. Порой тихо проносился ветер, ветки берез колыхались, колыхались и маленькие ели,— весь овраг наполнялся трепетным, боязливым шепотом, казалось, кто-то, нежно любимый и оберегаемый деревьями, заснул в овраге под их сенью и они чуть-чуть перешептываются, боясь

разбудить его. В городе вспыхивали огни, выделяясь на темном фоне садов, как цветы. Орловы сидели молча, — он задумчиво барабанил пальцами по своему колену, она поглядывала на него, тихонько вздыхая.

И вдруг, охватив его шею руками, положила на грудь ему голову, шепотом говоря:

— Голубчик ты мой, Гриша! Милый ты мой! Какой ты опять хороший ко мне стал, удалой ты мой! Ведь будто тогда... после свадьбы... живем мы с тобой... ни слова обидного ты мне не скажешь, разговоры все со мной говоришь, душу открываешь... не зыкаешь на меня.

— А ты соскучилась об этом? Я ни поколочу, если хочешь, — ласково пошутил Григорий, ощущая в душе прилив нежности и жалости к жене.

Он стал рукой тихо гладить ей голову, и ему нравилась эта ласка, — такая отеческая — ласка ребенку. Матреша в самом деле похожа была на ребенка; она взобралась к нему на колени и сжалась у него на груди в маленький, мягкий и теплый комочек.

— Милый мой! — шептала она.

Он глубоко вздохнул, и на язык ему сами собою потекли новые для него и жены его слова.

— Эх ты, кошечка! Видишь, как-никак, а нет друга ближе мужа. А ты все в сторону поровишь... Ведь ежели я иной раз обижал тебя — от тоски это! Жили в яме... Свету не видели, людей не знали. Выбрался из ямы и прозрел, — а до этого слепой был. Понимаю теперь, что жена, как-никак, первый в жизни друг. Потому люди — змеи, ежели правду сказать... Всё язву желают другому нанести... К примеру — Пропп, Васюков... Э, ну их к... Молчок, Мотря! Выправимся, не робей... Выйдем в люди и заживем с понятием... Ну? Чего ты, дуреха ты моя?

Она плакала сладкими слезами счастья и на вопрос его ответила поцелуями.

— Единственная ты моя! — шептал он и тоже целовал ее.

Оба они стирали поцелуями слезы друг друга и оба чувствовали их солоноватый вкус. И долго еще говорил Орлов новыми для него словами.

Уже совсем стемнело. Небо, пышно расцветшее бесчисленными роями звезд, смотрело на землю с торжественной грустью, в поле было тихо, точно в небе.

У них вошло в привычку пить чай вместе. На другое утро, после разговора в поле, Орлов явился в комнату жены чем-то сконфуженный и хмурый. Фелицата захворала, Матрена была одна в комнате и встретила мужа с сияющим лицом, но тотчас же потемнела и тревожно спросила у него:

— Что ты такой? Нездоровится?

— Нет, ничего,— сухо ответил он, садясь на стул.

— А что же? — добивалась Матрена.

— Не спалось. Все думал. Раскудахтались мы с тобой вчера, смякли... мне теперь стыдно себя... Ни к чему все это. Ваша сестра, в таких размах, норовит человека в руки взять... н-да... Только ты про это не мечтай — не удастся... Меня ты не обойдешь, я тебе не поддамся. Так и знай!

Он сказал все это очень впушительно, но на жену не смотрел. Матрена все время не отводила глаз от его лица, и губы ее странно искривились.

— Что же, ты каешься в том, что вчера таким мне близким был? — тихо спросила она.— Каешься, что целовал да ласкал меня? Это, что ли? Обидно мне это слышать... очень горько, рвешь ты мне сердце такими речами. Что тебе надо? Скучно тебе со мной,— не любая тебе, или что?

Она смотрела на него подозрительно, и в топе ее звучали и горечь и вызов мужу.

— Н-нет,— смущенно сказал Григорий,— я вообще... Жили мы с тобой... знаешь сама, что за жизнь! Вспомнить тошно. А вот теперь поднялись... и боязно чего-то. Все так скоро переменилось... И я сам себе как чужой, и ты другая будто бы. Это что такое? И что за этим будет?

— Что бог даст, Гриша! — серьезно сказала Матрена.— Ты только не кайся в том, что хорош вчера был.

— Ладно, брось... — все так же смущенно остановился Григорий.— Я, видишь ли, думаю, что все-таки ничего не выйдет у нас. И прежняя жизнь наша не цветиста, и теперешняя мне не по душе. И хоть не пью я, не дерусь с тобой, не ругаюсь...

Матрена судорожно засмеялась.

— Некогда тебе теперь заниматься-то всем этим.

— Напиться я всегда бы пашел время,— улыбнулся Орлов.— Не тянет,— вот диво! А потом мне вообще как-

то... не то совестно чего-то, не то боязно... — Он тряхнул головой и задумался.

— Господь тебя знает, что с тобой, — тяжело вздохнув, сказала Матрена. — Житье хорошее, хоть работы и много; доктора тебя любят, сам ты в аккурате себя держишь, — уж я не знаю что? Беспокойный ты очень.

— Это верно, беспокойный... Вот я думал почью: «Петр Иванович говорит: все люди равны друг другу, а я разве не человек, как все? Но, однако, доктор Ващенко получше меня, и Петр Иванович получше, и многие другие... Значит, они мне не ровня и я им не ровня, я это чувствую. Они вылечили Мишку Усова и рады... А я этого не понимаю. И вообще чему радоваться, коли человек выздоровел? Жизнь у него хуже холерной судороги, ежели говорить по правде. Они понимают это, а — рады... И я тоже хотел бы порадоваться, как они, а не могу... Потому что — чему же радоваться, опять-таки?»

— А они жалуют людей, — возразила Матрена. — У нас тоже... начнет поправляться больная, так, господи, что делается! А которая бедная идет на выписку, так ей и советов, и денег, и лекарств надают... Даже слеза меня прошибает... добрые люди!

— Вот ты говоришь — слеза... А меня удивление берет... Больше ничего. — Орлов повел плечами и потер себе голову, недоумевающе поглядев на жену.

У нее откуда-то явилось красноречие, и она с усердием начала доказывать мужу, что люди достойны жалости. Наклонясь к нему, глядя в лицо его ласкающими глазами, она долго говорила ему про людей и тяжесть жизни, а он смотрел на нее и думал:

«Ишь как говорит! Откуда у нее слова?»

— Ведь и сам ты жалостливый — говоришь, удушил бы холеру, ежели бы сила. А для чего? Тебе от того, что она явилась, даже лучше жить стало.

Орлов вдруг расхохотался.

— А ведь верно! И впрямь лучше! Ах ты, дуи се горой! Люди мрут, а мне от этого жить лучше, а?.. Вот так жизнь! Тьфу!

Он встал и, смеясь, ушел на дежурство. Когда он шел по коридору, у него вдруг явилось сожаление о том, что, кроме него, никто не слышал речей Матрены. «Ловко говорила! Баба, баба, а тоже понимает кое-что».

И, охваченный приятным чувством, он вошел в свое отделение навстречу хрипам и столам больных.

Матрена, в свою очередь, всячески старалась расширить свое возрастающее значение в жизни мужа. Трудовая, бойкая жизнь сильно приподняла ее самооценку. Она не думала, не рассуждала, но, вспоминая свою прежнюю жизнь в подвале, в тесном кругу забот о муже и хозяйстве, невольно сравнивала прошлое с настоящим, и мрачные картины подвального существования постепенно отходили все далее и далее от нее. Барачное начальство любило ее за сметливость и умение работать, все относилось к ней ласково, в ней видели человека, это было ново для нее, оживляло ее...

Однажды, во время ночного дежурства, толстая докторша начала расспрашивать ее об ее жизни, и Матрена, охотно и открыто рассказывая ей про свою жизнь, вдруг замолчала, улыбаясь.

— Ты что смеешься? — спросила докторша.

— Да так... очень уж плохо жила я... и ведь, поверьте ли, милая моя барыня, — не понимала я этого, вот до сего часу не понимала, как плохо.

После этого смотра прошлому в душе Орловой родилось странное чувство к мужу, — она все так же любила его, как и раньше, — слепой любовью самки, но ей стало казаться, как будто Григорий — должник ее. Порой она, говоря с ним, принимала тон покровительственный, ибо он часто возбуждал в ней жалость своими беспокойными речами. Но все-таки иногда ее охватывало сомнение в возможности тихой и мирной жизни с мужем, хотя она верила, что Григорий остепенится и погаснет в нем его тоска.

Роковым образом они должны были сблизиться друг с другом, и — оба молодые, трудоспособные, сильные — зажали бы серой жизнью полусытой бедности, кулацкой жизнью, всецело поглощенной погоней за грошом, но от этого конца их спасло то, что Гришка называл своим «беспокойством в сердце» и что не могло помириться с буднями.

Утром хмурого сентябрьского дня на двор барака въехала фура, и Прошин вынул из нее маленького мальчика, перепачканного красками, костлявого, желтого, едва дышавшего.

— Опять из дома Петунникова, с Мокрой улицы, — сообщил возница на вопрос, откуда больной.

— Чирик! — огорченно вскричал Орлов, — ах ты, господи! Сенька! Чиж! Ты меня узнаешь?

— У...узнал, — с усилием сказал Чижик, лежа на посылках и медленно заводя глаза под лоб, чтобы видеть Орлова, который шел у него в головах и склонился над ним.

— Ах ты, — веселая птица! Как же это ты сбредил? — спрашивал Орлов. Он был странно встревожен видом этого мальчугана, измученного болезнью. — Мальчишку-то за что? — воплотил он в один вопрос свои ощущения, печально качнув головой.

Чижик молчал и пожимался.

— Холодно, — сказал он, когда, положив на койку, стали снимать с него покрашенные всеми красками лохмотья.

— А вот мы тебя сейчас в горячую воду пустим, — обещал Орлов. — И вылечим.

Чижик потряс головенкой и зашептал:

— Не вылечишь... Дяденька Григорий... поклонись-ка... ухом. Гармошку-то я стащил... Она — в дровянике... Третьего дня в первый раз тронул после того, как украл. А-ах какая! Спрятал ее, а тут и брюхо заболело... Вот... Значит, за грех это... Она под лестницей на степке висит... дровами я ее заложил... Вот... Ты, дяденька Григорий, отдай ее... У гармониста сестра есть... Спрашивала... От-да-ай!.. — Он застонал и начал корчиться в судорогах.

С ним сделали все, что могли, но истощенное, худое тельце некрепко держало в себе жизнь, и вечером Орлов нес его на посылках в мертвецкую. Нес и чувствовал себя так, точно его обидели.

В мертвецкой Орлов попробовал расправить тело Чижика, это ему не удалось. Орлов ушел убитый, хмурый, унося с собой образ изувеченного страшною болезнью веселого мальчика.

Его охватило расслабляющее сознание своего беспомощия перед смертью. Сколько он хлопотал около Чижика, как ревностно трудился над ним доктор — умер мальчик! Обидно... Вот и его, Орлова, схватит однажды, скрючит, и кончено. Ему стало страшно, его охватило одиночество. Поговорить бы с умным человеком насчет всего этого! Он не раз пробовал завести разговор с

кем-либо из студентов, но никто не имел времени для философии. Приходилось идти к жене и говорить с ней. Он пошел, хмурый и печальный.

Она мылась в углу комнаты, но самовар уже стоял на столе, наполняя воздух паром и шипением.

Григорий молча сел, глядя на голые, круглые плечи жены. Самовар бурлил, плескалась вода, Матрена фыркала, по коридору взад и вперед быстро бегали служители, Орлов по походке старался определить, кто идет.

Вдруг ему представилось, что плечи Матрены так же холодны и покрыты таким же липким потом, как у Чпжика, когда тот корчился в судорогах на больничной койке. Он вздрогнул и глухо сказал:

— Умер Сенька-то...

— Умер?! Царство небесное повопребставленному отроку Семену! — молитвенно сказала Матрена и вслед за тем начала свирепо плевать — мыло попало в рот.

— Жалко мне его, — вздохнул Григорий.

— Озорник больно был.

— Умер и — шабаш! Не твое теперь дело, каков он был... А что умер — это жалко. Бойкий был. Гармонику... Гм! Ловкий мальчонка... Я иной раз смотрел на него и думал: взять его к себе вроде как в ученики... Сирота... привык бы и стал заместо сына нам... Здоровенная ты, а не родишь... Родила один раз, да и кончено. Эх ты! Были бы у нас пскуны этакие, глядишь, не так скучно жилось бы нам... А то вот живи, работай... А для чего? Для пропитання своего и твоего... А куда мы... куда нам пропитанье? Чтобы работать... Колесо бессмысленное выходит... А ежели были бы дети — другой разговор. И-да...

Он говорил, низко опустив голову, тоном грусти и недовольства. Матрена стояла перед ним и слушала, постепенно бледнея.

— Я здоровый, ты здоровая, а детей нет... Почему? И-да... Думаешь, думаешь этак-то п... запьешь.

— Врешь! — твердо и громко сказала Матрена. — Врешь ты! Не смей ты мне этих подлых твоих слов говорить... слышишь? Не смей! Пьешь ты — так себе, из баловства, потому что сдержатъ себя не можешь, а бездетство мое ни при чем тут; врешь!

Григорий был ошеломлен. Он откинулся на спинку стула, взглянул на жену и не узнал ее. Никогда раньше он не видал ее такою разъяренной, никогда не смот-

рела она на него такими безжалостно злыми глазами и не говорила с такой силой.

— Ну, ну?! — вызывающе произнес Григорий, вцепившись руками в сиденье стула. — Ну-ка, говори еще!

— И скажу! Не сказала бы, по укора твоего такого не могу снести! Не рожу я тебе? И не буду! Не могу уж... Не рожу!.. — рыдание слышалось в ее крике.

— Не ори, — предупредил ее муж.

— Почему не рожу, а? Ну-ка вспомни, сколько ты меня бил? Сколько пинков в бока мне насыпал?.. Сосчитай-ка! Как ты мучил, истязал меня? Знаешь ли ты, сколько крови из меня лилось после мучительства твоего? По шее рубаха-то в крови бывала! Вот почему не рожу, муж милый! Как же ты можешь упреки мне делать за это, а? Как же хане твоей не совестно смотреть-то на меня?.. Ведь убийца ты! Понимаешь ли — убийца! Убивал ты, сам убивал детей-то своих! а теперь меня упрекаешь за то, что не рожу... Все я от тебя спасала, все я тебе прощала, — этаких слов вовеки не прощу! Умирать буду — вспомню! Неужто ты не понимаешь, что сам виноват, что извел ты меня? Неужто я не как все женщины — не хочу детей! Многие ночи я, не спавши, господа бога молила сохранить дитя в утробе моей от тебя, убийца... Вижу дитя чужое — горечью захлебываюсь от зависти да жалости к себе... Мне бы... Царица небесная!.. Семку этого... тихонько ласкала... Что я? Господи! Бесплодная...

Она стала задыхаться. Слова прыгали из ее рта без смысла и связи.

Лицо у нее было в пятнах, она дрожала и царапала себе шею, — в горле ее клокотали рыдания. Крепко держась за стул, Григорий, бледный, подавленный, сидел против нее и широко раскрытыми глазами смотрел на эту, чужую ему женщину. И боялся ее — боялся, что она вцепится ему в горло и задушит его. Именно это обещали ему ее страшные, горящие злобой глаза. Она была теперь вдвое сильнее его, он это чувствовал и трусил; не мог встать и ударить ее, как сделал бы, если бы не понимал, что она переродилась, впитав великую силу откуда-то.

— Душу ты мне задел... Велик твой грех передо мной! Терпела я, молчала... люблю тебя потому что — но не могу я попрека такого снести!.. Сил уж нет...

Богоданный ты мой! будь ты за слова твои трижды проклят...

— Молчать! — рявкнул Гришка, оскалив зубы.

— Вы, скандалисты! Забыли, где вы?

У Григория был туман в глазах. Не видя, кто стоит в двери, выругался скверными словами, оттолкнул человека в сторону и убежал в поле. А Матрена, постояв среди комнаты с минуту, шатаясь, точно слепая, протянув руки вперед, подошла к койке и со стоном свалилась на нее.

Темнело, в окна комнаты с неба, из сизых рваных туч, заглядывала любопытно золотистая луна. Но вскоре по стеклам окон и стене барака зашуршал мелкий частый дождь — предвестник бесконечных, наводящих тоску дождей осени.

Маятник часов равномерно отбивал секунды, неустанно били в стекла капли дождя. Один за другим шли часы, и дождь все шел, а на койке неподвижно лежала женщина, глядя воспаленными глазами в потолок; зубы ее крепко стиснуты, скулы выдались. Дождь все шуршал о стены и стекла; казалось, он настойчиво шепчет что-то утомительно однообразное, хочет убедить кого-то в чем-то, но не имеет достаточно страсти для того, чтобы сделать это быстро, красиво, и надеется достичь своей цели мучительной, бесконечной, бесцветной проповедью, в которой нет искреннего пафоса веры.

Дождь шел и тогда, когда небо покрылось предрасветной серостью, обещающей ненастный день. Матрена не могла уснуть. В монотонном шуме дождя она слышала тоскливый и пугавший ее вопрос:

«Что теперь будет?»

Ответ вспыхивал пред нею в образе пьяного мужа. Ей было трудно расстаться с мечтой о спокойной, любовной жизни, она сжилась с этой мечтой и гнала прочь угрожающее предчувствие. И в то же время у нее мелькало сознание, что, если зайдет Григорий, она уже не сможет жить с ним. Она видела его другим, сама стала другая, прежняя жизнь возбуждала в ней боязнь и отвращение — чувства новые, ранее неведомые ей. Но она была женщина и — стала обвинять себя за размолвку с мужем.

— И как это все вышло?.. О господи!.. Точно я с крючка сорвалась...

Рассвело. В поле клубился тяжелый туман, и неба не видно было сквозь его серую мглу.

— Орлова! Дежурить...

Повинуясь зову, брошенному в дверь ее комнаты, она поднялась с постели, наскоро умылась и пошла в барак, чувствуя себя бессильной, полубольной. В бараке она вызвала общее недоумение вялостью и угрюмым лицом с погасшими глазами.

— Вам нездоровится? — спросила ее докторша.

— Ничего...

— Да вы скажите, не стесняясь! Ведь можно заметить вас...

Матрене стало совестно, ей не хотелось выдавать боли и страха пред этим хорошим, но все-таки чужим ей человеком. И, почерпнув из глубины своей измученной души остаток бодрости, она, усмехаясь, сказала докторше:

— Ничего! С мужем немножко повздорила... Пройдет это... не в первый раз...

— Бедная вы! — вздохнула докторша, зная ее жизнь.

Матрене хотелось ткнуться головой в ее колени и зареветь... Но она только плотно сжала губы да провела рукой по горлу, отталкивая готовое вырваться рыдание назад в грудь.

Сменившись с дежурства, она вошла в свою комнату и посмотрела в окно. По полю к барaku двигалась фура — должно быть, везли больного. Мелкий дождь сыпался... Больше ничего не было. Матрена отвернулась от окна и, тяжело вздохнув, села за стол, занятая вопросом:

«Что теперь будет?»

Долго сидела она в тяжелой полудремоте, каждый раз шум шагов в коридоре заставлял ее вздрагивать и, привстав со стула, смотреть на дверь...

Но когда наконец эта дверь открылась и вошел Григорий, она не вздрогнула и не встала, ибо почувствовала себя так, точно осенние тучи с неба вдруг опустились на нее всей своей тяжестью.

А Григорий остановился у порога, бросил на пол мокрый картуз и, громко топая ногами, пошел к жене. С него текла вода. Лицо у него было красное, глаза тусклые и губы растягивались в широкую, глупую улыбку. Он шел, и Матрена слышала, как в сапогах

его хлюпала вода. Он был жалок, таким она не ждала его.

— Хорош! — сказала она.

Григорий глупо мотнул головой и спросил:

— Хочешь, в ноги поклонюсь?

Она молчала.

— Не хочешь? Твое дело... А я все думал: виноват я пред тобой или нет? Выходит — виноват. Вот я и говорю: хочешь, в и-ноги поклонюсь?

Она молчала, вдыхая запах водки, исходивший от него, душу ее разъедало горькое чувство.

— Ты вот что — ты не кобенься! Пользуйся, пока я смиренный, — повышая голос, говорил Григорий. — Ну, прощаешь?

— Пьяный ты, — сказала Матрена, вздыхая. — Иди-ка спать...

— Врешь, я не пьяный, а — устал я. Я все ходил и думал... Я, брат, много думал... о! ты смотри!..

Он погрозил ей пальцем, криво усмехаясь.

— Что молчишь?

— Не могу я с тобой говорить.

— Не можешь? Почему?

Он вдруг весь вспыхнул, и голос у него стал тверже.

— Ты вчера накричала на меня тут, палаяла... ну, а я вот у тебя прощенья прошу. Поимай!

Он сказал это злое, у него вздрагивали губы и ноздри раздувались. Матрена знала, что это значит, и пред ней в ярких образах воскресало прежнее: подвал, субботние сражения, тоска и духота их жизни.

— Понимаю я! — резко сказала она. — Вижу, — опять ты озвереешь теперь... эх ты!

— Озверею? Это к делу не идет... Я говорю: простишь? Ты что думаешь? Нужно мне оно, твоё прощенье? Обойдусь и без него, а хочу вот, чтобы ты меня простила... Поняла?

— Уйди, Григорий! — тоскливо воскликнула женщина, отвертываясь от него.

— Уйти? — зло засмеялся Григорий. — Уйти, а ты чтобы осталась на воле? Ну, не-ет! А ты это видела?

Он схватил ее за плечо, рванул к себе и поднес к ее лицу нож — короткий, толстый и острый кусок ржавого железа.

— Эх, кабы ты меня зарезал, — глубоко вздохнув, сказала Матрена и, освободясь из-под его руки, вновь

отвернулась от него. Тогда и он отшатнулся, пораженный не ее словами, а тоном их. Он слышал из ее уст эти слова, не раз слышал, но так — она никогда не говорила их. Минуту назад ему было бы легко ударить ее, но теперь он не мог и не хотел этого. Почти испуганный ее равнодушием, он бросил нож на стол и с тупой злобой спросил:

— Дьявол! Чего тебе нужно?

— Ничего мне не надо! — задыхаясь, крикнула Матрена. — Ты что? Убить пришел? Ну и убей.

Орлов смотрел на нее и молчал, не зная, что ему делать. Он пришел с определенным намерением победить жену. Вчера, во время столкновения, она была сильнее его, он это чувствовал, и это унижало его в своих глазах. Непременно нужно было, чтобы она опять подчинилась ему, он твердо знал — нужно! Натура страстная, он много пережил и передумал за эти сутки и — темный человек — не умел разобраться в хаосе чувств, которые возбудила в нем жена брошенным ему правдивым обвинением. Он понимал, что это восстание против него, и принес с собой нож, чтоб испугать Матрену; он убил бы ее, если б она не так пассивно сопротивлялась его желанию подчинить ее. Но вот она была перед ним, беззащитная, убитая тоской и — все-таки сильнее его. Ему было обидно видеть это, и обида действовала на него отрезвляюще.

— Слунай! — сказал он, — ты не фордыбачь! Ты знаешь, я ведь и в самом деле — ахну вот тебя в бок — и шабан! И всей истории будет точка!.. Очень просто...

Почувствовав, что он говорит не то, что нужно, Орлов замолчал. Матрена не двигалась, отвернувшись от него. В ней бился этот несвязный вопрос:

«Что теперь будет?»

— Мотря! — тихо заговорил Григорий, опираясь на стол рукой и наклонясь к жене. — Али я впиоват, что... все не в порядке?..

Он покрутил головой, вздохнув.

— Так тошно! Ведь разве это жизнь? Ну, скажем, холерные, — что они? Разве они мне поддержка? Одни помрут, другие выздоровеют... а я опять должен буду жить. Как? Не жизнь — судорога... разве не обидно это? Ведь я все понимаю, только мне трудно сказать, что я не могу так жить... Их вопи лечат и всякое им внимание... а я здоровый, но ежели у меня душа болит, —

разве я их дешевле? Ты подумай — ведь я хуже холерного... у меня в сердце судороги! А ты на меня кричишь!.. Ты думаешь, я — зверь? Пьяница — и все тут? Эх ты... баба ты!

Он говорил тихо и вразумительно, но она плохо слышала его речь, занятая строгим взглядом прошлого.

— Ты вот молчишь, — говорил Гришка, прислушиваясь, как в нем растет что-то новое и сильное. — А что ты молчишь? Чего ты хочешь?

— Ничего я от тебя не хочу! — воскликнула Матрена. — Что мучишь? Чего тебе надо?

— Чего! А того... чтобы, стало быть...

Но тут Орлов почувствовал, что не может сказать ей, чего именно ему нужно, — так сказать, чтоб все сразу было ясно и ему и ей. Он понял, что между ними образовалось что-то, чего уже не свяжешь никакими словами...

Тогда в нем вдруг вспыхнула дикая злоба. Он с размаха ударил жену кулаком по затылку и зверем зарычал:

— Ты что, ведьма, а? Ты что играешь? Убью!

Она от удара тынулась лицом в стол, но тотчас же вскочила на ноги и, глядя в лицо мужа взглядом ненависти, твердо, громко сказала:

— Бей!

— Цыц!

— Бей! Ну?

— Ах ты, дьявол!

— Нет уж, Григорий, будет! Не хочу я больше этого...

— Цыц!

— Не дам я тебе измываться надо мной...

Он заскрипел зубами и отступил от нее на шаг — быть может, для того, чтоб удобнее ударить ее.

Но в этот момент дверь отворилась, и на пороге явился доктор Ващенко.

— Эт-то что такое? Вы где, а? Вы что это тут разыгрываете?

Лицо у него было строгое, изумленное. Орлов ни-мало не смутился при виде его и даже поклонился ему, говоря:

— А так это... дезинфекция промежду мужем и женой...

И он судорожно усмехнулся в лицо доктору...

— Ты почему не явился на дежурство? — резко крикнул доктор, раздраженный усмешкой.

Гришка пожал плечами и спокойно объявил:

— Занят был... по своим делам...

— А скандалил тут вчера — кто?

— Мы...

— Вы? Очень хорошо... Вы ведете себя по-домашнему... без спроса шляетесь...

— Не крепостные потому что...

— Молчать! Кабак вы тут устроили... скоты! Я покажу вам, где вы...

Прилив дикой удали, страстного желания все опрокинуть, вырваться из гнетущей душу путаницы горячей волной охватил Гришку. Ему показалось, что вот сейчас он сделает что-то необыкновенное и сразу разрешит свою темную душу от пут, связавших ее. Он вздрогнул, почувствовал приятный холодок в сердце и, с какой-то кошачьей ужимкой повернувшись к доктору, сказал ему:

— Вы не беспокойте глотку, не орите... я знаю, где я, — в морпилье!

— Что-о? Как ты сказал? — нагнулся к нему пораженный доктор.

Гришка понял, что сказал дикое слово, но не охладел от этого, а еще более распалился.

— Ничего, сойдет! Скушаете... Матрена! Собирайся.

— Нет, голубчик, постой! Ты мне ответь... — с злобным спокойствием произнес доктор. — Я тебя, мерзавец, за это...

Гришка в упор смотрел на него и заговорил, чувствуя себя так, точно он прыгает куда-то и с каждым прыжком ему дышится все легче...

— Вы не кричите... не ругайтесь... Вы думаете, ежели холера, то вы и можете падо мной командовать. Напрасная мечта... Что вы лечите, так это даже и не пужно никому... А что я сказал — морилка, это, конечно, я дразнился... Но вы все-таки не очень орите...

— Нет, врешь! — спокойно сказал доктор. — Я тебя проучу... эй, подите сюда!

В коридоре уже столпились люди... Гришка прищурил глаза и сцепил зубы...

— Я не вру и не боюсь... а коли вам нужно проучить меня, то я для вашего удобства и еще скажу...

— Н-ну? Скажи...

— Я пойду в город и цыкну: «Ребята! А знаете, как холеру лечат?»

— Что-о? — широко раскрыл глаза доктор.

— Так тогда мы тут такую дезинфекцию с лиминацией...

— Что ты говоришь, черт тебя возьми! — глухо вскричал доктор. Раздражение уступило в нем место изумлению пред этим парнем, которого он знал как трудолюбивого и неглупого работника и который теперь, неизвестно зачем, бестолково и слепо лез в петлю...

— Что ты мелешь, дурак?

«Дурак!» — отозвалось эхом во всем существе Гришки. Он понял, что этот приговор справедлив, еще более обиделся.

— Что я говорю! Я знаю... Мне все равно... — говорил он, сверкая глазами. — Я так понимаю теперь, что нашему брату всегда все равно... и совсем напрасно стесняемся мы в наших чувствах... Матрена, собирайся!

— Я не пойду! — твердо заявила Матрена.

Доктор смотрел на них круглыми глазами и тер себе лоб, ничего не понимая.

— Ты... пьяный или сумасшедший человек! понимаешь ты, что делаешь?

Гришка не сдавался, не мог сдаться. И в ответ доктору он говорил иронически:

— А вы как понимаете? Вы-то что делаете? Дезинфекцию, ха, ха! Больных лечите... а здоровые умирают от тесноты жизни... Матрена! Башку разобью! Иди...

— Я с тобой не пойду!

Она была бледна, неестественно спокойна, глаза ее смотрели в лицо мужа твердо и холодно. Гришка, несмотря на весь свой геройский кураж, отвернулся от нее и, опустив голову, замолчал.

— Тьфу! — плюнул доктор. — Сам дьявол не разберет, что это такое... Ты! Пошел вон! Ступай и благодари, что я тебя не приструнил... тебя бы следовало под суд... болван! Пошел!

Григорий молча взглянул на доктора и опять пошел. Ему было бы лучше, если бы его побили или хоть отправили в полицию...

— Последний раз говорю — идешь ты? — снова спросил Гришка жену.

— Нет, не пойду, — ответила она и немножко согнулась, точно ожидая удара.

Гришка махнул рукой.

— Ну... черт вас всех возьми!.. Да и па кой дьявол вы пужны мне?

— Ты, дубина дикая,— урезонивающе пачал доктор.

— Не лайтесь! — крикнул Гришка.— Ну, шлюха проклятая,— ухожу я! Чай, не увидимся... а может, увидимся... это уж как я захочу! Но ежели увидимся — нехорошо тебе будет, так и знай!

И Орлов двинулся к двери.

— Прощай,— трагик! — сардонически сказал доктор, когда Гришка поравнялся с ним.

Григорий остановился и, подняв на доктора тоскливо сверкающие глаза, сдержанно и пегромко заявил:

— А вы меня не тропьте... не заводите пружину сначала... развернулась она, никого не задела... ну и ладно!

Он поднял с пола картуз, палепил его себе на голову, поежился и ушел, не взглянув на жену.

На нее пытливо смотрел доктор. Она стояла пред ним бледная. Доктор кивнул головой вслед Григорию и спросил:

— Что с ним?

— Не знаю...

— Гм... А куда он теперь?

— Пьянствовать! — твердо ответила Орлова.

Доктор повел бровями и ушел.

Матрена посмотрела в окно. От барака к городу в вечернем сумраке, под дождем и ветром быстро двигалась фигура мужчины. Одна, среди мокрого серого поля...

...Лицо Матрены Орловой побледнело еще более, она оборотилась в угол, стала на колени и пачала молиться, усердно отбивая земные поклоны, задыхаясь в страстном шепоте молитвы и растирая грудь и горло дрожащими от возбуждения руками.

Однажды я осматривал ремесленную школу в N. Моим чичероне был знакомый человек, один из основателей ее. Он водил меня по образцово устроенной школе и рассказывал:

— Как видите, мы можем похвалиться... чадо наше растет и развивается на славу. Учительский персонал на удивление подобранся. В сапожной и башмачной

мастерской, например, учительница — простая сапожница, баба, даже бабеночка, вкусная такая, шельма, по безупречнейшего поведения. Впрочем, это к черту... и-да. Так вот, эта бабочка — простая, говорю, сапожница, но — как она работает!.. как умело преподает свое ремесло, с какою любовью относится к ребятишкам — изумительно! Бесценная работница... работает за двенадцать рублей и квартиру при школе... и еще двух сирот содержит на свои убогие средства! Это, я вам скажу, пресинтересная фигура.

Он так усердно расхваливал сапожницу, что вызвал во мне желание познакомиться с ней.

Это скоро устроилось, и вот однажды Матрена Ивановна Орлова рассказывала мне свою печальную жизнь. Первое время после того, как она разошлась с мужем, он не давал ей покоя: приходил к ней пьяный, устраивал скандалы, подстерегал ее всюду и был нещадно. Она терпела.

Когда барак закрыли, докторша предложила Матрене Ивановне устроить ее при школе и оградить от мужа. И то и другое удалось, и Орлова зажила спокойно, трудовую жизнью; выучилась под руководством знакомых фельдшерниц грамоте, взяла себе на воспитание двух сирот из приюта — девочку и мальчика — и работает, довольная собой, с грустью и со страхом вспоминая свое прошлое. В воспитанниках своих она души не чает, значение своей деятельности понимает широко, относится к ней сознательно и среди заправил школы заслужила общее уважение к себе. Но она кашляет сухим, подозрительным кашлем, на впалых щеках ее горит зловещий румянец, в серых глазах ютится много грусти.

Мне удалось познакомиться и с Орловым. Я нашел его в одной из городских трущоб, и в два-три свидания мы с ним были друзьями. Повторив историю, рассказанную мне его женой, он задумался ненадолго и потом сказал:

— Вот так-то, значит, Максим Савватейч, приподняло меня, да и шлепнуло. Так я никакого геройства и не совершил. А и по сию пору хочется мне отличиться на чем-нибудь... Раздробить бы всю землю в пыль или собрать шайку, товарищей! Или вообще что-нибудь этакое, чтобы стать выше всех людей и плюнуть на них с высоты... И сказать им: «Ах вы, гады! Зачем живете?

Как живете? Жулье вы лицемерное и больше ничего!» А потом вниз тормашками с высоты и — вдребезги! Н-да-а! А-ах, как скучно и тесно жить!.. Думал я, сбросив с шеи Матрешку: «Н-ну, Гриня, плавай свободно, якорь поднят!» Ан не тут-то было — фарватер мелок! Стоп! И сижу на мели... Но не обсохну, не бойсь! Я себя проявлю! Как? — это одному дьяволу известно... Жепа? Ну ее ко всем чертям! Разве таким, как я, жепа пужна? На кой ее... когда меня во все четыре стороны сразу тянет... Я родился с беспокойством в сердце... и судьба моя — быть босяком! Ходил я и ездил в разные стороны... никакого утешения... Пью? Конечно, а как же? Все-таки водка — она гасит сердце... А горит сердце большим огнем... Противно все — города, деревни, люди разных калибров... Тьфу! Неужто же лучше этого и выдумать ничего нельзя? Все друг на друга... так бы всех и передушил! Эх ты, жизнь, дьявольская ты премудрость!

Тяжелая дверь кабака, в котором сидел я с Орловым, то и дело отворялась и при этом как-то сладострастно повизгивала. И внутренность кабака возбуждала представление о какой-то пасти, которая медленно, но неизбежно поглощает одного за другим бедных русских людей, беспокойных и иных...

МАЛЬВА

Море — смеялось.

Под легким дуновением знойного ветра оно вздрагивало и, покрываясь мелкой рябью, ослепительно ярко отражавшей солнце, улыбалось голубому небу тысячами серебряных улыбок. В глубоком пространстве между морем и небом носился веселый плеск волн, взбегавших одна за другою на пологий берег песчаной косы. Этот звук и блеск солнца, тысячекратно отраженного рябью моря, гармонично сливались в непрерывное движение, полное живой радости. Солнце было счастливо тем, что светило; море — тем, что отражало его ликующий свет.

Ветер ласково гладил атласную грудь моря; солнце грело ее своими горячими лучами, и море, дремотно вздыхая под нежной сплосью этих ласк, насыщало жаркий воздух соленым ароматом испарений. Зеленоватые волны, взбегая на желтый песок, сбрасывали на него белую пену, она с тихим звуком таяла на горячем песке, увлажняя его.

Узкая, длинная коса походила на огромную башню, упавшую с берега в море. Вонзаясь острым шпилем в безграничную пустыню играющей солнцем воды, она теряла свое основание вдали, где знойная мгла скрывала землю... Оттуда, с ветром, прилетал тяжелый запах, непомятый и оскорбительный здесь, среди чистого моря, под голубым ясным кровом неба.

В песок косы, усеянной рыбьей чешуей, были воткнуты деревянные колья, на них висели пеньки, бросающие от себя паутины теней. Несколько больших лодок

и одна маленькая стояли в ряд на песке, волны, взбегая на берег, точно манили их к себе. Багры, весла, корзины и бочки беспорядочно валялись на косе, среди них возвышался шалаш, собранный из прутьев ивы, лубков и рогож. Перед входом в него на суковатой палке торчали, подошвами в небо, валяные сапоги. И над всем этим хаосом возвышался длинный шест с красной тряпкой на конце, трепетавшей от ветра.

В тени одной из лодок лежал Василий Легостев, караульщик на косе, передовом poste рыбных промыслов Гребенщикова. Лежал он на груди и, поддерживая голову ладонями рук, пристально смотрел в даль моря, к едва видной полоске берега. Там, на воде, мелькала маленькая черная точка, и Василию было приятно видеть, как она все увеличивается, приближаясь к нему.

Прищуривая глаза от яркой игры солнечных лучей на волнах, он довольно улыбался: это едет Мальва. Она приедет, захохочет, грудь ее станет соблазнительно колыхаться, обнимет его мягкими руками, расцелует и звонко, вспугивая чаек, заговорит о новостях там, на берегу. Они с ней сварят хорошую уху, выпьют водки, поваляются на песке, разговаривая и любовно балуясь, потом, когда стемнеет, вскипятят чайник чая, напьются со вкусными барапками и лягут спать... Так бывает каждое воскресенье, каждый праздник на педеле. Рано утром он повезет ее на берег по сонному еще морю, в предраассветном свежем сумраке. Она, дремля, будет сидеть на корме, а он грести и смотреть на нее. Смешная она бывает в то время, смешная и милая, как сытая кошка. Может быть, она соскользнет с лавочки на дно лодки и успеет там, свернувшись в клубок. Она часто делает так...

В этот день даже чайки истомлены зноем. Они сидят рядами на песке, раскрыв клювы и опустив крылья, или же лениво качаются на волнах без криков, без обычного хищного оживления.

Василию показалось, что в лодке не одна Мальва. Неужели опять Сережка пригнулся к ней? Василий тяжело повернулся на песке, сел и, прикрыв глаза ладонью, с тревогой в сердце стал рассматривать, кто еще там едет? Мальва сидит на корме и правит. Гребец — не Сережка, гребет он неумело, с Сережкой Мальва не стала бы править.

— Эй! — нетерпеливо крикнул Василий.

Чайки на песке дрогнули и насторожились.

— Эй-эй... — допесся с лодки звонкий голос Мальвы.

— С кем ты?

В ответ допесся смех.

— Чертовка! — негромко выругался Василий и сплюнул.

Ему очень хотелось знать, кто это едет там; свертывая папиросу, он упорно смотрел в затылок и спину гребца. Звучный плеск воды под ударами весел раздается в воздухе, песок скрипит под босыми ногами караульщика.

— Это кто с тобой? — крикнул он, когда различил незнакомую ему улыбку на красивом лице Мальвы.

— А вот погоди, узпаешь! — со смехом отозвалась она.

Гребец обернулся лицом к берегу и, тоже смеясь, взглянул на Василия.

Караульщик нахмурил брови, вспоминая, — кто этот как будто знакомый ему парень?

— Ударь сильнее! — скомандовала Мальва.

Лодка с размаха почти до половины всползла на песок вместе с волной и, покачнувшись набок, стала, а волна скатилась назад, в море. Гребец выскочил на берег и сказал:

— Здравствуй, отец!

— Яков! — подавленно воскликнул Василий, более изумленный, чем обрадованный.

Они обнялись и поцеловались по три раза в губы и щеки; на лице Василия удивление смешалось с радостью и смущением.

— То-то я смотрю... и что-то тово оно, — сердце зудит... Ах, ты, — как это ты? На-ко! А я смотрю — Сережка? Нет, вижу, не Сережка! Ах — это ты!

Василий одной рукой гладил бороду, а другой махал в воздухе. Ему хотелось взглянуть на Мальву, но в его лицо уставились улыбающиеся глаза сына, и ему было неловко от их блеска. Чувство довольства собой за то, что у него такой здоровый, красивый сын, боролось в нем с чувством смущения от присутствия любовницы. Он переступал с ноги на ногу, стоя перед Яковым, и один за другим кидал ему вопросы, не дожидаясь ответа на них. В голове у него все как-то спуталось, и особенно нехорошо стало ему, когда раздались насмешливые слова Мальвы:

— Да ты не юли уж... с радости-то! Веди его в шалаш да угощай...

Он обернулся к ней. На губах ее играла усмешка, незнакомая ему, и вся она — круглая, мягкая и свежая, как всегда, в то же время была какая-то новая, чужая. Она переводила свои зеленоватые глаза с отца на сына и грызла арбузные семечки белыми мелкими зубами. Яков тоже с улыбкой рассматривал их, и несколько неприятных Василию секунд все трое молчали.

— Я сейчас! — вдруг заторопился Василий, двинувшись к шалашу. — Вы уходите от солнца-то, а я наберу воды пойду... уху будем варить! Я тебя, Яков, та-акой ухой накормлю! Вы тут тово... располагайтесь, я спую минуточку...

Он схватил с земли у шалаша котелок, быстро пошел куда-то в пещера и скрылся в серой массе их складок.

Мальва и его сын тоже пошли к шалашу.

— Ну вот, молодец хороший, я доставила тебя к отцу, — говорила Мальва, искоса оглядывая коренастую фигуру Якова.

Он повернул к ней свое лицо в кудрявой темно-русой бородке и, блеснув глазами, сказал:

— Да, приехали... А хорошо тут, — море-то какое!

— Широкое море... Ну, что же, — сильно постарел отец?

— Нет, ничего. Я думал — он седее, а у него еще мало седины-то... И крепкий...

— Сколько, говоришь, время вы не видались?

— Годов пять, чай... Как уходил он из деревни — мне в ту пору семнадцатый шел...

Они вошли в шалаш, где было душно, а от рогож пахло соленой рыбой, и сели там: Яков — на толстый обрубок дерева, Мальва — на кучу кулей. Между ними стояла перерезанная поперек бочка, дно ее служило столом. Усевшись, они молча, пристально посмотрели друг на друга.

— Стало быть, здесь работать хочешь? — спросила Мальва.

— Да вот... не знаю я... Коли найдется что — буду.

— У нас найдется! — уверенно пообещала Мальва, ощупывая его своими зелеными, загадочно прищуренными глазами.

Он не смотрел на нее, вытирая рукавом рубахи потное лицо.

Вдруг она засмеялась.

— Мать-то, чай, отцу паказы да поклоны с тобой прислала?

Яков взглянул на нее, пахмурился и кратко сказал:

— Известно... А что?

— Ничего!

Смех ее не понравился Якову, — он точно поддразнивал его. Парень отвернулся от этой женщины и вспомнил паказы матери.

Проводив его за околицу деревни, она оперлась на плетень и быстро говорила, часто моргая сухими глазами:

— Скажи ты ему, Яша... Христа ради, скажи ты ему — отец, мол!.. Мать-то одна, мол, там... пять годов прошло, а она все одна! Старест, мол!.. скажи ты ему, Яковушка, ради господа. Скоро старухой мать-то будет... одна все, одна! В работе все. Христа ради, скажи ты ему...

И она безмолвно заплакала, спрятав лицо в передник.

Тогда Якову не было жалко ее, а теперь стало жалко... Взглянув на Мальву, он сурово повел бровями.

— Ну, вот и я! — воскликнул Василий, являясь в шалаш с рыбой в одной руке и ножом — в другой.

Он уже справился со своим смущением, глубоко скрыв его внутри себя, и теперь смотрел на них спокойно, только в движениях его явилась несвойственная ему суетливость.

— Вот сейчас запалю я костер... и приду к вам... поговорим! Ах, Яков, а?

И он опять ушел из шалаша.

Мальва, не переставая грызть семечки, бесцеремонно разглядывала Якова, а он старался не смотреть на нее, хотя ему этого очень хотелось.

Потом, так как молчанье стесняло его, он сказал вслух:

— А котомку-то я в лодке оставил, — пойти взять!

Неторопливо поднявшись с места, он вышел, на смену ему в шалаш явился Василий и, наклонясь к Мальве, заговорил торопливо и сердито:

— Ну, на что ты-то приехала с ним? Что я про тебя скажу ему? Кто ты мне?

— Приехала да и все! — коротко сказала Мальва.

— Эх, ты... несообразная баба! Как я теперь буду? Так прямо ему в глаза и тово... сразу? У меня жепа дома-то! Мать ему... Должна ты была это сообразить!

— Очень пужно мне соображать! Боюсь я его, что ли? Али тебя? — спросила она, пренебрежительно щуря свои зеленые глаза. — А как ты давеча завертелся перед ним! То-то смешно мне было!

— Смешно тебе! А я как буду?

— А ты думал бы об этом раньше!

— Да я знал, что ли, что его так вот вдруг выбросит сюда из моря-то?

Скрипел песок под ногами Якова, и они оборвали свой разговор. Яков принес легонькую котомку, бросил ее в угол и искоса, недобрыми глазами, взглянул на женщину.

Она с увлечением щелкала семечки, а Василий присел на обрубок, потер руками колени и с улыбкой заговорил:

— Так вот ты, значит, и явился... как это ты надумал?

— Да так... Писали мы тебе...

— Когда? Я никакого письма не получал!..

— Ну? А мы писали...

— Потерялось, видно, письмо-то, — огорчился Василий. — Ишь ты, черт его возьми... а? Когда пужно — оно и потерялось...

— Стало быть, ты не знаешь наших-то делов? — спросил Яков, недоверчиво взглянув на отца.

— Да откуда? Не получал я письма!

Тогда Яков рассказал ему, что лошадь у них пала, хлеб весь они съели еще в начале февраля; заработков не было. Сена тоже не хватило, корова чуть с голоду не сдохла. Пробились кое-как до апреля, а потом решили так: ехать Якову после пахоты к отцу, на заработки, месяца на три. Об этом они написали ему, а потом продали трех овец, купили хлеба да сена, и вот Яков приехал.

— Вот оно что! — воскликнул Василий. — Та-ак... А... как же вы... денег я вам посылал...

— Велики ли деньги? Избу чинили... Марью замуж выдали... Плуг я купил... Ведь пять годов... время-то прошло!

— Да-а! Не хватило, значит? Такое дело... А уха-то у меня сбсжит! — Он встал и вышел вон.

Присев на корточки перед костром, над которым висел закипавший котелок, сбрасывая пену в огонь, Василий задумался. Все, что рассказал ему сын, не особенно сильно тронуло его, но породило в нем неприятное чувство к жене и Якову. Сколько он им за пять лет денег переслал, а они все-таки не справились с хозяйством. Если бы не Мальва, он сказал бы Якову кое-что. Самовольно, без отцова разрешения из деревни ушел — хватило ума на это, — а с хозяйством справиться не мог! Хозяйство, о котором Василий, живя до сего дня жизнью приятной и легкой, вспоминал очень редко, теперь вдруг напомнило ему о себе, как о бездонной яме, куда он пять лет бросал деньги, как о чем-то лишнем в его жизни, не нужном ему. Он вздохнул, мешая ложкой уху.

В блеске солнца маленький желтоватый огонь костра был жалок, бледен. Голубые, прозрачные струйки дыма тянулись от костра к морю, навстречу брызгам волн. Василий следил за ними и думал о том, что теперь ему хуже будет жить, не так свободно. Наверное, Яков уже догадался, кто эта Мальва...

А она сидела в шалаше, смущая парня задорными, вызывающими глазами, в которых, не исчезая, играла улыбка.

— Чай, поди-ка, невесту в деревне-то оставил? — вдруг сказала она, заглядывая в лицо Якова.

— Может, и оставил, — неохотно ответил тот.

— Красивая, что ли? — небрежно спросила она.

Яков промолчал.

— Что молчишь?.. Лучше меня али нет?

Он посмотрел ей в лицо, не желая этого. Щеки у нее были смуглые, полные, губы сочные, — полураскрытые задорной улыбкой, они вздрагивали. Розовая ситцевая кофта как-то особенно ловко сидела на ней, обрисовывая круглые плечи и высокую, упругую грудь. Но не нравились ему ее лукаво прищуренные, зеленые, смеющиеся глаза.

— Зачем ты так говоришь? — вздохнув, сказал он просящим голосом, хотя желал говорить с ней строго.

— А как надо говорить? — засмеялась она.

— И смеешься тоже... чему?

— Над тобой смеюсь...

— Ну, что я тебе? — обиженно спросил он и снова опустил глаза под ее взглядом.

Она не ответила.

Яков догадывался о том, кто она отцу, и это мешало ему свободно говорить с ней. Догадка не поражала его: он слышал, что на отхожих промыслах люди сильно балуются, и понимал, что такому здоровому человеку, как его отец, без женщины трудно было бы прожить столько времени. Но все-таки целовко и перед ней и перед отцом. Потом он вспомнил свою мать — женщину истомленную, ворчливую, работавшую там, в деревне, не покладая рук...

— Готова ушица! — объявил Василий, являясь в шалаш. — Достань-ка ложки, Мальва!

Яков взглянул на отца и подумал:

«Видно, часто она у него бывает, коли знает, где ложки лежат!»

Взяв ложки, она сказала, что надо пойти помыть их и что в корме лодки у нее есть водка.

Отец и сын посмотрели вслед ей и, оставшись одни на один, помолчали.

— Ты с ней как встретился? — спросил Василий.

— А я спрашивал про тебя в конторе, и она была там... И говорит: «Чем, говорит, идти пешком по песку, поедем в лодке, я тоже к нему». Вот и приехали.

— Да-а... А я, бывало, думаю: «Каков-то теперь Яков?»

Сын добродушно усмехнулся в лицо отца, и эта усмешка придавала Василию храбрости.

— А... ничего бабенка-то?

— Ничего, — неопределенно сказал Яков, моргнув глазами.

— Никакого лешего не поделаешь, брат ты мой! — воскликнул Василий, взмахивая руками. — Терпел я сначала — не могу! Привычка... Я женатый человек. Опять же и одежду она почиет и другое прочее... И вообще... эхма! От женщины, как от смерти, никуда не уйдешь! — искренне закончил он свое объяснение.

— Мне что? — сказал Яков. — Это — твое дело, я тебе не судья.

А про себя подумал:

«Станет тебе такая штаны чинить...»

— Опять же мне всего сорок пять лет... Расхода на нее немного, не жена она мне... — говорил Василий.

— Конечно,— соглашался Яков и думал: «А все, чай, треплет карман-то!»

Пришла Мальва с бутылкой водки и связкой крепделей в руках; сели есть уху. Ели молча, кости обсасывали громко и выплевывали их изо рта на песок к двери. Яков ел много и жадно; это, должно быть, нравилось Мальве: она ласково улыбалась, глядя, как отдуваются его загорелые щеки, быстро двигаются влажные, крупные губы. Василий ел плохо, но старался показать, что он очень занят едой,— это нужно было ему для того, чтоб без помехи, незаметно для сына и Мальвы, обдумать свое отношение к ним.

Ласковую музыку волн перебивали хищные крики чаек. Зной становился менее жгучим, уже иногда в шалаш залетала прохладная струя воздуха, пропитанного запахом моря.

После вкусной ухи и водки глаза Якова осовели. Он начал глуповато улыбаться, икать, позевывать и смотрел на Мальву так, что Василий нашел нужным сказать ему:

— Ты приляг тут, Яшутка, пока до чаю... а там мы тебя разбудим.

— Это можно-о...— согласился Яков, сваливаясь на кули.— А... вы куда? Ха-ха!

Василий, смущенный его смехом, торопливо вышел, а Мальва поджала губы, сдвинула брови и ответила Якову:

— А куда мы пойдём — это не твоё дело! Ты что? Ты ещё нашему богу — бя! Вот ты что, паренек!..

— Я? Ладно! — воскликнул Яков вслед ей.— Па-аго-ди... Я тебе покажу! Ишь ты какая...

Он поворчал ещё немного и заснул с пьяной, сытой улыбкой на раскрасневшемся лице.

Василий воткнул в песок три багра, соединил их верхние концы, набросил на них рогожу и, так устроив тень, лег в неё, закинув руки за голову, глядя на небо. Когда Мальва опустилась на песок рядом с ним, он повернул к ней свое лицо, и на нем она увидела обиду и недовольство.

— Что — мало рад сыну-то? — спросила она, засмеявшись.

— Бои он... смеется надо мной... из-за тебя!.. — угрюмо сказал Василий.

— Ну? Из-за меня? — лукаво удивилась она.

— А как же?

— Ах ты, жалкеный! Что же теперь? Не ходить к тебе, что ли? а? Ну — не буду!..

— Ишь ты, ведьма какая! — укорил ее Василий. — Эх вы, люди! Он смеется, ты тоже... а вы мне самые близкие! За что же сместесь? Черти! — Он отвернулся от нее и замолчал.

Мальва, обняв руками колени, тихоенько покачивала корпусом, рассматривая зелеными глазами сверкающее, веселое море, и улыбалась одною из тех торжествующих улыбок, которых так много у жепщины, понимающей силу своей красоты.

Парусное судно скользило по воде, как большая, неуклюжая птица с серыми крыльями. Оно было далеко от берега и шло еще дальше, туда, где море и небо сливались в синюю бесконечность.

— Что молчишь? — спросил Василий.

— Думаю, — сказала Мальва.

— Про что это?

— Так, — повела она бровями и, помолчав, добавила: — Сын у тебя — молодец парепь...

— А тебе что? — ревниво воскликнул Василий.

— Мало ли что...

— Ты — смотри! — окинул он ее суровым взглядом, полным подозрения. — Ты не дури! Я хотя и смирный, но ты меня не дразни, — да!

Он стиснул зубы и сжал кулаки, продолжая:

— Ты сегодня сразу, как приехала, играть начала что-то... Я еще не понимаю этого... ну, смотри, пойму, неладно тебе будет! И улыбочки у тебя этакие... и все такое... Я тоже с ваней сестрой умею обращаться...

— А ты меня, Вася, не пугай... — равнодушно и не глядя на него попросила она.

— То-то! не шути же...

— А ты уж не стражай...

— Я и взбучку дам, коли баловать начнешь... — грозил Василий, озлобляясь.

— Бить станешь? — обернулась она к нему, с любопытством глядя в его взволнованное лицо.

— А что ты за графиня? И вздую...

— Да я тебе что — жена, что ли? — вразумительно и спокойно спросила Мальва и, не дожидаясь ответа, продолжала: — Привыкши бить жену ни за что ни про

что, ты и со мной так же думаешь? Ну, нет. Я сама себе барыня, и никого не боюсь. А ты вот — сына боишься: давеча как заюлил перед ним — стыд! А еще угрозишь мне!

Она презрительно качнула головой и замолчала. Ее холодные, пренебрежительные слова подавили озлобление Василия. Никогда еще он не видал ее такой красивой.

— Разошлась, раскаркалась... — молвил он, и злясь и любясь ею.

— И еще скажу тебе вот что. Ты Сережке бахвалился, что я без тебя, как без хлеба, жить не могу! Напрасно ты это... Может, я не тебя люблю и не к тебе хожу, а люблю я только место это... — Она широко повела рукой вокруг себя. — Может, мне то нравится, что здесь пусто — море да небо и никаких подлых людей нет. А что ты тут — это все равно мне... Это вроде платы за место... Сережка был бы — к нему бы я ходила, сын твой будет — к нему пойду... А еще лучше, кабы вас вовсе никого не было... обрыдли вы мне!.. Если я с моей красотой захочу — я всегда себе мужика, какого мне нужно, выберу...

— Вот как-ах?! — свирепо зашипел Василий и вдруг схватил ее за горло. — Так вот что-о?

Он встряхивал ее, но она не отбивалась, хотя лицо ее краснело и глаза наливались кровью. Она просто положила обе свои руки на его руку, давившую ей горло, и упорно смотрела ему в лицо.

— Так в тебе вот что есть? — хрипел Василий, все свирепея. — А — молчала, шкура... а — обнимала... а — ласки мне... Я ж тебе дам!

Он пригнул ее к земле и с наслаждением ударил по шее раз, два, — тяжелыми ударами крепко стиснутого кулака. Приятно было ему, когда кулак с размаха падал на ее упругую шею.

— На... Что, змея?.. — с торжеством спросил он ее и отшвырнул от себя.

Она, не охнув, молчаливая и спокойная, упала на спину, растрепанная, красная и все-таки красивая. Ее зеленые глаза смотрели на него из-под ресниц с холодной ненавистью. Но он, отдуваясь от возбуждения и приятно удовлетворенный исходом злобы, не видал ее взгляда, а когда с торжеством взглянул на нее — она улыбалась, — дрогнули ее полные губы, вспыхнули гла-

за, на щеках явились ямки. Василий изумленно посмотрел на нее.

— Что ты, — черт! — грубо дернув ее за руку, крикнул он.

— Васька!.. Это ты бил меня? — полусшепотом спросила она.

— Ну, а кто? — Ничего не понимая, он смотрел на нее и не знал, что ему делать. Не ударить ли ее еще раз? Но в нем уже не было злобы, и рука его не поднималась на нее.

— Стало быть, ты меня любишь? — снова спросила она, и от ее шепота ему стало жарко.

— Ладно, — угрюмо сказал он. — Так ли тебя надо!

— А ведь я думала, что ты уже не любишь меня... думаю: «Вот теперь сын к нему присхал... прогонит он меня...»

Она засмеялась странным, слишком громким смехом.

— Дуреха! — сказал Василий, тоже невольно усмехаясь. — Сын, — что он мне за уставщик?

Ему стало совестно перед ней и жалко ее, но, вспомнив ее речи, он заговорил строго:

— Сын тут ни при чем... А что я ударил тебя — сама виновата, зачем дразнила?

— Так ведь я это нарочно, — пытала тебя... — И она прижалась к нему плечом.

— Пытала! Чего пытать? Вот и допыталась.

— Ничего! — уверенно сказала Мальва, щуря глаза, — я не сержусь — ведь любя побил? А я тебе за это заплачу... — Она в упор посмотрела на него и, понизив голос, повторила: — Ох, как заплачу!

Василий в этих словах услышал обещание, приятное ему, оно сладко волновало; улыбаясь, он спросил:

— А как?.. Ну-ка?!

— Увидишь, — спокойно сказала Мальва, но губы у нее дрогнули.

— Эх ты, милушка моя! — воскликнул Василий, крепко стиснув ее руками влюбленного. — А знаешь, как побил я тебя — дороже ты мне стала! Право! Роднее... али как?

Чайки посились над ними. Ласковый ветер с моря приносил брызги волн почти к их ногам, а неугомонный смех моря все звучал...

— Эх, дела наши! — свободно вздохнул Василий, задумчиво лаская женщину, прильнувшую к нему. —

И как все устроено на свете: что грешно, то и сладко. Ты вот ничего не понимаешь... а я иной раз задумаюсь про жизнь — даже страшно станет! Особенно ночью... не спится когда... Смотришь: перед тобой море, над тобой — небо, кругом темно таково, жутко... а ты тут — один! И станешь тогда сам для себя таким ма-аленьким, маленьким... Земля под тобой шатается, и никого-то на ней, кроме тебя, нет. Хоть бы ты была в ту пору... все-таки двое...

Мальва, закрыв глаза, лежала у него на коленях и молчала. Грубоватое, но доброе, коричневое от солнца и ветра лицо Василия наклонилось над ней, его большая выцветшая борода щекотала ее щею. Желтизна не двигалась, только грудь ее вздымалась высоко и ровно. Глаза Василия то блуждали в море, то останавливались на этой груди, близкой к нему. Он стал целовать ее в губы, не торопясь, чмокая так громко, точно горячую и жирно намазанную кашу ел.

Часа три они провели так; когда солнце начало спускаться в море, Василий сказал скучным голосом:

— Ну, пойду чай кипятить... скоро гость проснется!

Мальва ленивым движением разнежившейся кошки отодвинулась в сторону, он неохотно встал и пошел к шалашу. Желтизна, чуть приподняв ресницы, посмотрела вслед ему и вздохнула, как вздыхают люди, сбросив ношу, утомившую их.

Потом они, трое, сидели вокруг костра и пили чай.

Солнце окрашивало море в живые краски заката, зеленеватые волны блестели пурпуром и жемчугом.

Василий, прихлебывая чай из белой глиняной кружки, расспрашивал сына о деревне, сам вспоминал о ней. Мальва, не вмешиваясь, слушала их медленные речи.

— Живут, стало быть, мужички?

— Живут, как-никак... — отвечал Яков.

— Нашему брату — много ли надо? Избу, да хлебушка вдоволь, да в праздник водки стакан... Но и этого нет... Разве бы я ушел сюда, ежели бы можно было кормиться дома-то?.. В деревне я сам себе хозяин, всем равный человек, а здесь вот — слуга...

— Зато здесь сытнее и работа легче...

— Ну, этого тоже не скажи! Бывает так, что все кости ноют. Опять же здесь чужому работаешь, а там — самому себе.

— А выдержишь больше,— спокойно возражал Яков.

Внутренне Василий соглашался с доводами сына: в деревне и жизнь и работа тяжелее, чем здесь, но ему почему-то не хотелось, чтобы Яков знал это. И он сурово сказал:

— Ты считал заработок-то здешний? В деревне, брат...

— Как в яме: и темно и тесно,— усмехнулась Мальва.— А особенно бабье житье — одни слезы.

— Бабье житье одинаково везде... и свет везде один, одно солнце!.. — нахмурился Василий, взглянув на нее.

— Ну это ты врешь! — воскликнула она, оживляясь.— Я в деревне-то хочу не хочу, а должна замуж идти. А замужем баба — вечная раба: жни да пряди, за скотом ходи, да детей роди... Что же остается для нее самой? Одни мужевы побои да ругань...

— Не всё побои,— перебил ее Василий.

— А здесь я пичья,— не слушая его, говорила она.— Как чайка, куда захочу, туда и полечу! Никто мне дороги не загородит... Никто меня не тронет!..

— А как тронет? — усмехаясь, напоминающим тоном спросил Василий.

— Ну,— я уж заплачу! — тихо сказала она, и разгоревшиеся глаза ее погасли.

Василий снисходительно засмеялся.

— Эх ты,— бойка ты, да слаба! Бабьи слова говоришь. В деревне баба — нужный для жизни человек... а здесь — так она... для баловства только живет... — Помолчав, он добавил: — Для греха.

Яков, когда их разговор оборвался, сказал, задумчиво вздохнув:

— И конца, кажись, нет этому морю...

Все трое молча взглянули в пустыню перед ними.

— Ежели бы все это земля была! — воскликнул Яков, широко размахнув рукой.— Да чернозем бы! Да распахать бы!

— Вот что! — дебридушно засмеялся Василий, одобрительно взглянув в лицо сына, даже покрасневшее от силы выраженного желания. Ему приятно было слышать в словах сына любовь к земле, и он подумал, что эта любовь, быть может, скоро и действительно позовет Якова от соблазнов вольной промысловой жизни назад

в деревню. А он останется здесь с Мальвой — и все пойдет по-старому...

— Это, Яков, хорошо ты сказал! Крестьянину так и следует. Крестьянин землей и крепок: докуда он на ней — жив, сорвался с нее — пропал! Крестьянин без земли — как дерево без корня: в работу оно годится, а прожить долго не может — гниет! И красоты лесной нет в нем — обглоданное, обстроганное, невидное!.. Это ты, Яков, очень хорошие слова сказал.

Море, принимая солнце в свои недра, встречало его приветливой музыкой плеска волн, разукрашенных его прощальными лучами в дивные, богатые оттенками цвета. Божественный источник света, творящего жизнь, прощался с морем красноречивой гармонией своих красок, чтобы далеко от трех людей, следивших за ним, разбудить сонную землю радостным блеском лучей восхода.

— У меня душа тает, когда я смотрю, как солнышко заходит, право, ей-богу! — сказал Василий Мальве.

Она промолчала. Голубые глаза Якова улыбались, блуждая в дали моря. Долго все трое задумчиво смотрели туда, где гасли последние минуты дня. Пред ними тлели уголья костра. Сзади ночь развertyвала по небу свои тени. Желтый песок темнел, чайки исчезли, — все вокруг становилось тихим, мечтательно ласковым... И даже неугомонные волны, взбегая на песок косы, звучали не так весело и шумно, как днем.

— Что я спужу? — сказала Мальва. — Надо идти.

Василий поежился и взглянул на сына.

— Куда торопиться? — недовольно пробормотал он. — Погоди, — вот месяц взойдет...

— А что — месяц? Я и так не боюсь, — не в первый раз мне ночью отсюда уходить!

Яков взглянул на отца и прищурил глаза, скрывая усмешку; потом посмотрел на Мальву, — она тоже смотрела на него, — и ему стало неловко.

— Ну, что ж! Иди! — разрешил Василий, недовольный и скучный.

Она встала, простилась и медленно пошла вдоль берега косы; волны, подкатываясь ей под ноги, точно заигрывали с ней. В небе трепетно вспыхивали звезды — его золотые цветы. Яркая кофточка Мальвы, удаляясь

от Василия и его сына, провожавших ее глазами, линяла в сумраке.

Милый мой... скорей иди!
Да-ах! Прижми-ись к моей груди! —

запела Мальва высоким и резким голосом.

Василию показалось, что она остановилась и ждет. Он с ожесточением плюнул, думая: «Это она парочно, дразнит меня, дьяволица!»

— Ишь ты! Поет! — усмехнулся Яков.

Она была для их глаз только серым пятном в сумраке.

Не-е жа-алей моих грудей,
Двоих бе-елых лебедей! —

разносился над морем ее голос.

— Ишь как! — воскликнул Яков и всем телом потянулся туда, откуда неслись соблазнительные слова.

— Значит, не сладил ты там с хозяйством-то? — раздался суровый голос Василия.

Яков, недоумевая, взглянул на него и принял прежнюю позу.

Утопая в шуме волн, до их слуха доносились отдельные, разорванные слова задорной песни:

...Ах... спать невмочь,
...Одной... в эту ночь!

— Жарко! — тоскливо воскликнул Василий, возясь на песке. — Ночь ведь... а жарко! Экая проклятая сторона...

— Это — песок... нагрелся за день-то... — отворотясь в сторону и как будто запылаясь, сказал Яков.

— Ты чего?.. Смеешься, никак? — сурово спросил его отец.

— Я? — невинно спросил Яков. — Чему это?

— То-то, мол, ровно бы печему...

Они замолчали.

А сквозь шум волн до них долетали не то вздохи, не то тихие, ласково зовущие крики.

Прошло две недели, снова наступило воскресенье, и снова Василий Легостев, лежа на песке около своего шалаша, смотрел в море, ждал Мальву. И пустынное море смеялось, играя отраженным солнцем, и легионы волн рождались, чтоб взбежать на песок, сбросить на

него пелу своих грив, снова скатиться в море и растаять в нем. Все было такое же, как и четырнадцать дней тому назад. Только Василий, прежде ожидавший свою любовницу со спокойной уверенностью, сегодня ждал ее с нетерпением. В прошлое воскресенье она не была, а — сегодня должна быть! Он не сомневался, что она придет, но ему хотелось скорее видеть ее. Яков не будет мешать сегодня: третьего дня он приезжал за неводом вместе с другими рабочими и сказал, что в воскресенье с утра отправится в город купить себе рубах. Он папался на ватаги по пятнадцати рублей в месяц, уже несколько раз ездил на ловлю рыбы и теперь смотрел бойко и весело. От него, как от всех рабочих, пахло соленой рыбой, и, как все, он был грязный и рваный. Василий вздохнул при мысли о сыне.

«Как бы он здесь уцелел... избалуется... тогда, пожалуй, не захочет уж назад в деревню идти... И придется мне самому...»

Кроме чайки, в море ничего не было. Там, где оно отделялось от неба тонкой полоской песчаного берега, иногда появлялись на этой полоске маленькие черные точки, двигались по ней и исчезали. А лодки все не было, хотя уже лучи солнца падают в море почти отвесно. В это время Мальва бывала уже давно здесь.

Две чайки схватились в воздухе и дерутся так, что перья летят из них. Ожесточенные крики рвут веселую песню волн, такую постоянную, так гармонично слитую с торжественной тишиной сияющего неба, что она кажется звуком радостной игры солнечных лучей на равнине моря. Чайки падают в воду, бьют друг друга, яростно вскрикивая от боли и злобы, и снова вздымаются в воздух, преследуя друг друга... А подружки их — целая стая, — как бы не видя этой борьбы, жадно ловят рыбу, кувыркаясь в зеленоватой, прозрачной, играющей воде.

Море — пустынно. Не являлось в нем там, далеко у берега, знакомое темное пятно...

— Не едешь? — вслух сказал Василий. — Ну — и не надо! А ты думала как?..

И он презрительно сплюнул по направлению к берегу.

Море смеялось.

Василий встал и пошел в шалаш, намереваясь варить себе обед, но почувствовал, что есть ему не хочется, воротился на старое место и снова лег там.

«Хоть бы Сережка приехал! — мысленно воскликнул он и заставил себя думать о Сережке. — Это — яд-парень. Надо всеми смеется, на всех лезет с кулаками. Здоровый, грамотный, бывалый... но пьяница. С ним весело... Бабы души в нем не чают, и — хотя он недавно появился — все за ним так и бегает. Одна Мальва держится поодаль от него... Не едет вот. Экая окаянная бабенка! Может, она рассердилась на него за то, что он ударил ее? Да разве сй это в повишку? Чай, как били... другие! Да и он теперь задаст сй...»

Так, думая то о сыне, то о Сережке и больше всего о Мальве, Василий возился на песке и все ждал. Беспокойное настроение незаметно перерождалось у него в темную подозрительную мысль, но он не хотел остановиться на ней. И, скрывая от себя свое подозрение, он провел время до вечера, то вставая и расхаживая по песку, то снова ложась. Уже море потемнело, а он все еще рассматривал его даль, ожидая лодку.

Мальва не приехала в этот день.

Ложась спать, Василий уныло ругал свою службу, не позволяющую ему отлучиться на берег, а засыпая, он часто вскакивал, — сквозь дрему ему слышалось, что где-то далеко плещут весла. Тогда он прикладывал руку козырьком к своим глазам и смотрел в темное, мутное море. На берегу, на промысле, горели два костра, а в море никого не было.

— Ладно же, ведьма! — грозил он. А потом заснул тяжелым сном.

А на промысле вот что произошло в этот день.

Яков встал рано утром, когда солнце еще не палило так жарко и с моря веяло бодрой свежестью. Он вышел из барака к морю умываться и, подойдя к берегу, увидел Мальву. Она сидела на корме баркаса, причаленного к берегу, и, спустив за борт голые ноги, расчесывала мокрые волосы.

Яков остановился и стал смотреть на нее любопытными глазами.

Ситцевая кофточка, не застегнутая на груди, спустилась с одного плеча, а плечо было такое белое, вкусное.

В корму баркаса били волпы, Мальва то поднималась над морем, то опускалась так низко, что голые ее ноги почти касались воды.

— Купалась, что ли? — крикнул Яков.

Она обернула к нему лицо, мельком взглянула на него и, снова расчесывая волосы, ответила:

— Купалась... Что рано поднялся?

— Ты еще раньше...

— А я тебе что за пример?

Яков промолчал.

— По моей-то манере будешь жить — трудно будет тебе голову носить! — сказала она.

— О? Ишь ты, какая страшная! — усмехнулся Яков и, присев на корточки, стал умываться.

Черпая пригоршнями воду, он плескал ее себе на лицо и побряхтывал, ощущая свежесть. Потом, утираясь подолом рубахи, спросил Мальву:

— Что ты меня стращаешь все?

— А ты что на меня глаза пялишь?

Яков не помнил, чтобы смотрел на нее больше, чем на других промысловых женщин, но теперь вдруг сказал ей:

— Да сжели ты... вои какая сдобная!

— Вот отец узнает эти твои замашки — он тебе шсю-то насдобит!

Она лукаво и задорно смотрела ему в лицо.

Яков засмеялся и полез на баркас. Он опять-таки не понимал, про какие его замашки она говорит, но коли она говорит, так, значит, он поглядывал на нее зорко. Ему стало приятно, весело.

— А что отец? — говорил он, идя к ней по борту баркаса. — Что ты — купленная его, что ли?

Усевшись рядом с ней, он уставился на ее голое плечо, полуобнаженную грудь, на всю ее фигуру — свежую и крепкую, пахнущую морем.

— Вои ты, — белуга какая! — с восхищением воскликнул он, подробно осмотрев ее.

— Не про тебя! — кратко заявила она, не глядя на него, не оправляя своего откровенного костюма.

Яков вздохнул.

Пред ними необозримо расстилалось море в лучах утреннего солнца. Маленькие игривые волны, рождаемые ласковым дыханием ветра, тихо бились о борт. Далеко в море, как шрам на атласной груди его, виднелась коса. С нее в мягкий фон голубого неба вонзался шест тонкой черточкой, и было видно, как треплется по ветру тряпка.

— Да, паренек! — заговорила Мальва, не глядя на

Якова.— Вкусна я, да не про тебя... А и пикем я не куплепная, и отцу твоему не подвластна. Живу сама про себя... Но ты ко мне не лезь, потому что я не хочу между тобой и Васильем стоять... Ссоры не хочу и разпой склоки... Понял?

— Да я что? — изумился Яков.— Я ведь тебя не трогаю...

— Тронуть ты меня не смеешь! — сказала Мальва.

Она так это сказала, с таким пренебрежением к Якову, что в нем был обижен и мужчина и человек. Задорное, почти злое чувство охватило его, глаза вспыхнули.

— О? Не смею? — воскликнул он, подвигаясь к ней.

— Не смеешь!

— Н-пу? А как трону?

— Тропъ!

— А что будет?

— А я дам тебе по затылку, ты и кувырнешься в воду.

— А ну, дай!

— А — тропъ!

Он окинул ее горящими глазами и вдруг крепко охватил ее сбоку сильными лапами, сдавив ей грудь и спину. От прикосновения ее тела, горячего и крепкого, он вспыхнул весь, и горло его сжалось от какого-то удушья.

— Вот! Ну... бей! Ну... что?

— Пусти, Яшка! — спокойно сказала она, не делая попытки освободиться из его вздрагивающих рук.

— А по затылку хотела?

— Пусти! Смотри, худо будет!

— Ну... не страдай ты меня! Эх ты... малина!

Он прижался к ней и впился толстыми губами в ее румяную щеку.

Она задорно захохотала, крепко схватила Якова за руки и вдруг сильным движением всего своего тела рванулась вперед. В объятиях друг друга они тяжелой массой свалились в воду и скрылись в пене и брызгах. Потом на взволнованной воде появилась мокрая голова Якова с испуганным лицом, а рядом с ней выпрыгнула Мальва. Яков, отчаянно взмахивая руками, разбивал вокруг себя воду, выл и рычал, а Мальва с громким хохотом плавала вокруг него, плеская ему в лицо пригоршни соленой воды, ныряла, уклоняясь от широких взмахов его лап.

— Черт! — закричал Яков, фыркая. — Я утону! Будет!.. Ей-богу... утону! Вода — горькая... Ах ты... тону-у!

Но она уже оставила его и, по-мужски загребая руками, плыла к берегу. Там, ловко взобравшись снова на баркас, она стала на корме и, смеясь, смотрела на Якова, торопливо подплывавшего к ней. Мокрая одежда, пристав к ее телу, обрисовывала его формы от колен по плечи, и Яков, подплыв к лодке и уцепившись рукой за нее, уставился жадными глазами на эту почти голую женщину, весело смеявшуюся над ним.

— Ну, вылезай, тюлень! — сказала она сквозь смех и, став на колени, подала ему одну руку, а другой оперлась в борт лодки.

Яков схватил ее руку и с одушевлением воскликнул:

— Ну... Теперь держись! Я тебя — в-выкупаю!..

Он тянул ее к себе, стоя по плечи в воде; волны перебегами через его голову и, разбиваясь о лодку, брызгали в лицо Мальве. Она жмурилась, хохотала и вдруг, взвизгнув, прыгнула в воду, сбив Якова с ног тяжестью своего тела.

И снова они начали играть, как две большие рыбы, в зеленоватой воде, брызгая друг на друга и взвизгивая, фыркая, пыряя.

Солнце, смеясь, смотрело на них, и стекла в окнах промысловых построек тоже смеялись, отражая солнце. Шумела вода, разбиваемая их сильными руками, чайки, встревоженные этой возней людей, с пронзительными криками носились над их головами, исчезающими под набегом волн из дали моря...

Наконец, усталые и наглотававшиеся воды, они вылезли на берег и сели на солнце отдыхать.

— Тьфу! — морщась, плевался Яков. — Ну и вода дрянная! То-то ее и много так!

— Дрянного всего много на свете, парней, например, — батюшки сколько! — смеялась Мальва, выжимая воду из своих волос...

Волосы у нее были темные и хотя не длинные, но густые и вьющиеся.

— То-то ты старика и облюбовала себе, — ехидно усмехнулся Яков, толкнув ее локтем в бок.

— Иной старик лучше молодого.

— Уж коли отец хорош, стало быть, сын еще лучше...

— Ишь ты! Где учился хвастать-то?

— Мне девки в деревне часто говорили, что я совсем не плох парень.

— Разве девки что понимают? А ты меня спроси...

— А ты что? Али не девка?

Она пристально взглянула на него: он зазорно смеялся. Тогда она вдруг стала серьезной и с сердцем сказала ему:

— Была, да — однажды родила!

— Складно, да не ладно, — сказал Яков и расхохотался.

— Дурачила! — резко бросила ему Мальва и отвернулась от него.

Яков сробел и замолчал, поджав губы.

С полчаса они оба молчали, повертываясь к солнцу так, чтобы оно скорее высушило их мокрое платье.

В бараках — длинных, грязных сараях, с крышами на один скат — просыпались рабочие. Издали все они были похожи друг на друга — оборванные, лохматые, босые... Доносились до берега их хриплые голоса, кто-то стучал по дну пустой бочки, летели глухие удары, точно рокотал большой барабан. Две женщины визгливо ругались, лаяла собака.

— Просыпаются, — сказал Яков. — А ведь я хотел сегодня в город ехать пораньше... и вот пробаловал с тобой...

— Со мной добра не будет, — не то шутя, не то серьезно сказала она.

— Чего ты все пугаешь меня? — удивленно усмехнулся Яков.

— А вот увидишь, как отец-то тебя...

Это напоминание об отце вдруг рассердило его.

— Что отец? Ну? — грубо воскликнул он. — Отец! Я сам не маленький... Важность какая... Здесь не те порядки... я не слепой, вижу... Он сам не праведник... он тут себя не стесняет... Ну, и меня не тронь.

Она пасмешливо поглядела ему в лицо и с любопытством спросила:

— Не трогать тебя? А ты что делать собирасься?

— Я? — Он надул щеки и выпятил вперед грудь, как будто тяжесть поднимал. — Я-то? Я много могу! Меня чистым-то воздухом довольно обвеяло, деревенскую-то пыль сдуло с меня.

— Скоренько! — насмешливо воскликнула Мальва.

— А что? Я вот возьму да и отобью тебя у отца.

— Н-ну? Неужто?

— А то побоюсь?

— Да ну-у?

— Ты вот что, — взволнованно и пылко заговорил Яков, — ты меня не дразни! Я... смотри!

— Что? — спокойно спросила она.

— Ничего!

Он отворотился от нее и замолчал, имея вид парня удалого и уверенного в себе.

— А ты задорный! Вот у приказчика черпенький кутепок, видел? Так он такой же, как и ты. Издали ласт, укусить обещает, а близко подойдешь, он подожмет хвост, да и бежать!

— Ну, ладно же! — воскликнул Яков, озлобляясь. — Погоди ты! Увидишь, каков я есть, увидишь!

А она смеялась в лицо ему.

К ним шел, медленной походкой и покачивая корпусом, высокий, жилистый, бронзовый человек в густой шапке растрепанных, огненно-рыжих волос. Кумачная рубаха без пояса была разорвана на спине у него почти до ворота, и чтобы рукава ее не сползали с рук, он засучил их до плеч. Штаны представляли собой коллекцию разнообразных дыр, ноги были босы. На лице, густо усеянном веснушками, дерзко блестели большие голубые глаза, нос, широкий и вздернутый кверху, придавал всей его фигуре вид бесшабашно нахальный. Подойдя к ним, он остановился и, блестя на солнце телом, выглядывавшим из бесчисленных дыр его костюма, громко шмыгнул носом, вопросительно уставился на них глазами и скорчил смешную рожу.

— Вчера Сережка выпил немножко, а сегодня в кармане у Сережки — как в бездонном лукошке... Дайте двугривенный взаймы! Я все равно не отдам...

Яков добродушно расхохотался над его бойкой речью, а Мальва усмехнулась, разглядывая его ободранную фигуру.

— Дайте, черти! Я вас обвенчаю за двугривенный — хотите?

— Ах ты, балагур! Да разве ты поп? — смеялся Яков.

— Дурак! Я в Угличе у попа в дворниках жил... дай двугривенный!

— Я не хочу венчаться! — отказал ему Яков.

— Все равно — дай! Я твоему отцу не скажу, что ты за его кралей приухлыстываешь, — настаивал Сережка, облизывая языком сухие, потрескавшиеся губы.

— Ври, так он тебе и поверит...

— Уж я совру, так поверит! — пообещал Сережка, — и вздует тебя — ах как!

— Не боюсь! — усмехнулся Яков.

— Ну, так я сам вздую! — спокойно заявил Сережка, суживая глаза.

Якову было жалко двугривенного, но его уже предупреждали, что с Сережкой не нужно связываться, а лучше удовлетворить его притязания. Многого он не потребует, а если не дать ему — подстроит во время работы какую-нибудь пакость или изобьет ни за что ни про что. Яков, вспомнив эти наставления, вздохнул и полез в карман.

— Вот так! — поощрил его Сережка, опускаясь на песок рядом с ним. — Всегда меня слушай, умным будешь. А ты, — обратился он к Мальве, — скоро за меня замуж пойдешь? Скорей соберись, — я долго ждать не буду.

— Драный ты... Зашей дыры сначала, потом поговорим, — ответила Мальва.

Сережка критически посмотрел на свои дыры и качнул головой.

— А ты мне лучше свою юбку дай.

— Так! — сказала Мальва и засмеялась.

— А право! Дай — есть какая-нибудь старенькая?

— Да ты купи себе штаны, — посоветовала Мальва.

— Ну, я лучше пропью деньги...

— Лучше! — смеялся Яков, держа в руке четыре пятака.

— А как же? Мне поп говорил, что человек не о шкуре своей должен заботиться, о душе. Душа у меня требует водки, а не штанов. Давай деньги! Ну, вот теперь я выпью... А отцу про тебя все-таки скажу.

— Говори! — махнул рукой Яков и ухарски подмигнул Мальве, толкнув ее в плечо.

Сережка заметил это, сплюнул и еще пообещал:

— И вздуть тебя не забуду... Как только свободное время будет — такую дам клочку!

— Да за что? — тревожно спросил Яков.

— Уж я знаю... Ну, так замуж за меня скоро пойдешь? — обратился Сережка к Мальве.

— А вот ты расскажи мне, что мы делать будем и как жить, тогда подумаю,— серьезно сказала она.

Сережка поглядел в море, прищурив глаза, и, облизав губы, объяснил:

— Ничего не будем делать, гулять будем!

— А есть где возьмем?

— Ну,— махнул рукой Сережка,— ты, ровно мать моя, рассуждаешь. Что да как? Разве я знаю, что и как? Пойду выпью...

Он встал и пошел прочь от них, провожаемый странной улыбкой Мальвы и неприязненным взглядом парня.

— Ишь какой командир! — сказал Яков, когда Сережка ушел от них далеко.— У нас бы в деревне такого хахаля живо усмирили... Дали бы ему хо-орошую взбучку — и все... А здесь боятся...

Мальва посмотрела на него и процедила сквозь зубы:

— Ах ты, порося! Понимасшь ты ему цену!

— Чего понимаешь? Цена таким пятачок за пучок, да и то — когда их в пучке-то сотня.

— Тоже! — насмешливо воскликнула Мальва.— Это тебе цена... А он... везде бывал, скрозь прошел всю землю и никого не боится...

— А я кого боюсь? — храбро спросил Яков.

Она не ответила ему, задумчиво следя за игрой волн, взбегавших на берег, колыхая тяжелый баркас. Мачта качалась из стороны в сторону, корма, вздымаясь и падая в воду, хлопала по ней. Звук был громкий и досадливый,— точно баркасу хотелось оторваться от берега, уйти в широкое, свободное море и он сердился на канат, удерживавший его.

— Ну, чего же ты не уходишь? — спросила Мальва у Якова.

— А куда мне? — отозвался он.

— В город хотел...

— Не пойду!

— Ну, к отцу поезжай.

— А ты?

— Что?

— Тоже поедешь?

— Нет...

— Ну, и я нет.

— Целый день около меня будешь торчать? — спокойно спросила Мальва.

— Не больно-то ты мне пужна...— ответил Яков с обидой, встал и ушел от нее.

Но он ошибся, говоря, что она не нужна ему. Без нее стало скучно. Странное чувство родилось в нем после разговора с пей: смутный протест против отца, глухое недовольство им. Вчера этого не было, не было и сегодня до встречи с Мальвой... А теперь казалось, что отец мешает ему, хотя он там, далеко в море, на этой, чуть заметной глазу, полоске песку... Потом ему казалось, что Мальва боится отца. А кабы она не боялась — совсем бы другое вышло у него с ней.

Он шлялся по промыслу, рассматривая людей. Вон, в тени барака, на бочке сидит Сережка и, тренькая на балалайке, пост, строя смешные рожи:

Господни гор-родо-ввой!
Будьте вежливы со мной...
Отведите меня в часть,
Чтобы в грязь мне не упасть...

Его окружает человек двадцать таких же оборванцев, от всех,— как и от всего здесь,— пахнет соленой рыбой, селитрой. Четыре бабы, некрасивые и грязные, сидя на песке, пьют чай, наливая его из большого жестяного чайника. А вот какой-то рабочий, несмотря на утро, уже пьян, возится на песке, пытается встать на ноги и снова падая. Где-то, взвизгивая, плачет женщина, доносятся звуки испорченной гармоникки, и всюду блестит рыба чешуя.

В полдень Яков нашел себе тепистое местечко среди груды пустых бочек, лег там и проспал до вечера, а проснувшись, снова начал бродить по промыслу, ощущая смутное влечение куда-то.

Проходив часа два, он нашел Мальву далеко от прииска под купой молоденьких ветел. Она лежала на боку и, держа в руках какую-то растрепанную книжку, смотрела навстречу ему, улыбаясь.

— Ишь ты где! — сказал он, садясь рядом с ней.

— А ты меня давно ищешь? — уверенно спросила она.

— Да разве я тебя искал?! — воскликнул Яков, вдруг понимая, что это так и есть: он искал ее. И, в недоумении, парень качнул головой.

— Ты грамотный? — спросила она его.

— Грамотный... да плохо, забыл все уж...

— И я тоже — плохо... В школе учился?

— В земской...

— А я сама выучилась...

— Ну?

— Право... В Астрахани у адвоката кухаркой была; сын его научил меня читать.

— Значит, не сама... — пояснил Яков.

Она посмотрела на него и опять спросила:

— А тебе хочется книжки читать?

— Мне? Нет... чего там?

— А я — люблю, — вот выпросила у приказчиковой жепы книжку и читаю...

— Про что?

— Про Алексея божия человека.

И, задумчиво рассказав ему о том, как юноша — сын богатых и важных родителей — ушел от них и от своего счастья, а потом вернулся к ним, нищий и оборванный, жил на дворе у них вместе с собаками, не говоря им до смерти своей, кто он, — Мальва тихо спросила у Якова:

— Зачем это он так?

— Кто ж его знает? — равнодушно ответил Яков.

Бугры песка, наметенного ветром и волнами, окружали их. Издали доносился глухой, темный шум, — это на промысле шумели. Солнце садилось, на песке лежал розоватый отблеск его лучей. Жалкие кусты ветел чуть трепетали своей бедной листвой под легким ветром с моря. Мальва молчала, прислушиваясь к чему-то.

— Чего же ты сегодня не поехала туда... на косу?

— А тебе что?

Яков искоса жадными глазами поглядывал на женщину, соображая, как ему сказать ей то, что нужно.

— Я вот, когда одна и тихо... все плакать хочу... Или — петь. Только песен я хороших не знаю, а плакать — стыдно...

Он слышал ее голос, тихий, ласковый, но то, что говорила она, не задело в нем ничего, лишь придало более резкую форму его желанию.

— А ты вот что, — глухо заговорил он, пододвигаясь к ней, но не глядя на нее, — ты послушай, что я тебе скажу... Я — парень молодой...

— И глупый, глу-упый! — убежденно вытянула Мальва, качая головой.

— Ну, пускай глупый, — с досадой воскликнул

Яков.— Разве тут ум нужен? Глупый — и ладно! А вот что я скажу — желаешь ты со мной...

— Не желаю!..

— Чего?

— Ничего!

— Да ты не дури... — Он осторожно взял ее за плечи.— Ты сообрази...

— Пошел прочь, Яшка! — сурово сказала она, стряхнув с себя его руку.— Пошел!

Он встал и осмотрелся вокруг.

— Ну... ежели ты так — мне наплевать! Вас здесь много... Думаешь — ты лучше других?

— Щенок ты, — спокойно сказала она, встав на ноги и отряхивая песок с платья.

И они пошли рядом друг с другом на промысел. Шли медленно, потому что ноги вязли в песке.

Яков грубо уговаривал ее уступить его желанию, она спокойно посмеивалась и отвечала ему колкими словами.

Вдруг он, когда они были уже около промысловых барачков, остановился и схватил ее за плечо.

— А ведь это ты нарочно разжигашь меня?! Зачем ты это? Я тебе — смотри!

— Отстань ты, говорю! — она вывернулась из-под его руки и пошла, а навстречу ей из-за угла барака явился Сережка и, тряхнув своей лохматой огненной башкой, сказал зловеще:

— Гуляли? Ладно!

— Подите вы все к черту! — злобно крикнула Мальва.

А Яков остановился против Сережки и угрюмо смотрел на него. Между ними было шагов десять расстояния.

Сережка уставился в глаза Якова. Постояв так с минуту, как два барана, готовые треснуться друг о друга лбами, они молча разошлись в разные стороны.

Море было тихое и красное от заката; над промыслом стоял глухой шум, и из него рельефно выделялся пьяный женский голос, истерически выкрикивавший нелепые слова:

...Та-агарга, матагарга,
Матаничка м-моя!
П-пьяная, избитая,
Растрепанная-а!

И эти слова, гадкие, как мокрицы, разбегались по промыслу, пропитанному запахом селитры и гнилой рыбы,— разбегались, оскорбляя собою музыку волн.

В нежном блеске утренней зари даль моря спокойно дремала, отражая перламутровые облака. На косе возились полусонные рыбаки, укладывая в баркас спаст.

Серая масса сети ползла по песку на баркас и складывалась в кучу на дно его.

Сережка, как всегда, без шапки, полуголый, стоя на корме, торопил рыбаков хриплым, похмельным голосом. Ветер играл лоскутьями его рубахи и рыжими вихрами волос.

— Василий! Где зеленые весла? — кричал кто-то. Василий, хмурый, как октябрьский день, укладывал невод в баркасе, а Сережка смотрел ему в согнутую спину и облизывал губы,— признак его желания опохмелиться.

— У тебя водка есть? — спросил оп.

— Есть,— глухо сказал Василий.

— Ну, так я не поеду... останусь у сухого крыла.

— Готово! — крикнули с косы.

— Отчаливай давай! — командовал Сережка, сходя с баркаса.— Поезжайте... я останусь здесь. Смотри — заводи шире, не путай!.. Да клади ровнее,— петель не навяжите!..

Баркас столкнули в воду, рыбаки влезли в него с бортов и, разобрав весла, подняли их на воздух, готовые ударить по воде.

— Раз!

Весла дружно упали в волны, и баркас рванулся вперед, в широкую равнину озаренной воды.

— Два! — командовал рулевой, и, как лапы гигантской черепахи, весла поднялись к бортам...— Раз!.. Два!..

На берегу у сухого крыла невода осталось пятеро: Сережка, Василий и еще трое. Один из них опустился на песок и сказал:

— Поспать еще...

Двое последовали его примеру, и на песке скорчились в комки три тела в грязных лохмотьях.

— Ты что в воскресенье не был? — спросил Василий у Сережки, идя с ним в шалаш.

— Нельзя было...

— Пьян был?

— Нет. Следил за твоим сыном да за его мачехой, — спокойно сообщил Сережка.

— Нашел заботу! — криво усмехнулся Василий. — Малые они ребята, что ли?

— Хуже... Один — дурак, другая — юродивая...

— Это Мальва юродивая? — спросил Василий, и глаза его вспыхнули злобой. — Давно ли такой стала?

— У нее, брат, душа не по телу...

— Подлая у нее душа.

Сережка покосился на него и презрительно фыркнул.

— Подлая! Эх вы... землееды тупорылые! Ни черта вы понимать не можете... Вам бы только титьки были у бабы жирные, — а характера ее вам не надо... А в характере весь цвет у человека... без характера баба — без соли хлеб. Можешь ты получить удовольствие от такой балалайки, у которой струн нет? Кобель!..

— Ишь ты до каких речей допился вчера!.. — уязвил его Василий.

Ему очень хотелось спросить, где и как видел вчера Сережка Якова и Мальву, но было совестно.

Придя в шалаш, он налил Сережке чайный стакан водки, надеясь, что после такой порции Сережка сразу охмелеет и сам расскажет ему про них.

Но Сережка выпил, крякнул и, весь прояснившись, уселся в двери шалаша, потягиваясь и зевая.

— Выпьешь — как огня проглотишь!.. — сказал он.

— Ну и пьешь ты! — воскликнул Василий, пораженный быстротой, с которой Сережка проглотил водку.

— Умею... — кивнул босяк рыжей головой и, вытерев ладонью мокрые усы, заговорил поучительно: — Умею, брат! Я все делаю скоро и прямо. Без изворотов — валяй прямо и все! А куда попадешь — это все равно! С земли, кроме как в землю, никуда не соскочишь...

— Ты хотел на Кавказ уходить? — спросил Василий, тихонько двигаясь к своей цели...

— Уйду, когда захочу. Когда я захочу, я прямо — раз-раз и... готово! Или по-моему вышло, или шишку на лбу набью... Просто!

— Чего проще! Вроде как без головы живешь...

Сережка насмешливо покосился на Василия.

— А ты — умный! Тебя сколько раз в волости пороли?

Василий посмотрел на него и смолчал.

— А ведь это хорошо, что у вас начальство ум-то сзади наперед розгами перегоняет... Эх ты! Ну, что ты с своей головой можешь поделать? И куда ты с ней угодишь? И чего ты можешь выдумать? То-то! А я без головы пружу прямо, и больше никаких! И, наверное, дальше тебя буду, — хвастливо говорил босяк.

— Это — пожалуй!.. — усмехнулся Василий. — Ты и до Сибири дойдешь...

Сережка искренне расхохотался.

Он не пьянел, вопреки ожиданию Василия, и того злило это. Поднести еще стакан ему было жалко, а в трезвом виде от Сережки ничего не добьешься... Но босяк сам выручил его.

— Ты что же про Мальву не спрашиваешь?

— А чего мне? — равнодушно протянул Василий, вздрагивая от какого-то предчувствия.

— Ведь она в воскресенье не была здесь... Спрашивай, как она жила за эти дни... Чай, ревнуешь, старый черт!

— Много их! — пренебрежительно махнул рукой Василий.

— Много их! — передразнил Сережка. — Эх вы, деревня лыкова помещика дпкого! Дай вам мед, дай деготь — все у вас кулага будет...

— Ты что ее все хвалишь? Сватать, что ли, пришел? Так я ее сам давно усватал, — насмешливо сказал Василий.

Сережка осмотрел его, помолчал и увесисто начал говорить Василию, положив ему руку на плечо:

— Я знаю, что она живет с тобой. Я тебе в этом не мешал — не надо было... Но теперь этот Яшка, сын твой, около нее вертится — вздуй его докрасна! Слышишь? А то я сам вздую... Ты мужик хороший... дурак дубовый... Я тебе не мешал, и ты это помни...

— Вон что! И ты тоже за ней? — глухо спросил Василий.

— Тоже! Кабы я знал, что тоже, — я бы прямо всех вас посшибал с моей дороги и — конец... А то — куда мне ее?

— Так что же ты путаешься? — подозрительно спросил Василий.

Серезжку, должно быть, поразил этот простой вопрос.

Он широко открытыми глазами посмотрел на Василия и засмеялся.

— Чего путаюсь? Да — черт-е знает чего... Так, — баба она... этакая... с перцем... Нравится мне... А может, мне ее жалко, что ли...

Василий смотрел на него недоверчиво, но чувствовал, что Серезжка искренне, от души говорит.

— Кабы она петропутая девка была — ну еще можно пожалеть. А так — чудно что-то!

Серезжка молчал, глядя, как баркас далеко в море поворачивал носом к берегу, описывая широкую дугу. Глаза Серезжки смотрели открыто, лицо было доброе и простое.

Василий смягчился, глядя на него.

— А ты это верно, она баба славная... вертячка только!.. Яшка? Ну, я ему задам! Ишь щенок!..

— Мне оп не по душе... — заявил Серезжка.

— А он ластится к ней? — сквозь зубы спросил Василий, разглаживая бороду.

— Он, — вот увидишь, — клином войдет между вами, — уверенно сказал Серезжка.

В дали морской вспыхнул розовый веер лучей восхода. Сквозь шум волн с моря из баркаса долетел слабый крик:

— Веди-и!..

— Вставай, ребята! Эй! К неводу! — комапдовал Серезжка.

И скоро они, все пятеро, уже выбирали свой край невода. Из воды тянулась на берег длинная веревка, упругая, как струна, и рыбаки, захлестывая за нее лямки, побрякивая, тащили веревку.

А другую сторону невода вел к берегу баркас, скользя по волнам.

Солнце, великолепное и яркое, поднималось над морем.

— Увидишь Якова — скажи, чтобы оп завтра побывал ко мне, — попросил Василий Серезжку.

— Ладно.

Баркас пристал к берегу, и, соскочив с него на песок, рыбаки тянули свое крыло невода. Две группы

постепенно сближались друг с другом, и пошлавки невода, прыгая на воде, образовали правильный полукруг.

Поздним вечером этого дня, когда рабочие на промысле поужинали, Мальва, усталая и задумчивая, сидела на разбитой лодке, опрокинутой вверх дном, и смотрела на море, одетое сумраком. Там, далеко, сверкал огонь; Мальва знала, что это костер, зажженный Василием. Одиноким, точно заблудившийся в темной дали моря, огонь то ярко вспыхивал, то угасал, как бы изнемогая. Мальве было грустно смотреть на эту красную точку, потерянную в пустыне, слабо трепетавшую в неугомонном рокоте волн.

— Ты чего тут сидишь? — раздался голос Сережки за ее спиной.

— А тебе что? — спросила она, не взглянув на него.

— Любопытно.

Он помолчал, разглядывая ее, свернул папироску, закурил и сел верхом на лодку. Потом сказал дружески:

— Чудная ты баба: то бежишь прочь ото всех, то чуть не всем на шею виснешь.

— Это тебе, что ли, я висну? — равнодушно спросила она.

— Не мне, а Яшке.

— А тебе завидно?

— Мм... Давай прямо, по душе говорить? — предложил Сережка, ударив ее по плечу. Она сидела боком к нему, и он не видел ее лица, когда она кратко бросила ему:

— Говори.

— Ты что, Василья бросила, что ли?

— Не знаю, — ответила она, помолчав. — А тебе зачем это?

— Да — так...

— Сердита я на него теперь.

— За что?

— Побил меня!..

— Н-ну?.. Это он-то? А ты — далась ему? Ай-яй!

Сережка был изумлен. Он заглядывал сбоку в ее лицо и иронически чмокал губами.

— Кабы захотела — не далась бы, — возразила она с сердцем.

— Так что же ты?

— Не захотела.

— Крепко, значит, любишь кота? — пасмешливо сказал Сережка и обдал ее дымом своей папиросы. — Ну, дела! А я было думал, что ты не из таких...

— Никого я вас не люблю, — снова равнодушно сказала она, отмахиваясь рукой от дыма.

— Врешь, поди-ка?

— Для чего мне врать? — спросила она, и по ее голосу Сережка почувствовал, что врать ей действительно не для чего.

— А ежели ты его не любишь, как же ты позволяешь ему бить тебя? — серьезно спросил он.

— Да разве я знаю? Чего ты пристаешь?

— Чудно!.. — тряхнув головой, сказал Сережка.

И оба они долго молчали.

Ночь приближалась. Тени ложились на море от облаков, медленно двигавшихся в небе. Волны звучали.

Огонь у Василия на косе погас, но Мальва все еще смотрела туда. А Сережка смотрел на пес.

— Слушай! — сказал он. — Ты знаешь, чего хочешь?

— Кабы знала! — с глубоким вздохом, очень тихо ответила Мальва.

— Стало быть, не знаешь? Это плохо! — уверенно заявил Сережка. — А я вот всегда знаю! — И с оттенком грусти он добавил: — Только мне редко чего хочется.

— Мне всегда хочется чего-то, — задумчиво заговорила Мальва. — А чего?.. не знаю. Иной раз села бы в лодку — и в море! Далеко-о! И чтобы никогда больше людей не видеть. А иной раз так бы каждого человека завертела, да и пустила волчком вокруг себя. Смотрела бы на него и смеялась. То жалко всех мне, а пуще всех — себя самоё, то избила бы весь народ. И потом бы себя... страшной смертью... И тоскливо мне и весело бывает... А люди все какие-то дубовые.

— Народ гнилой, — согласился Сережка. — То-то, я смотрю на тебя и вижу — не кошка ты, не рыба... и не птица... А все это есть в тебе, однако... Не похожа ты на баб.

— И то слава богу! — усмехнулась Мальва.

Из-за гряды песчаных бугров, слева от них, появилась луна, обливая море серебряным блеском. Большая,

кроткая, она медленно плыла вверх по голубому своду неба, яркий блеск звезд бледнел и таял в ее ровном, мечтательном свете.

Мальва улыбнулась.

— А... знаешь? Мне иной раз кажется,— что, если бы барак ночью поджечь,— вот суматоха была бы!

— Какая! — с восхищением воскликнул Сережка и вдруг толкнул ее в плечо.— Знаешь что... я тебя научу,— забавную штуку сыграем! Хочешь?

— Ну? — с интересом спросила Мальва.

— Ты этого Яшку раззадорила здорово?

— Огнем пышет,— усмехнулась она.

— Страви его с отцом! Ей-богу! Потешно будет... Схватятся они, как медведи... Ты подогрей старика-то, да и этого тоже... А потом мы их друг на друга и спустим... а?

Мальва обернулась к нему и пристально посмотрела на его рыжее, весело улыбавшееся лицо. Освещенное луной, оно казалось менее пестрым, чем днем, при свете солнца. На нем не было заметно ни злобы,— ничего, кроме добродушной и немпожко озорной улыбки.

— За что ты их не любишь? — подозрительно спросила Мальва.

— Я?... Василий — ничего, мужик хороший. А Яшка — дрянь. Я, видишь ты, всех мужиков не люблю... сволочи! Они прикинутся сиротами — им и хлеба дают и — все!.. У них вон есть земство, и оно все для них делает... Хозяйство у них, земля, скот... Я у земского доктора кучером служил, посмотрелся на них... потом бродяжил много. Придешь, бывало, в деревню, попросишь хлеба — цоп тебя! Кто ты, да что ты, да подай паспорт... Бивали сколько раз... То за конокрада примут, то просто так... В холодную сажали... Они ноют да притворяются, но жить могут: у них есть зацепка — земля. А я что против них?

— А ты разве не мужик? — перебила его Мальва, внимательно слушая его речь.

— Я мещанин! — с некоторой гордостью отрекся Сережка.— Города Углича мещанин.

— А я — из Павлиша,— задумчиво сообщила Мальва.

— За меня никого нет заступника! А мужики... они, черти, могут жить. У них и земство и все такое.

— А земство — это что? — спросила Мальва.

— Что? А черт его знает что! Для мужиков поставлено, их управа... Плюнь на это... Ты говори о деле — устрой-ка им стычку, а? Ничего ведь от этого не будет,— подерутся только!.. Ведь Василий бил тебя? Ну, вот и пусть ему его же сын за твои побои возместит.

— А что? — усмехнулась Мальва.— Это хорошо бы...

— Ты подумай... разве не приятно смотреть, как из-за тебя люди ребра друг другу ломают? Из-за одних только твоих слов?.. двинула ты языком раз-два и — готово!

Сережка долго, с увлечением рассказывал ей о прелести ее роли. Он одновременно и шутил и говорил серьезно.

— Эх, ежели бы я красивой бабой был! Таковую бы я на сем свете заваруху развел! — воскликнул он в заключение, схватил голову в руки, крепко сжал ее, зажмурил глаза и замолчал.

Луна уже была высоко в небе, когда они разошлись. Без них красота почи увеличилась. Теперь осталось только безмерное, торжественное море, посеребренное луной, и синее, усеянное звездами небо. Были еще бугры песку, кусты ветел среди них и два длинные, грязные здания на песке, похожие на огромные, грубо сколоченные гроба. Но все это было жалко и ничтожно перед лицом моря, и звезды, смотревшие на это, блестели холодно.

Отец и сын сидели в шалаше друг против друга, пили водку. Водку принес сын, чтобы не скучно было сидеть у отца и чтобы задобрить его. Сережка сказал Якову, что отец сердится на него за Мальву, а Мальве грозит избить ее до полусмерти; что Мальва знает об этой угрозе и потому не сдается ему, Якову. Сережка смеялся над ним.

— За-адаст он тебе за твои шашни! Так оттянет уши, что они по аршину величиной будут! Ты лучше не попадайся на глаза ему!

Насмешки рыжего, неприятного человека породили в Якове острую злобность к отцу. А тут еще Мальва мнетя и, глядя на него то задорно, то грустно, усиливает до боли его желание обладать ею...

И вот Яков, придя к отцу, смотрит на него, как на камень посреди своей дороги,— на камень, через ко-

торый невозможно перескочить и обойти его нельзя. Но, чувствуя, что он нимало не боится отца, Яков уверенно смотрел в его угрюмые, злые глаза, точно говорил ему:

«Ну-ка, тропь?!»

Они уже дважды выпили, но ничего не сказали еще друг другу, кроме нескольких незначительных слов о промысловой жизни. Один на один среди моря, они копили в себе озлобление друг против друга, и оба знали, что скоро оно вспыхнет, обожжет их.

Рогожи шалаша шуршали под ветром, лубки постукивали друг о друга, красная тряпка на конце шеста лепетала что-то. Все эти звуки были робки и похожи на отдаленный шепот, бессвязно, перешительно просивший о чем-то.

— Что, Сережка пьет все? — угрюмо спросил Василий.

— Пьет, каждый вечер пьяный, — ответил сын, наливая еще водки.

— Пропадет он... Вот она, свободная-то жизнь... без страха!.. И ты такой же будешь...

Яков кратко ответил:

— Я таким не буду!

— Не будешь?! — хмуря брови, сказал Василий. — Знаю я, что говорю... Сколько времени живешь здесь? Третий месяц пошел, скоро надо будет домой идти, а много ли денег понесешь? — Он сердито плеснул из чашки в рот себе водку и, собрав бороду в руку, дернул ее так, что у него голова тряхнулась.

— За такое малое время многого здесь и нельзя добыть, — резонно ответил Яков.

— А коли так, так нечего тебе тут шалыгапить — иди в деревню!

Яков молча усмехнулся.

— Что рожу кривишь? — угрожающе воскликнул Василий, озлобляясь спокойствием сына. — Отец говорит, а ты смеешься! Смотри, не рано ли начал вольничать-то? Не взнуздал бы я тебя...

Яков налил водки, выпил. Грубые придирки обижали его, но он крепился, не желая говорить так, как думал и хотел, чтоб не взбесить отца. Он немножко робел перед его взглядом, сверкавшим сурово и жестко.

А Василий, видя, что сын выпил один, не палив ему, еще более освирепел.

— Говорит тебе отец — ступай домой, а ты смешки ему показываешь? Проси в субботу расчет и... марш в деревню! Слышишь?

— Не пойду! — твердо сказал Яков и упрямо мотнул головой.

— Это как так? — взревел Василий и, опершись руками о бочку, поднялся со своего места. — Я тебе говорю или нет? Что ты, собака, против отца рычишь? Забыл, что я могу с тобой сделать? Забыл ты?

Губы у него дрожали, лицо кривили судороги; две жилы вздулись на висках.

— Ничего я не забыл, — вполголоса сказал Яков, не глядя на отца. — Ты-то все ли помнишь, гляди?

— Не твое дело учить меня! Разражу вдребезги...

Яков уклонился от руки отца, поднятой над его головой, и, стиснув зубы, заявил:

— Ты не тронь меня... Здесь не деревня.

— Молчать! Я тебе везде — отец!..

— Здесь в волости не выпорешь, нет ее здесь, волости-то, — усмехнулся Яков прямо в лицо ему и тоже медленно поднялся.

Василий, с налитыми кровью глазами, вытянув вперед шею, сжал кулаки и дышал в лицо сына горячим дыханием, смешанным с запахом водки; а Яков откинулся назад и зорко следил угрюмым взглядом за каждым движением отца, готовый отражать удары, наружно спокойный, но — весь в горячем поту. Между ними была бочка, служившая им столом.

— Не выпорю? — хрипло спросил Василий, изгибая спину, как кот, готовый прыгнуть.

— Здесь — все ровня... Ты рабочий — и я тоже.

— Вон что-о?

— Ну, а как? За что ты на меня взъелся? Думаешь, я не понимаю? Ты сам сначала...

Василий зарычал и так быстро взмахнул рукой, что Яков не успел уклониться. Удар попал ему по голове; он пошатнулся и оскалил зубы в зверское лицо отца, уже снова поднявшего руку.

— Смотри! — предупредил он его, сжимая кулаки.

— Я тебе — посмотрю!

— Брось, мол!

— Ага... ты!.. ты — отца?.. отца?.. отца?..

Им было тесно тут, в погах у них путалось кулье из под соли, опрокинутая бочка, обрубок.

Отбиваясь кулаками от ударов, Яков, бледный и потный, со стиснутыми зубами и по-волчьи горевшим взглядом, медленно отступал перед отцом, а тот шел на него, свирепо махая кулаками, слепой в своей злобе, как-то вдруг и странно растрепавшийся — точно ошетинился, как освирепевший кабан.

— Отстань — будет — брось! — говорил Яков, зловеще и спокойно, выходя из двери шалаша на волю.

Отец рычал и лез на него, но его удары встречали только кулаки сына.

— Ишь как тебя... ишь... — поддразнивал его Яков, сознавая себя более ловким.

— погоди... пос-стой...

Но Яков прыгнул вбок и бросился бежать к морю.

Василий пустился за ним, наклонив голову и простирая руки вперед, но загнувшись ногой за что-то и упал грудью на песок. Он быстро поднялся на колени и сел, упершись в песок руками. Он был совершенно обессилен этой возней и тоскливо завыл от жгучего чувства неудовлетворенной обиды, от горького сознания своей слабости.

— Будь ты проклят! — захрипел он, вытягивая шею к Якову и сплевывая пепу бешенства со своих дрожащих губ.

Яков прислонился к лодке и зорко смотрел на него, потирая рукой ушибленную голову. Один рукав его рубахи был оторван и висел на петле, ворот тоже был разорван, белая потная грудь лоснилась на солнце, точно смазанная жиром. Он чувствовал теперь презрение к отцу; он считал его сильнее, и, глядя, как отец, растрепанный и жалкий, сидит на песке и грозит ему кулаками, он улыбался списходительной, обидной улыбкой сильного слабому.

— Проклят ты от меня... вовеки!

Василий так громко крикнул проклятие, что Яков невольно оглянулся в даль моря, к промыслу, точно думал, что там услышат этот крик бессилия.

Но там были только волны и солнце. Тогда он сплюнул в сторону и сказал:

— Кричи!.. Кому досадишь? Себе только... А коли у нас так вышло, я вот что скажу...

— Молчи!.. Уйди с глаз... уйди! — крикнул Василий.

— В деревню я не пойду... буду тут зимовать...— говорил Яков, не переставая следить за движениями отца.— Мне здесь лучше,— я это понимаю, не дурак. Здесь легче... Там ты бы надо мной верховодил, как хотел, а здесь — на-ко выкуси!

Он показал отцу кукиш и засмеялся, не громко, но так, что Василий, снова разъяренный, вскочил на ноги и, схватив весло, бросился к нему, хрипло выкрикивая:

— Отцу? Отцу-то? Убью...

Но, когда он, слепой в своей ярости, подскочил к лодке, Яков был уже далеко от него. Он бежал, и оторванный рукав рубашки неся за ним по воздуху.

Василий бросил в него веслом, оно не долетело, и мужик, снова обессиленный, свалился грудью в лодку и царапал ногтями дерево, глядя на сына, а тот кричал ему издали:

— Стыдился бы! Седой уж, а — из-за бабы — так озверел... Эх ты! А в деревню я не ворочусь... Сам иди туда... нечего тебе тут делать...

— Яшка! молчи! — заглушая его крик, взревел Василий.— Яшка! Убью я тебя... Поди прочь!

Яков пошел не торопясь.

Тупыми, безумными глазами отец смотрел, как он идет. Вот он стал короче, ноги его как бы утонули в песке... он ушел в него по пояс... по плечи... с головой. Нет его... Но через минуту, немного дальше того места, где он исчез, опять сначала появилась его голова, плечи, потом весь он... Он стал меньше теперь... Обернулся и смотрит сюда и что-то кричит.

— Проклят ты! Проклят, проклят! — ответил Василий на крик сына. Тот махнул рукой, снова пошел и... снова исчез за бугром песка.

Василий еще долго смотрел в ту сторону, пока спина его не заняла от неудобной позы, в которой он полулежал, прислонясь к лодке. Разбитый, он встал на ноги и пошатнулся от ноющей боли в костях. Пояс сбился ему под мышки; деревянными пальцами он развязал его, поднес к глазам и бросил на песок. Потом пошел в шалаш и, остановясь перед углублением в песке, вспомнил, что на этом месте он упал и что если б не упал он, то поймал бы сына. В шалаше все было разбросано. Василий поискал глазами бутылку с водкой и, найдя ее между кулями, поднял. Пробка сидела в горле бутылки плотно, водка не пролилась.

Василий медленно выковырял пробку и, сунув горло бутылки себе в рот, хотел пить. Но стекло стучало его по зубам, и водка лилась изо рта на бороду, на грудь.

В голове у Василия шумело, на сердце было тяжело, спину ломила поющая боль.

— Стар я, однако!.. — вслух сказал он и опустился на песок у входа в шалаш.

Пред ним было море. Смеялись волны, как всегда шумные, игривые. Василий долго смотрел на воду и вспомнил жадные слова сына:

«Кабы это все земля была! Да чернозем бы! Да распахать бы!»

Едкое чувство охватило мужика. Он крепко потер себе грудь, оглянулся вокруг себя и глубоко вздохнул. Голова его низко опустилась и спина согнулась, точно тяжесть легла на нее. Горло сжималось от приступов удушья. Василий откашлялся, перекрестился, глядя на небо. Тяжелая дума обуяла его.

...За то, что он, ради гулящей бабы, бросил жену, с которой прожил в честном труде больше полутора десятка лет, — господь наказал его восстанием сына. Так, господи!

Надругался сын над ним, больно рванул его за сердце... Убить его мало за то, что он так надсадил душу своего отца! Из-за чего? Из-за женщины, дряпной, зазорной жизнью живущей!.. Грех было ему, старику, связываться с ней, забыв о своей жене и сыне.

И вот господь, во святом гневе своем напомнил ему, через сына ударил его по сердцу справедливой карой своей... Так, господи!..

Василий сидел согнувшись, крестился и часто моргал глазами, смахивая ресницами слезы, ослеплявшие его.

Солнце опускалось в море. На небе тихо гасла багряная заря. Из безмолвной дали неся теплый ветер в мокрое от слез лицо мужика. Погруженный в думы раскаяния, он сидел до поры, пока не уснул.

Через день после ссоры с отцом Яков с партией рабочих отправился на барке под буксиром парохода верст за тридцать от промысла на ловлю осетра. Воротился он на промысел через пять дней один, в лодке под парусом, — его послали за харчами. Он приехал в

полдень, когда рабочие, пообедав, отдыхали. Было нестерпимо жарко, раскаленный песок жег ноги, а чешуя и кости рыб кололи их. Яков осторожно шагал к баракам и ругал себя за то, что не надел сапог. Возвращаться на баркас было лень, к тому же он торопился скорее поесть чего-нибудь и увидеть Мальву. За скучное время, проведенное в море, он часто вспоминал ее. Ему теперь хотелось узнать, видела ли она его отца и что он говорил ей... Может быть, он избил ее? Ее побить не вредно, — смирнее будет! А то больно уж задорна да бойка она...

На промысле было тихо и пустынно. Окна в бараках были открыты, и эти большие деревянные ящики тоже, казалось, изнывали от жары. В приказчиковой копторе, спрятавшейся между бараками, падрываясь, кричал ребенок. Из-за груды бочек доносились чьи-то тихие голоса.

Яков смело пошел на них: ему показалось, что он слышит речь Мальвы. Но, подойдя к бочкам и взглянув за них, он отступил назад и, насупившись, стал.

За бочками, в тени их, лежал вверх грудью, закинув руки под голову, рыжий Сережка. По одну сторону его сидел отец, а по другую — Мальва.

Яков подумал про отца:

«Зачем он тут? Неужто перевелся на промысел со своей спокойной должности для того, чтобы к Мальве ближе быть, а его к ней не подпускать? Ах, черт! Кабы мать все эти его поступки знала!.. Идти к ним или не надо?»

— Так!.. — сказал Сережка. — Стало быть — прощай? Ну, что же! Иди, ковыряй землю.

Яков радостно моргнул.

— Иду... — сказал отец.

Тогда Яков смело шагнул вперед и поздоровался:

— Честной компании!

Отец мельком взглянул на него и отвернулся в сторону, Мальва и бровью не моргнула, а Сережка дрыгнул ногой и сказал густым голосом:

— Вот воротился из дальних стран возлюбленный сын наш Яшка! — и своим обыкновенным тоном добавил: — Драть с него шкуру на барабан, как овчину с барашка...

Мальва тихо засмеялась.

— Жарко! — сказал Яков, садясь.

Василий снова взглянул на него.

— А я тебя, Яков, жду,— заговорил он.

Голос его показался Якову более тихим, чем всегда, и лицо было тоже точно новое.

— Я за харчами...— сообщил он и попросил у Сережки табаку на папироску.

— Нет от меня табаку тебе, дураку,— сказал Сережка, не двигаясь.

— Ухожу я домой, Яков,— внушительно произнес Василий, ковыряя песок пальцем руки.

— Что так? — невинно посмотрел на него сын.

— Ну, а ты... останешься?

— Да, я останусь... Что нам двоим дома делать?

— Ну... я ничего не скажу. Как хочешь... не маленький! Только ты тово... помни, что я недолго протяну. Жить-то, может, и буду, а работать не знаю уж как... Отвык я, чай, от земли... Так ты помни, мать у тебя там есть.

Ему, должно быть, трудно было говорить: слова как-то вязли у него в зубах. Он гладил бороду, и рука его дрожала.

Мальва пристально смотрела на него. Сережка прищурил один глаз, а другой сделал круглым и уставил его в лицо Якова. Яков был полон радости и, боясь выдать ее, молчал, глядя на свои ноги.

— Не забудь же про мать-то... Смотри, один ты у нас,— говорил Василий.

— Чего там? — сказал Яков, пожегившись.— Я знаю.

— Ладно, коли знаешь!.. — недоверчиво взглянув на него, сказал отец.— Я говорю только — не забудь, мол.

Василий глубоко вздохнул. Несколько минут все четверо молчали. Потом Мальва сказала:

— Скоро зазвонят на работу...

— Ну, я пойду! — поднимаясь на ноги, объявил Василий. И все остальные встали за ним.

— Прощай, Сергей... Случится тебе быть на Волге — может, заглянешь?.. Симбирского уезда, деревня Мазло, Николо-Лыковской волости...

— Ладно,— сказал Сережка, тряхнул ему руку и, не выпуская ее из своей жилистой ланы, поросшей рыжей шерстью, взглянул с улыбкой в его грустное и серьезное лицо.

— Лыково-Никольское — большое село... Далеко его знают, а мы от него — четыре версты,— объяснял Василий.

— Ну, ну... Я забреду,— коли случай будет...

— Прощай!

— Прощай, милый человек!

— Прощай, Мальва! — глухо сказал Василий, не глядя на нее.

Она не торопясь вытерла себе губы рукавом и, закинув ему свои белые руки на плечи, трижды молча и серьезно поцеловала его в щеки и губы.

Он смутился и что-то невнятно промычал. Яков наклонил голову, скрывая усмешку, а Сережка легонько зевнул, глядя в небо.

— Жарко тебе будет идти,— сказал он.

— Ничего... Ну, прощай, Яков!

— Прощай!

Они стояли друг против друга, не зная, что делать. Печальное слово «прощай», так часто и однообразно звучавшее в воздухе в эти секунды, пробудило в душе Якова теплое чувство к отцу, но он не знал, как выразить его: обнять отца, как это сделала Мальва, или пожать ему руку, как Сережка? А Василию была обидна перешителность, выражавшаяся в позе и на лице сына, и еще он чувствовал что-то близкое к стыду пред Яковым. Это чувство вызывалось в нем воспоминаниями о сцене на косе и поцелуями Мальвы.

— Так про мать-то помни! — сказал наконец Василий.

— Да ладно уж! — тепло улыбнувшись, воскликнул Яков.— Ты не беспокой себя... а я уж!..

И он потрянул головой.

— Ну... и все! Живите тут, дай вам господь... не поминайте лихом... Так котелок-то, Серега, в песке я зарыл, под кормой, у зеленой лодки.

— А на что ему котелок? — быстро спросил Яков.

— Он на мое место определен... Туда, на косу! — объяснил Василий.

Яков посмотрел на Сережку, взглянул на Мальву и опустил голову, скрывая радостный блеск в своих глазах.

— Прощайте ж, братцы... иду я!

Василий поклонился им и пошел. Мальва двинулась за ним.

— Я провожу тебя немножко...

Сережка лег на песок и схватил за ногу Якова, тоже было шагнувшего за Мальвой.

— Тпру! Куда?

— погоди! Пусти...— рванулся было Яков.

Но Сережка схватил его за другую ногу.

— Посиди со мной...

— Да ну-у! Чего дуришь?

— Я не дую... А ты сядь!

Яков сел, стиснув зубы.

— Чего тебе надо?

— погоди! Ты помолчи, а я подумаю, потом п скажу...

Он грозно окинул парня своими пахальными глазами, и Яков покорился ему...

Мальва и Василий несколько времени шли молча. Она заглядывала сбоку в лицо ему, а глаза ее странно блестели. А Василий угрюмо нахмурился и молчал. Ноги их вязли в песке, и шли они медленно.

— Вася?

— Что?

Он взглянул на нее и тотчас же отвернулся.

— А ведь это я нарочно поссорила тебя с Яшкой-то... Можно бы и так жить вам здесь, не ссорясь,— говорила она спокойно и ровно.

— Зачем же это ты? — помолчав, спросил Василий.

— Не знаю... Так!

Она пожала плечами, усмехаясь.

— Хорошее сделала дело! Эх ты! — укорил он ее злым голосом.

Она промолчала.

— Испортишь ты мне парня, вконец испортишь! Эхма! Ведьма ты, ведьма... бога не боишься... стыда не имеешь... что делаешь?

— А что надо делать? — спросила она его. Не то тревога, не то досада звучали в ее вопросе.

— Что? Эх ты!..— вспыхивая острой злобой к ней, воскликнул Василий.

Ему страстно хотелось ударить ее, свалить ее себе под ноги и втоптать в песок, ударя сапогами в ее грудь и лицо. Он сжал кулак и оглянулся назад.

Там, у бочек, торчали фигуры Якова и Сережки, и лица их были обращены к нему.

— Поди прочь,— уйди! Расшиб бы я тебя...

Он почти шептал ей ругательства прямо в лицо. Глаза у него были палиты кровью, борода тряслась, а руки невольно тянулись к ее волосам, выбившимся из-под платка.

Она же смотрела на него спокойно своими зелеными глазами.

— Убить бы мне тебя, потаскуха ты! Погоди... па-летишь еще... сломят тебе башку!

Она усмехнулась, помолчала, а потом, вздохнув глубоко, бросила ему:

— Ну, полно... Прощай!

И, круто повернувшись, пошла назад.

Василий рычал вслед ей и скрипел зубами. А Мальва шла и все старалась попасть своими ногами в ясные глубокие следы ног Василия, оттиснутые в песке, и, попав в этот след, она старательно затираала его своей ногой. Так она медленно шла вплоть до бочек, где Сережка встретил ее вопросом:

— Ну, проводила?

Она утвердительно кивнула ему головой и села рядом с ним. Яков смотрел на нее и ласково улыбался, двигая своими губами так, точно он шептал что-то, слышное только ему.

— Что же, — проводила, жалко стало? — снова спросил ее Сережка словами песни.

— Ты когда пойдешь туда, на косу? — ответила она вопросом, кивая головой в море.

— Вечером.

— И я с тобой...

— Важно!.. Это я люблю...

— И я пойду! — решительно заявил Яков.

— Кто тебя зовет? — спросил Сережка, щуря глаза.

Раздался дребезжащий звон разбитого колокола — призыв к работе. Звуки торопливо неслись в воздухе один за другим и умирали в веселом шорохе волн.

— А вот она позовет! — сказал Яков, вызывающе глядя на Мальву.

— Я? На что ты мне нужен? — удивилась она.

— Будем говорить, прямо, Яшка!.. — сурово сказал Сергей, поднимаясь на ноги. — Ежели ты к ней приставать будешь — избыю вдрызг! А пальцем тронешь — убью, как муху! Хлопну по башке — и нет тебя на свете! У меня — просто!

Все лицо его, вся фигура и узловатые руки, потянувшиеся к горлу Якова, очень убедительно говорили о том, как все это просто для него.

Яков отступил на шаг и сдавленно сказал:

— Погоди! Ведь она сама же...

— Цыц — и все тут! Что ты такое? Не тебе, собака, барашка поедать: скажи спасибо, коли дадут костей поглотать... Ну? Чего буркалы пялишь?

Яков взглянул на Мальву. Зеленые глаза ее усмехались в лицо ему обидной, унижающей усмешкой, и она прижалась сбоку к Сережке так ласково, что Якова в пот бросило.

Они ушли от него рядом друг с другом и, отойдя немного, засмеялись оба громким смехом. Яков крепко втиснул правую ногу в песок и замер в напряженной позе, тяжело дыша.

Вдали по желтым, мертвым волнам песка двигалась маленькая, темная человеческая фигурка; справа от нее сверкало на солнце веселое, могучее море, а слева, вплоть до горизонта, лежали пески — однообразные, упылые, пустынные. Яков посмотрел на одинокого человека и, заморгав глазами, полными обиды и недоумения, крепко потер себе грудь обеими руками...

На промысле закипала работа.

Яков слышал сочный, грудной голос Мальвы, сердито кричавшей:

— Кто взял мой пож?

Волны звучали, солнце сияло, море смеялось...

СКУКИ РАДИ

...Извергая клубы тяжелого серого дыма, пассажирский поезд, как огромное пресмыкающееся, исчезал в степной дали, в желтом море хлебов. Вместе с дымом поезда в знойном воздухе таял сердитый шум, нарушавший в продолжение нескольких минут равнодушное молчание широкой и пустынной равнины, среди которой маленькая железнодорожная станция возбуждала своим одиночеством чувство грусти.

И когда глухой, но жизненный шум поезда рассеялся, замер под ясным куполом безоблачного неба,— вокруг станции снова воцарилась угнетающая тишина.

Степь была золотисто-желтая, небо — ярко-голубое. И та и другое необъятно велики; коричневые постройки станции, брошенной среди них, производили впечатление случайного мазка, портившего центр меланхолической картины, трудолюбиво написанной художником, лишенным фантазии.

Ежедневно в двенадцать дня и в четыре пополудни к станции приходят из степи поезда и стоят по две минуты. Эти четыре минуты — главное и единственное развлечение станции: они приносят с собой впечатления ее служащим.

В каждом поезде толпа разнообразных людей, разнообразно одетых. Они являются на миг; в окнах вагонов мелькнут их утомленные, нетерпеливые, равнодушные лица — звонок, свистки — и с грохотом они уносятся по степи, вдаль, в города, где кипит шумная жизнь.

Служащим станции любопытно видеть эти лица, и, проводив поезд, они делятся друг с другом наблюдениями, схваченными на лету. Вокруг них лежит молчаливая степь, над ними — равнодушное небо, а в их сердцах — смутная зависть к людям, которые ежедневно куда-то стремятся мимо них, тогда как они остаются, заключенные в пустыне, живя как бы вне жизни.

И вот, проводив поезд, они стоят на перроне станции, провожая глазами черную ленту, — она исчезает в золотом море хлеба, — и молчат под впечатлением жизни, пролетевшей мимо них.

Они почти все тут: начальник станции — добродушный, полный блондин с большими казацкими усами; его помощник — рыжеватый молодой человек с острой бородкой; станционный сторож Лука — маленький, юркий и хитрый, и один из стрелочников — Гомозов, плотный, широкобородый, молчаливый мужик.

На скамье у двери станции сидит жена пачальника, маленькая толстая женщина, сильно страдающая от жары. На коленях у нее спит ребенок, лицо у него такое же пухлое и красное, как у матери.

Поезд скрывается под уклоном, кажется, что он зарылся в землю.

Тогда пачальник станции говорит, обращаясь к жене:

— А что, Соня, самовар готов?

— Конечно, — лениво и тихо отвечает она.

— Лука! Ты тут, того... подмети полотно и перрон... видишь — сколько нашвыряли всякой всячины...

— Я знаю, Матвей Егорович...

— Да... ну что же? Будем чай пить, Николай Петрович?

— По обыкновению, — говорит помощник.

А после провода дневного поезда Матвей Егорович спрашивал жену:

— А что, Соня, обед готов?

Потом он отдает приказание Луке, всегда одно и то же; приглашает помощника, который столуется у них:

— Ну, что же? Будем обедать?

А помощник резонно отвечает ему:

— Как всегда...

Уходят с перрона в комнату, где много цветов и мало мебели, где пахнет кухней и пеленками, и там, во-

круг стола, разговаривают о том, что промелькнуло мимо них.

— Заметили, Николай Петрович, во втором классе брюнеточку в желтом? Ядовитая штукенция!..

— Недурна, но одета безвкусно,— отвечает помощник.

Он всегда говорит кратко и уверенно, считая себя человеком, знающим жизнь и образованным. Он окончил гимназию. У него есть тетрадка в черном коленкоре; он записывает в нее разные изречения знаменитостей, вылавливая их из фельетонов газет и книг, случайно попадающих в его руки. Начальник бесспорно признает его авторитет во всем, что не касается службы, и слушает его внимательно. Особенно ему нравятся премудрости из тетрадки Николая Петровича, и он всегда простодушно восхищается ими. Замечание помощника о костюме брюнетки вызывает у Матвея Егоровича вопрос:

— Разве желтое не к лицу брюнеткам?

— Я говорю о фасоне, а не о цвете,— объясняет Николай Петрович, аккуратно накладывая варенье из стеклянной вазы себе на блюдечко.

— Фасон — это другое дело!..— соглашается начальник.

В разговор вступает его жена, потому что эта тема близка и понятна ей. Но так как умы этих людей мало изощрены — беседа тянется медленно и редко волнует их чувства.

А в окно смотрит степь, очарованная молчанием, и небо, важное в своем великолепном спокойствии.

Почти каждый час являются товарные поезда; но прислуга, сопровождающая их, давно знакома. Все эти кондуктора — люди полусонные, подавленные скучной ездой по степи. Впрочем, иногда они рассказывают о происшествиях на линии: на такой-то версте раздавили человека; или говорят о новостях по службе: тот оштрафован, этот переведен. Эти новости не обсуждаются — их пожирают, как лакомки пожирают вкусное и редкое блюдо.

Солнце медленно сползает с неба на край степи, и когда оно почти коснется земли, то становится багровым. На степь ложится красноватое освещение, возбуждающее тоскливое чувство, смутное влечение вдаль, вон из этой пустоты. Потом солнце прикасается краем

к земле и лениво уходит в нее или за нее. В небе еще долго после него тихо играет музыка ярких цветов вечерней зари, но она все бледнеет, и наступают сумерки, теплые и молчаливые. Вспыхивают звезды и трепещут, точно испуганные скукой на земле.

В сумерках степь суживается; на станцию со всех сторон бесшумно ползет тьма ночи. И вот приходит ночь, черная, угрюмая.

На станции зажигают огни; ярче и выше всех зеленеватый огонь семафора. Вокруг него тьма и молчание.

Порой раздается звонок — повестка к поезду; торпливый звук колокола несется в степь и быстро топает в ней.

Вскоре после звонка из темной дали выбегает красный сверкающий огонь, и тишина в степи содрогается от глухого грохота поезда, идущего к одинокой станции, окруженной тьмой.

Низший слой маленького общества на станции живет несколько иначе, чем аристократия. Сторож Лука вечно борется с желанием сбегать к жене и брату в деревню за семь верст от станции. Там у него хозяйство, как он говорит Гомозову, когда просит этого молчаливого степенного стрелочника «подежурить» на станции.

При слове «хозяйство» Гомозов всегда тяжело вздыхает и говорит Луке:

— Что ж, поди. Хозяйство требует присмотра, это верно...

А другой стрелочник, Афапасий Ягодка, старый солдат с круглым, красным лицом в седой щетине, человек насмешливый и злобный, не верит Луке.

— Хозяйство! — восклицает он, усмехаясь. — Жена!.. Понимаю я, что оно такое... Жена-то у тебя вдова, что ли? Али солдатка?

— Ах ты птичий губернатор! — презрительно откликается Лука.

Он зовет Ягодку птичьим губернатором за то, что старый солдат страстно любит птиц. Вся будка у него, и внутри и снаружи, увешана клетками и садками; в ней, как и вокруг нее, целый день, не смолкая, раздаются птичий гам. Плененные солдатом перепела неустанно кричат свое однообразное «подь-полоть», сквор-

цы бормочут длинные речи, разноцветные маленькие птички неустанно щебечут, свистят и поют, услаждая одинокую жизнь солдата. Он возится с ними все свое свободное время, и, относясь к ним ласково и заботливо, не обнаруживает никакого интереса к товарищам. Луку он зовет ужом, Гомозова — кацапом и, не стесняясь, говорит им в глаза, что оба они «бабьи прихвостни» и что следует за это бить их.

Лука на его слова мало обращает внимания, но, если солдату удастся раздражить его, Лука долго и едко ругает его:

— Гарниза ты серая, крысиный обьедок! Что ты можешь понимать, отставной козы барабапщик? Гонял ты всю свою жизнь лягушек из-под пушек да полковую капусту караулил... твое ли дело рассуждать? Пошел к перепелам, птичий командир!

Ягодка, спокойно выслушав ругательства сторожа, шел жаловаться на него начальнику станции, а тот кричал, чтобы к нему не лезли с пустяками, и гнал солдата прочь. Тогда Ягодка находил Луку и уже сам начинал ругать его — не горячась, спокойно, тяжеловесными и скверными словами, от которых Лука скоро убегал, отплевываясь.

Гомозов на обличения солдата отвечал вздохами и сконфуженно оправдывался:

— Что поделаешь? Ничего не поделаешь с этим... Конечно... баловство это... но, между прочим, не суди, да не осужден будешь...

Однажды солдат ответил ему, усмехаясь:

— Заладила сорока Якова одно про всякого! Не суди, не суди... а коли не судить, так людям не о чем и разговаривать...

Кроме жены начальника, на станции была еще одна женщина — кухарка. Звали ее Арипа; ей было лет под сорок, и была она очень некрасива: коренастая, с отвислыми грудями; всегда грязная и оборванная. Она ходила, переваливаясь с ноги на ногу, и на ее рябом лице блестели узкие испуганные глазки, окруженные морщинами. Было что-то рабское, забитое в ее нескладной фигуре, толстые губы ее постоянно складывались так, точно она хотела просить прощения у всех людей, валяться в ногах у них и не смела плакать. Гомозов

прожил на станции восемь месяцев, не обращая особенного внимания на Арину: встречаясь с нею, он говорил ей «здорово!». Она отвечала ему тем же, перекидывались двумя-тремя фразами и затем расходились, каждый в свою сторону. Но однажды Гомозов пришел в кухню начальника станции и предложил Арине сшить ему рубах. Она согласилась и, сшив рубахи, зачем-то сама принесла их к нему.

— Вот и спасибо! — сказал Гомозов. — Три рубахи, по гривеннику штука, стало быть — тридцать копеек следует тебе... Верно?

— Да уж так... — ответила Арина.

Гомозов задумался и долго молчал.

— А ты какой губернии? — спросил он наконец женщину, все время смотревшую на его бороду.

— Рязанской... — сказала она.

— Издалека! А сюда как же попала?

— А так... одна я... одипокая...

— От этого и дальше можно зайти... — вздохнул Гомозов.

И снова они долго молчали.

— Вот и я тоже. Нижегородский я, Сергачского уезда... — заговорил Гомозов. — Вот и я тоже один, весь тут. А было у меня хозяйство, жена тоже была... дети — двое. Жена умерла в холеру, а дети просто так... А я того... замотался с горя. Да-а... Потом пробовал опять устроиться — ах нет, развинтилась машина, не работает. Ну и пошел... на сторону, стало быть, со своей дороги... вот и бьюсь третий год уж...

— Плохо, когда нет своего гнезда, — тихо сказала Арина.

— Еще бы!.. Ты вдовая, что ли?

— Девка...

— Где уж, чай! — откровенно усомнился Гомозов.

— Ей-богу, девка, — уверила его Арина.

— Что же замуж не вышла?

— Кто возьмет меня? Безо всего я... кому корысть... да и с лица некрасивая...

— Да-а... — задумчиво протянул Гомозов и, поглаживая бороду, стал пытливо смотреть на нее. Потом справился, сколько она получает жалованья.

— Два с полтиной...

— Так. Ну... значит, тридцать копеек тебе с меня? Вот что... ты приди-ка вечером за ними... часов этак в

десять, а? Я тебе и отдам... чаю попьем, поговорим скуки ради... Оба мы одинокие... приходи!

— Приду,— просто сказала она и ушла.

Потом, придя к нему аккуратно в десять часов вечера, ушла от него уже на рассвете.

Гомозов больше не звал ее к себе и тридцати копеек ей не отдавал. Она сама явилась к нему, тупая и покорная, пришла и молча стала перед ним. Он, лежа на койке, посмотрел на нее и, подвинувшись к стене, сказал:

— Садись.

А когда она села, объявил ей:

— Ты вот что,— храни это в секрете. Чтобы никто ни-ни! А то мне будет нехорошо... я не молоденький, да и ты тоже... Понимаешь?

Она утвердительно кивнула головой.

Провожая ее, он дал ей свою одежду для починки и опять напомнил ей:

— Чтобы ни одна душа — ни-ни!

Так они и зажили, пряча от всех свою связь.

Арина прокрадывалась к нему по ночам чуть не ползком. Он принимал ее снисходительно, с видом властелина, и порой откровенно говорил ей:

— А и дурна же ты с лица!

Она молча улыбалась ему бледной, виноватой улыбкой и, уходя от него, почти всегда уносила с собой какую-нибудь работу, данную им.

Виделись они не часто. Но иногда Гомозов, встречая ее где-нибудь на станции, вполголоса говорил ей:

— Приходи сегодня...

И она покорно являлась к нему с таким серьезным выражением на своем рябом лице, как будто пришла затем, чтобы выполнить долг, важность которого стала понятна ей.

А когда шла домой, то на лице ее уже снова была обычная ему мертвая мина виновности и испуга.

Порой она, остановясь где-нибудь в уголке или за деревом, подолгу смотрела в степь. Там царила ночь, и от сурового молчания ее на сердце становилось жутко.

Однажды, проводив вечерний поезд, станционное начальство устроило чаепитие в саду перед окнами квартиры Матвея Егоровича, в густой тени тополей.

В жаркие дни они часто делали так,— это все-таки вносило некоторое разнообразие в монотонность их жизни.

Пили чай и молчали, исчерпав впечатления, данные поездом.

— А сегодня жарче вчерашнего,— сказал Матвей Егорович, одной рукой передавая пустой стакан жене, а другой отирая пот с лица.

Жена, принимая стакан, объявила:

— Это от скуки кажется, что жарче...

— Гм! Пожалуй... действительно... Вот карты хороши в этом случае... но — нас только трое...

Николай Петрович повел плечами и, прищурив глаза, отчетливо произнес:

— Карточная игра, по выражению Шопенгауэра, есть банкротство всякой мысли.

— Ловко! — умилился Матвей Егорович. — Как это? Банкротство мысли... да-а! А кто сказал?

— Шопенгауэр, немец, философ...

— Фи-илософ? Мм...

— А что эти философы — в университетах служат? — полюбопытствовала Софья Ивановна.

— То есть как вам сказать? Это не чин, а... так сказать, природная способность... Философом может быть всякий... кто рождается с привычкой думать и во всем искать начало и конец. Конечно, и в университетах бывают философы... но они могут быть и просто так... даже служить на железной дороге.

— И много получают те, которые при университетах?

— Глядя по уму...

— Но, если бы был четвертый,— премило бы мы повинтили! — со вздохом сказал Матвей Егорович.

И разговор оборвался.

В синем небе поют жаворопки, по тополям прыгают с ветки на ветку малиновки и тихо свистят. В комнате плачет ребенок.

— Арина там? — спрашивает Матвей Егорович.

— Конечно... — кратко отвечает ему жена.

— Оригинальная баба эта Арина; вы заметьте, Николай Петрович...

— Оригинальность — первый оттиск банальности,— как бы про себя говорит Николай Петрович, имея вид задумчивый и мыслящий.

— Как? — оживляется начальник.

И когда Николай Петрович вразумительно повторяет изречение, он сладко щурит глаза, а Софья Ивановна томным голоском говорит:

— Как вы хорошо помните то, что читали... а я вот прочитаю и на другой день, хоть убейте, ничего не помню... Вот недавно в книжке «Нива» прочитала что-то такое интересное, такое забавное, — а что? ни слова не помню!

— Привычка, — кратко объясняет Николай Петрович.

— Нет, это лучше этого... как его? Шопенгауэра... — улыбаясь, говорит Матвей Егорович. — Выходит, что все новое будет старым!

— И наоборот, ибо один поэт сказал: «Да, экономна мудрость бытия: все новое в ней шьется из старья».

— Фу-ты, черт! Как это у вас... точно из решета сыплется!

Матвей Егорович довольно смеется, его жепка мило улыбается, а Николай Петрович польщен и безуспешно хочет скрыть это.

— Кто это сказал насчет банальности-то?

— Барятинский, поэт.

— А другое?

— Тоже поэт — Фофанов.

— Ловкачи! — одобряет поэтов Матвей Егорович и параспев, с улыбкой удовольствия на лице, повторяет двустишье.

Скука как бы играет с ними, — на минуту освобождает их от своих тесных объятий и снова обнимет. Тогда опять они молчат, отдуваясь от жары, увеличиваемой чаем.

В степи — только солнце.

— Да, так я заговорил об Арине, — вспоминает Матвей Егорович. — Странная эта баба, смотрю я на нее и удивляюсь. Точно ее пришибло чем-то, не смеется она, не поет, говорит мало... пенёк какой-то. Но между тем она очень хорошо работает и так, знаете, возится с Лелей, так внимательна к ребенку...

Он говорит тихо, не желая, чтобы Арина через окно услышала его слова. Он знает, что нельзя хвалить

прислугу, если не хочешь, чтобы она зазналась. Жена перебивает его, многозначительно хмурясь:

— Ну, уж ты оставь... ты не все знаешь о ней! —

Любви раба,
Я так слаба
В борьбе с тобой,
О демон мой! —

тихонько и речитативом напевает Николай Петрович, отбивая такт по столу ложкой. Он улыбается.

— Что, что такое? Она... ну, ну, это вы уж врите оба!

И Матвей Егорович громко хохочет. Щеки у него трясутся, и со лба быстро стекают капельки пота.

— Это совсем даже не смешно! — останавливает его жена. — Во-первых, у нее на руках ребенок; во-вторых — видишь, хлеб какой? Перекис, подгорел... А почему?

— Да-а, хлеб действительно не того... нужно ей сделать внушение! Но, ей-богу! это... этого я не ожидал! Она ведь тесто! Ах ты, черт возьми! Но он, кто он? Лукашка? Я ж его высмею, старого черта! Или это Ягодка? А-а, бритая губа!

— Гомозов... — кратко говорит Николай Петрович.

— Ну-у? Такой степенный мужик? О-о? Да вы не того — не сочиняете, а?

Матвея Егоровича очень занимает эта уморительная история. Он то хохочет с увлажненными глазами, то серьезно говорит о необходимости сделать влюбленным строгое внушение, потом представляет себе нежные разговоры между ними и снова оглушительно хохочет.

Наконец он увлекается. Тогда Николай Петрович делает строгое лицо, а Софья Ивановна круто обрывает мужа.

— Ах, черти! Ну и посмеюсь же я над ними! Это интересно... — не унимается Матвей Егорович.

Является Лука и докладывает:

— Телеграф стучит...

— Иду. Давай повестку сорок второму.

Скоро он с помощником уходит на станцию, где Лука дробно отбивает в колокол повестку. Николай Петрович садится к аппарату, запрашивая соседнюю станцию: «могу ли отправить поезд № 42», а его начальник ходит по конторе, улыбается и говорит:

— А мы с вами вышутим их, чертей... все-таки, скуки ради, посмеемся хоть немного...

— Это позволительно!..— соглашается Николай Петрович, действуя ключом аппарата.

Он знает, что философ должен выражаться лаконически.

Им очень скоро представилась возможность посмеяться.

Как-то раз ночью Гомозов пришел к Арине на погреб, где она, по его приказанию и с разрешения начальницы, устроила себе постель среди различного хозяйственного хлама. Тут было сыро и прохладно, а изломанные стулья, кадки, доски и всякая рухлядь принимали в темноте пугающие очертания; а когда Арина была одна среди них — ей было до того страшно, что она почти не спала и, лежа на снопах соломы с открытыми глазами, все шептала про себя молитвы, известные ей.

Гомозов пришел, долго и молча мял и тискал ее, а когда устал, то заснул. Но скоро Арина разбудила его тревожным шепотом:

— Тимофей Петрович! Тимофей Петрович!

— Ну? — сквозь сон спросил Гомозов.

— Заперли нас...

— Как так? — спросил он, вскакивая.

— Подошли и... замком...

— Врешь ты! — испуганно и гневно шепнул он, отталкивая ее от себя.

— Погляди сам,— покорно сказала она.

Он встал и, задевая за все, что встречалось на пути, подошел к двери, толкнул ее и, помолчав, угрюмо сказал:

— Это солдат...

За дверью раздался ликующий хохот.

— Выпусти! — громко попросил Гомозов.

— Что? — раздался голос солдата.

— Выпусти, мол...

— Утром выпустим,— сказал солдат и пошел прочь.

— Дежурство у меня, черт! — сердито и умоляюще крикнул Гомозов.

— Я подежурю... сиди знай!

И солдат ушел.

— Ах, собака! — с тоской прошептал стрелочник.— Погоди... запирать меня все-таки ты не можешь... Есть

начальник... что ты ему скажешь? Он спросит — где Гомозов — а? Вот ты и отвечай ему тогда...

— Да это, поди-ка, начальник сам и велел ему, — тихо и безнадежно сказала Арина.

— Начальник? — испуганно переспросил Гомозов. — Зачем же это ему? — И, помолчав, он крикнул ей: — Врешь ты!

Она ответила тяжелым вздохом.

— Что же это будет? — спросил стрелочник, усаживаясь на кадку около двери. — Срам-то мне какой! А все ты, уродина чертова, все ты это... у-у!

Сжав кулак, он погрозил в сторону, откуда доносился звук ее дыхания. Она же молчала.

Сырая тьма окружала их, — тьма, пропитанная запахом кислой капусты, плесени и еще чего-то острого, щекотавшего нос. В дверь сквозь щели пробивались ленты лунного света. За дверьми грохотал товарный поезд, уходивший со станции.

— Что молчишь, кикимора? — заговорил Гомозов со злобой и презрением. — Как теперь я буду? Надела делов и молчишь? Думай, черт, что будем делать? Куда от сраму мне деваться? Ах ты, господи! На что я связался с такой!..

— Я прощения попрошу, — тихо объявила Арина.

— Ну?

— Может, простят...

— Да мне что из того? Ну, простят тебя, ну? Ведь срам-то на мне останется или нет? Надо мной смеяться-то будут?

Помолчав, он снова начинал укорять и ругать ее. А время шло жестоко медленно. Наконец женщина с дрожью в голосе попросила его:

— Прости ты меня, Тимофей Петрович!

— Колом бы тебя по башке простить! — зарычал он.

И опять наступило молчание, угрюмое, подавляющее, полное тупой боли для двух людей, заключенных во тьме.

— Господи! хоть бы светало скорее, — тоскливо взмолилась Арина.

— Молчи ты... я те вот засвечу! — пригрозил ей Гомозов и снова начал бросать в нее тяжелыми укорами. Потом наступила пытка тишиной и молчанием. А жестокость времени все увеличивалась с приближением

рассвета, точно каждая минута медлила исчезнуть, наслаждаясь смешным положением этих людей.

Гомозов задремал наконец и проснулся от крика пехоты, раздававшегося рядом с погребом.

— Эй, ты... ведьма! Спишь? — глухо спросил он.

— Нет, — тяжелым вздохом ответила Арина.

— А то бы заснула! — с иронией предложил стрелочник. — Эх ты...

— Тимофеев Петрович, — почти взвизгнув, воскликнула Арина, — не сердись ты на меня! Пожалей ты меня! Христом-богом прошу — пожалей! Одна ведь я, одна-то одиначенька! И ты мне... родной ты мой — ведь ты мне...

— Не вой — не смей людей-то! — строго остановил Гомозов истерический шепот женщины, несколько смягчавший его. — Молчи уж... коли бог убил...

И снова они молча ждали каждой следующей минуты. Но минуты шли, не принося им ничего. Вот наконец в щелях двери сверкнули лучи солнца и блестящими пятами прорезали тьму на погребу. Вскоре около погреба раздались шаги. Кто-то подошел к двери, постоял и удалился.

— М-мучители! — замычал Гомозов и плюнул. Слова ожидание, молчаливое и напряженное.

— Господи!.. помилуй... — прошептала Арина.

Как будто тихо подкрадываются к погребу... Гремит замок, и раздается строгий голос пачальника:

— Гомозов! Бери Арину за руку и выходи — ну, живо!..

— Иди ты! — вполголоса сказал Гомозов. Арина подошла и, опустив голову, стала рядом с ним.

Дверь отворилась, перед ней стоял пачальник станции. Он кланялся и говорил:

— С законным браком поздравляю! Пожалуйста! Музыка — играй!

Гомозов шагнул через порог и остановился, оглушенный взрывом нелюбопытного шума. За дверью стояли Лука, Ягодка и Николай Петрович.

Лука бил кулаком по ведру и козлиным тепором орал что-то; солдат играл на своем рожке, а Николай Петрович махал в воздухе рукой и, надув щеки, делал губами, как труба:

— Пум! Пум! Пум-пум-пум!

Ведро дребезжало, рожок выл и ревел. Матвей Егорович хохотал, взявшись за бока. Хохотал и его помощник при виде Гомозова, растерянно стоявшего перед ними, с серым лицом и сконфуженной улыбкой на дрожащих губах. За ним неподвижно, точно каменная, стояла Арина, опустив голову низко на грудь.

Тимофею да Орина
Сладки речи говорила...—

пел Лука ерунду и строил Гомозову отвратительные рожи. А солдат придвинулся к Гомозову и, подставив рожок к его уху, играл, играл.

— Ну, идите... ну... под руку бери ее!.. — кричал начальник станции, надрываясь от хохота. На крыльце сидела жена и качалась из стороны в сторону, визгливо вскрикивая:

— Мотя... будет... ах! умру!

За миг свиданья
Терплю страданья! —

пел Николай Петрович под самым носом Гомозова.

— Ур-ра повобрачным! — скомандовал Матвей Егорович, когда Гомозов шагнул вперед. И все четверо дружно гаркнули «ура», причем солдат кричал ревушим басом.

Арина шла за Гомозовым, подняв голову, раскрыв рот и свесив руки вдоль корпуса. Глаза у нее тупо смотрели вперед, но едва ли видели что-нибудь.

— Мотя, вели им... поцеловаться! ха, ха, ха!

— Новобрачные, горько! — закричал Николай Петрович, а Матвей Егорович даже прислонился к дереву, ибо от смеха не мог держаться на ногах. А ведро все грохотало, рожок выл, ревел, дразнил, и Лука, приплясывая, пел:

А и густо ты, Орина,
Да нам кашу наварила!

И Николай Петрович снова делал губами:

— Пум-пум-пум! Тра-та-та! Пум! пум! Тра-ра-ра!

Гомозов дошел до двери в казарму и скрылся. Арина осталась на дворе, окруженная беснующимися людьми. Они орали, хохотали, свистали ей в уши и прыгали вокруг нее в припадке безумного веселья. Она стояла перед ними с неподвижным лицом, растрепанная, грязная, и жалкая, и смешная.

— Новобрачный удрал, а... она осталась, — кричал Матвей Егорович жене, указывая на Арину, и снова корчился от хохота.

Арина повернула к нему голову и пошла мимо казармы — в степь. Свист, крик, хохот провожали ее.

— Будет! Оставьте! — кричала Софья Ивановна. — Дайте ей очухаться! Обед нужно готовить.

Арина уходила в степь, туда, где за линией отчуждения стояла щетинистая полоса хлеба. Она шла медленно, как человек, глубоко задумавшийся.

— Как, как? — переспрашивал Матвей Егорович участников этой шутки, рассказывавших друг другу разные мелкие подробности поведения новобрачных. И все хохотали. А Николай Петрович даже тут нашел время и место вставить маленькую мудрость.

Смеяться, право, не грешно...
Над тем, что кажется смешно! —

сказал он Софье Ивановне и внушительно добавил: — Но много смеяться — вредно.

Смеялись на станции в тот день много, но обедали плохо, потому что Арина не явилась стряпать и обед готовила сама пачальница станции. Но и дурной обед не убил хорошего настроения. Гомозов не выходил из казармы до времени своего дежурства, а когда вышел, то его позвали в контору начальника, и там Николай Петрович, при хохоте Матвея Егоровича и Луки, стал расспрашивать Гомозова, как он «увлекал» свою красавицу.

— По оригинальности — это грехопадение номер первый, — сказал Николай Петрович начальнику.

— Грехопадение и есть, — хмуро улыбаясь, говорил степенный стрелочник. Он понял, что если сумеет рассказать об Арине, подтрунивая над нею, то над ним будут меньше смеяться. И он рассказывал:

— Вначале она мне все подмаргивала.

— Подмаргивала?! Ха-ха-ха! Николай Петрович, вы только вообразите, как это она, такая р-рожа, должна была ему подмаргивать? Прелесть!

— Значит, подмаргивает, а я вижу и думаю про себя — шалишь! Потом, стало быть, говорит, хочешь, говорит, я тебе рубахи сошью!

— Но «не в шитье была тут сила»... — заметил Николай Петрович и пояснил начальнику: — Это, знаете, из Некрасова — из стихотворения «Нарядная и убогая»... Продолжай, Тимофей!

И Тимофей продолжал говорить, сначала насилуя себя, затем постепенно возбуждаясь ложью, ибо видел, что ложь полезна ему.

А та, о которой он говорил, лежала в это время в степи. Она вошла глубоко в море хлеба, тяжело опустилась там на землю и долго неподвижно лежала на земле. Когда же солнце накалило ей спину до того, что она уже не могла больше терпеть жгучих лучей его, она перевернулась вверх грудью и закрыла лицо руками, чтобы не видеть неба, слишком ясного, и чрезмерно яркого солнца в глубине его.

Сухо шуршали колосья хлеба вокруг этой женщины, раздавленной позором, и неутомонно, озабоченно трещали бесчисленные кузнечики. Было жарко. Попробовала она вспомнить молитвы и не могла: перед глазами у нее вертелись смеющиеся рожи, а в ушах ныл тенор Луки, раздавался вой рожка и хохот. От этого или от жары ей теснило грудь, и вот она, расстегнув кофту, подставила свое тело лучам солнца, ожидая, что так ей будет легче дышать. И в то время, как солнце жгло ее кожу, изнутри ее грудь сверлило ощущение, похожее на изжогу. Тяжело вздыхая, шептала она изредка:

— Господи!.. помилуй...

В ответ ей раздавался сухой шелест колосьев да стрекот кузнечиков. Приподнимая голову над волнами хлеба, она видела их золотистые переливы, черную трубу водокачки, торчавшую далеко от станции, в балке, и крыши станционных построек. Больше ничего не было в необъятной желтой равнине, покрытой голубым куполом неба, и Арине казалось, что она одна на земле, лежит в самой середине ее и уж никто никогда не придет разделить тяжесть ее одиночества, — никто, никогда...

К вечеру она услышала крики:

— Арина-а! Аришка, че-ерт!..

Один голос был голосом Луки, другой — солдата. Ей хотелось услышать третий, но он не позвал ее, и тогда она заплакала обильными слезами, быстро сбегавшими с ее рябых щек на грудь ей. Плакала она и тер-

лась голой грудью о сухую теплую землю, чтобы заглушить эту изжогу, все сильнее терзавшую ее. Плакала и молчала, сдерживая стоны, точно боялась, что кто-нибудь услышит и запретит ей плакать.

Потом, когда наступила ночь, встала и медленно пошла на станцию.

Дойдя до станционных построек, она прислонилась спиной к стене погреба и долго стояла тут, глядя в степь. Являлись и исчезали товарные поезда; она слышала, как солдат рассказывал кондукторам о ее позоре и кондуктора хохотали. Хохот далеко разносился по пустынной степи, где чуть слышно свистали суслики.

— Господи! помилуй! — вздыхала женщина, плотно прижимаясь к стене. Но вздохи эти не облегчали тяжести, давившей ей сердце.

Под утро она осторожно пробралась на чердак станции и там повесилась, устроив петлю из веревки, на которой сушила выстиранное ею белье.

Через два дня по запаху трупа Арину нашли. Сначала все испугались, потом стали рассуждать, кто виноват в этом деле? Николай Петрович неопровержимо доказал, что виноват — Гомозов. Тогда начальник станции дал стрелочнику в зубы и грозно велел ему молчать.

Явились власти, произвели следствие. Выяснилось, что Арина страдала меланхолией... Рабочим дорожного мастера было поручено свезти ее в степь и там закопать. Когда же это было исполнено — на станции снова воцарились порядок и спокойствие.

И снова ее обитатели начали жить по четыре минуты в сутки, изнывая от скуки и безлюдья, от безделья и жары, с завистью следя за поездами, пролетавшими мимо них.

...А зимой, когда по степи с воем и ревом несутся вьюги, осыпая малепькую стапцию снегом и дикими звуками, — обитателям станции живется еще скучнее.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ И ОДНА

Поэма

Нас было двадцать шесть человек — двадцать шесть живых машин, запертых в сыром подвале, где мы с утра до вечера месили тесто, делая крендели и сушки. Окна нашего подвала упирались в яму, вырытую пред ними и выложенную кирпичом, зеленым от сырости; рамы были заграждены снаружи частой железной сеткой, и свет солнца не мог пробиться к нам сквозь стекла, покрытые мучной пылью. Наш хозяин забил окна железом для того, чтоб мы не могли дать кусок его хлеба нищим и тем из наших товарищей, которые, живя без работы, голодали, — наш хозяин называл нас жуликами и давал нам на обед вместо мяса — тухлую требушину...

Нам было душно и тесно жить в каменной коробке под низким и тяжелым потолком, покрытым копотью и паутиной. Нам было тяжело и тошно в толстых стенах, разрисованных пятнами грязи и плесени... Мы вставали в пять часов утра, не успев выспаться, и — тупые, равнодушные — в шесть уже садились за стол делать крендели из теста, приготовленного для нас товарищами в то время, когда мы еще спали. И целый день с утра до десяти часов вечера одни из нас сидели за столом, рассучивая руками упругое тесто и покачиваясь, чтобы не одеревенеть, а другие в это время месили муку с водой. И целый день задумчиво и грустно мурлыкала кипящая вода в котле, где крендели варились, лопата пекаря зло и быстро шаркала о пол печи, сбра-

сывая скользкие вареные куски теста на горячий кирпич. С утра до вечера в одной стороне печи горели дрова и красный отблеск пламени трепетал на стене мастерской, как будто безмолвно смеялся над нами. Огромная печь была похожа на уродливую голову сказочного чудовища, — она как бы высунулась из-под пола, открыла широкую пасть, полную яркого огня, дышала на нас жаром и смотрела на бесконечную работу нашу двумя черными впадинами отдушин над челом. Эти две глубокие впадины были как глаза — безжалостные и бесстрастные очи чудовища: они смотрели всегда одинаково темным взглядом, как будто устав смотреть на рабов, и, не ожидая от них ничего человеческого, презирали их холодным презрением мудрости.

Изо дня в день в мучной пыли, в грязи, натасканной нашими погами со двора, в густой пахучей духоте мы рассучивали тесто и делали крендели, смачивая их нашим потом, и мы не видели нашу работу острой ненавистью, мы никогда не ели того, что выходило из-под наших рук, предпочитая кренделям черный хлеб. Сидя за длинным столом друг против друга, — девять против девяти, — мы в продолжение длинных часов механически двигали руками и пальцами и так привыкли к своей работе, что никогда уже и не следили за движениями своими. И мы до того присмотрелся друг к другу, что каждый из нас знал все морщины на лицах товарищей. Нам не о чем было говорить, мы к этому привыкли и все время молчали, если не ругались, — ибо всегда есть за что обругать человека, а особенно товарища. Но и ругались мы редко — в чем может быть виновен человек, если он полумертв, если он — как истукан, если все чувства его подавлены тяжестью труда? Но молчание страшно и мучительно лишь для тех, которые всё уже сказали и нечего им больше говорить; для людей же, которые не начинали своих речей, — для них молчанье просто и легко... Иногда мы пели, и песня наша начиналась так: среди работы вдруг кто-нибудь вздыхал тяжелым вздохом усталой лошади и запевал тихонько одну из тех протяжных песен, жалобно-ласковый мотив которых всегда облегчает тяжесть на душе поющего. Поет один из нас, а мы сначала молча слушаем его одинокую песню, и она гаснет и глохнет под тяжелым потолком подвала, как маленький огонек костра в степи сырой осенней ночью, когда серое небо висит

над землей, как свинцовая крыша. Потом к певцу пристаёт другой, и — вот уже два голоса тихо и тоскливо плавают в духоте нашей тесной ямы. И вдруг сразу несколько голосов подхватят песню, — она вскипает как волна, становится сильнее, громче и точно раздвигает сырые, тяжелые стены нашей каменной тюрьмы...

Поют все двадцать шесть, громкие, давно спевшиеся голоса наполняют мастерскую; песня тесно в ней: она бьется о камень стен, стонет, плачет и оживляет сердце тихой щекочущей болью, бережит в нем старые раны и будит тоску... Певцы глубоко и тяжело вздыхают: иной неожиданно оборвет песню и долго слушает, как поют товарищи, и снова вливает свой голос в общую волну. Иной, тоскливо крикнув: «Эх!» — поет, закрыв глаза, и, может быть, густая, широкая волна звуков представляется ему дорогой куда-то вдаль, освещенной ярким солнцем, — широкой дорогой, и он видит себя идущим по ней...

Пламя в печи все трепещет, все шаркает по кирпичу лопата пекаря, мурлыкает вода в котле, и отблеск огня на ступе все так же дрожит, безмолвно смеясь... А мы выпекаем чужими словами свое тупое горе, тяжелую тоску живых людей, лишенных солнца, тоску рабов. Так-то жили мы, двадцать шесть, в подвале большого каменного дома, и нам было до того тяжело жить, точно все три этажа этого дома были построены прямо на плечах наших...

Но, кроме песен, у нас было еще нечто хорошее, нечто любимое нами и, может быть, заменявшее нам солнце. Во втором этаже нашего дома помещалась золотошвейня, и в ней, среди многих девушек-мастериц, жила шестнадцатилетняя горничная Таня. Каждое утро к стеклу окошечка, прорезанного в двери из сеней к нам в мастерскую, прислонялось маленькое розовое личико с голубыми, веселыми глазами, и звонкий ласковый голос кричал нам:

— Арестантики! дайте крепделечков!

Мы все оборачивались на этот ясный звук и радостно, добродушно смотрели на чистое девичье лицо, славно улыбавшееся нам. Нам было приятно видеть приплюснутый к стеклу нос и мелкие белые зубы, блестя-

шие из-под розовых губ, открытых улыбкой. Мы бросались открыть ей дверь, толкая друг друга, и — вот она, — веселая такая, милая, — входит к нам, подставляя свой передник, стоит пред нами, склонив немного набок свою головку, стоит и все улыбается. Длинная и толстая коса каштановых волос, спускаясь через плечо, лежит на груди ее. Мы, грязные, темные, уродливые люди, смотрим на нее снизу вверх, — порог двери выше пола на четыре ступеньки, и мы смотрим на нее, подняв головы кверху, и поздравляем ее с добрым утром, говорим ей какие-то особые слова, — они пахотятся у нас только для нее. У нас в разговоре с ней и голоса мягче и шутки легче. У нас для нее — все особое. Пекарь вынимает из печи лопату кренделей самых поджаристых и румяных и ловко сбрасывает их в передник Тани.

— Смотри, хозяину не попадись! — предупреждаем мы ее. Она плутовато сместся, весело кричит нам:

— Прощайте, арестантики! — и исчезает быстро, как мышонок.

Только... Но долго после ее ухода мы приятно говорим о ней друг с другом — все то же самое говорим, что говорили вчера и раньше, потому что и она, и мы, и все вокруг нас такое же, каким оно было и вчера и раньше... Это очень тяжело и мучительно, когда человек живет, а вокруг него ничто не изменяется, и если это не убьет насмерть души его, то чем дольше он живет, тем мучительнее ему неподвижность окружающего... Мы всегда говорили о женщинах так, что порой нам самим противно было слушать наши грубо бесстыдные речи, и это понятно, ибо те женщины, которых мы знали, может быть, и не стоили иных речей. Но о Тани мы никогда не говорили худо; никогда и никто из нас не позволял себе не только дотронуться рукою до нее, но даже вольной шутки не слыхала она от нас никогда. Быть может, это потому так было, что она не оставалась подолгу с нами: мелькнет у нас в глазах, как звезда, падающая с неба, и исчезнет, а может быть — потому, что она была маленькая и очень красивая, а все красивое возбуждает уважение к себе даже и у грубых людей. И еще — хотя каторжный наш труд и делал нас тупыми волами, мы все-таки оставались людьми и, как все люди, не могли жить без того, чтобы не поклоняться чему бы то ни было. Лучше ее — нико-

го не было у нас, и никто, кроме нее, не обращал внимания на нас, живших в подвале, — никто, хотя в доме обитали десятки людей. И наконец — паверпо, это главное — все мы считали ее чем-то своим, чем-то таким, что существует как бы только благодаря нашим кренделям; мы вменили себе в обязанность давать ей горячие крендели, и это стало для нас ежедневной жертвой идола, это стало почти священным обрядом и с каждым днем все более прикрепляло нас к ней. Кроме кренделей, мы давали Тане много советов — теплее одеваться, не бегать быстро по лестнице, не носить тяжелых вязанок дров. Она слушала наши советы с улыбкой, отвечала на них смехом и никогда не слушалась нас, но мы не обижались на это: нам нужно было только показать, что мы заботимся о ней.

Часто она обращалась к нам с разными просьбами, просила, папример, открыть тяжелую дверь в погреб, наколоть дров, — мы с радостью и даже с гордостью какой-то делали ей это и все другое, чего она хотела.

Но когда один из нас попросил ее починить ему его единственную рубаху, она, презрительно фыркнув, сказала:

— Вот еще! Стану я, как же!..

Мы очень посмеялись над чудачком и — никогда ни о чем больше не просили ее. Мы ее любили, — этим все сказано. Человек всегда хочет возложить свою любовь на кого-нибудь, хотя иногда он ею давит, иногда пачкает, он может отравить жизнь ближнего своей любовью, потому что, любя, не уважает любимого. Мы должны были любить Таню, ибо больше было некого нам любить.

Порой кто-нибудь из нас вдруг почему-то начинал рассуждать так:

— И что это мы балуем девчонку? Что в ней такого? а? Очень мы с ней что-то возимся!

Человека, который решался говорить такие речи, мы скоро и грубо укрощали — нам нужно было что-нибудь любить: мы нашли себе это и любили, а то, что любим мы, двадцать шесть, должно быть незыблемо для каждого, как наша святыня, и всякий, кто идет против нас в этом, — враг наш. Мы любим, может быть, и не то, что действительно хорошо, но ведь нас — двадцать шесть, и поэтому мы всегда хотим дорогое нам — видеть священным для других.

Любовь наша не менее тяжела, чем ненависть... и, может быть, именно поэтому некоторые гордецы утверждают, что наша ненависть более лестна, чем любовь... Но почему же они не бегут от нас, если это так?

Кроме крепдсельной, у нашего хозяина была еще и булочная; она помещалась в том же доме, отделенная от нашей ямы только стеной; но булочники — их было четверо — держались в стороне от нас, считая свою работу чище нашей, и поэтому, считая себя лучше нас, они не ходили к нам в мастерскую, пренебрежительно подсмеивались над нами, когда встречали нас на дворе; мы тоже не ходили к ним: нам запрещал это хозяин из боязни, что мы станем красть сдобные булки. Мы не любили булочников, потому что завидовали им: их работа была легче нашей, они получали больше нас, их кормили лучше, у них была просторная светлая мастерская, и все они были такие чистые, здоровые — противные нам. Мы же все — какие-то желтые и серые; трое из нас болели сифилисом, некоторые — чесоткой, один был совершенно искривлен ревматизмом. Они по праздникам и в свободное от работы время одевались в пиджаки и сапоги со скрипом, двое из них имели гармоники, и все они ходили гулять в городской сад, — мы же носили какие-то грязные лохмотья и опорки или лапти на ногах, нас не пускала в городской сад полиция — могли ли мы любить булочников?

И вот однажды мы узнали, что у них запил пекарь, хозяин рассчитал его и уже нанял другого и что этот другой — солдат, ходит в атласной жилетке и при часах с золотой цепочкой. Нам было любопытно посмотреть на такого щеголя, и в надежде увидеть его мы, один за другим, то и дело стали выбегать на двор.

Но он сам явился в нашу мастерскую. Пинком ноги ударив в дверь, он отворил ее и, оставив открытой, стал на пороге, улыбаясь, и сказал нам:

— Бог на помощь! Здорово, ребята!

Морозный воздух, врываясь в дверь густым дымчатым облаком, крутился у его ног, он же стоял на пороге, смотрел на нас сверху вниз, и из-под его белокурых, ловко закрученных усов блестели крупные, желтые зубы. Жилетка на нем была действительно какая-то особепная — синяя, расшитая цветами, она вся как-то

сияла, а пуговицы на пей были из каких-то красных камешков. И цепочка была...

Красив он был, этот солдат, высокий такой, здоровый, с румяными щеками, и большие, светлые глаза его смотрели хорошо — ласково и ясно. На голове у него был надет белый, туго накрахмаленный колпак, а из-под чистого, без единого пятнышка, передника выглядывали острые носки модных, ярко вычищенных сапог.

Наш пекарь почтительно попросил его затворить дверь; он не торопясь сделал это и начал расспрашивать нас о хозяине. Мы наперебой друг перед другом сказали ему, что хозяин наш выжига, жулик, злодей и мучитель, — все, что можно и нужно было сказать о хозяине, но пельзя написать здесь. Солдат слушал, шевелил усами и рассматривал нас мягким, светлым взглядом.

— А у вас тут девчонок много... — вдруг сказал он.

Некоторые из нас почтительно засмеялись, иные скорчили сладкие рожи, кто-то пояснил солдату, что тут девчонок — девять штук.

— Пользуетесь? — спросил солдат, подмигивая глазом.

Опять мы засмеялись, не очень громко и сконфуженным смехом... Многим бы из нас хотелось показаться солдату такими же удалыми молодцами, как и он, но никто не умел сделать этого, ни один не мог. Кто-то сознался в этом, тихо сказав:

— Где уж нам...

— Н-да, вам это трудно! — уверенно молвил солдат, пристально рассматривая нас. — Вы чего-то... не того... Выдержки у вас нет... порядочного образа... вида, значит. А женщина — она любит вид в человеке! Ей чтобы корпус был настоящий... чтобы все — аккуратно! И притом она уважает силу... Рука чтобы — во!

Солдат выдернул из кармана правую руку с засученным рукавом рубахи, по локоть голую, и показал ее нам... Рука была белая, сильная, поросшая блестящей золотистой шерстью.

— Нога, грудь — во всем пужна твердость... И опять же — чтобы одет был человек по форме... как того требует красота вещей... Меня вот — бабы любят. Я их не зову, не маю, — сами по пяти сразу на шею лезут...

Он присел на мешок с мукой и долго рассказывал о том, как любят его бабы и как он храбро обращается с ними. Потом он ушел, и, когда дверь, взвизгнув, затворилась за ним, мы долго молчали, думая о нем и о его рассказах. А потом как-то вдруг все заговорили, и сразу выяснилось, что он всем нам понравился. Такой простой и славный — пришел, посидел, поговорил. К нам никто не ходил, никто не разговаривал с нами так, дружески... И мы всё говорили о нем и о будущих его успехах у золотошвейек, которые, встречаясь с нами на дворе, или, обидно поджимая губы, обходили нас стороной, или шли прямо на нас, как будто нас и не было на их дороге. А мы всегда только любовались ими и на дворе, и когда они проходили мимо наших окон — зимой одетые в какие-то особые шапочки и шубки, а летом — в шляпках с цветами и с разноцветными зонтиками в руках. Зато между собою мы говорили об этих девушках так, что если б они слышали нас, то все взбесились бы от стыда и обиды.

— Однако как бы он и Танюшку... не испортил! — вдруг озабоченно сказал пекарь.

Мы все замолчали, пораженные этими словами. Мы как-то забыли о Тане: солдат как бы загородил ее от нас своей крупной красивой фигурой. Потом начался шумный спор: одни говорили, что Таня не допустит себя до этого, другие утверждали, что ей против солдата не устоять, третьи, наконец, предлагали в случае, если солдат станет привязываться к Тане, — переломать ему ребра. И наконец все решили наблюдать за солдатом и Таней, предупредить девочку, чтобы она опасалась его... Это прекратило споры.

Прошло с месяц времени; солдат пек булки, гулял с золотошвейками, часто заходил к нам в мастерскую, но о победах над девицами не рассказывал, а все только усы крутил да смачно облизывался.

Таня каждое утро приходила к нам за «кренделечками» и, как всегда, была веселая, милая, ласковая с нами. Мы пробовали заговаривать с нею о солдате, — она называла его «пучеглазым теленком» и другими смешными прозвищами, и это успокоило нас. Мы гордились нашей девочкой, видя, как золотошвейки льнут к солдату; отношение Тани к нему как-то поднимало всех нас, и мы, как бы руководствуясь ее отношением, сами начинали относиться к солдату пренебрежитель-

но. А ее еще больше полюбили, еще более радостно и добродушно встречали ее по утрам.

Но однажды солдат пришел к нам немного выпивши, уселся и начал смеяться, а когда мы спросили его: над чем это он смеется? — он объяснил:

— Две подрались из-за меня... Лидька с Грушкой... Ка-ак они себя изуродовали, а? Ха-ха! За волосы одна другую, да на пол ее в сенях, да верхом на нее... ха-ха-ха! Рожки поцарапали... порвались... умора! И почему это бабы не могут честно биться? Почему они царапаются? а?

Он сидел на лавке, здоровый, чистый такой, радостный, сидел и все хохотал. Мы молчали. Нам он почему-то был неприятен в этот раз.

— Н-нет, как мне везет на бабу, а? Умора! Мигнешь, и — готова! Ч-черт!

Его белые руки, покрытые блестящей шерстью, поднялись и вновь упали на колени, громко шлепнув по ним. И он смотрел на нас таким приятно удивленным взглядом, точно и сам искренне недоумевал, почему он так счастлив в делах с женщинами. Его толстая, румяная рожа самодовольно и счастливо лоснилась, и он все смачно облизывал губы.

Наш пекарь сильно и сердито шаркнул лопатой о шесток печи и вдруг пасмешливо сказал:

— Не великой силой валят елочки, а ты сосну по-ляли...

— То есть — это ты мне говоришь? — спросил солдат.

— А тебе...

— Что такое?

— Ничего... проехало!

— Нет, ты погоди! В чем дело? Какая сосна?

Наш пекарь не отвечал, быстро работая лопатой в печи: сбросит в нее сваренные крендели, подденет готовые и с шумом швыряет на пол, к мальчишкам, нанизывающим их на мочалки. Он как бы позабыл о солдате и разговоре с ним. Но солдат вдруг впал в какое-то беспокойство. Он поднялся на ноги и пошел к печи, рискуя наткнуться грудью на черенок лопаты, судорожно мелькавший в воздухе.

— Нет, ты скажи — кто такая? Ты меня обидел... Я? От меня не отобьется ни одна, не-ет! А ты мне говоришь такие обидные слова...

Он действительно казался искренне обиженным. Ему, должно быть, не за что было уважать себя, кроме как за свое умение совращать женщин; быть может, кроме этой способности, в нем не было ничего живого, и только она позволяла ему чувствовать себя живым человеком.

Есть же люди, для которых самым ценным и лучшим в жизни является какая-нибудь болезнь их души или тела. Они носят с ней все время жизни и лишь ею живы; страдая от нее, они питают себя ею, они на нее жалуются другим и этим обращают на себя внимание ближних. За это взимают с людей сочувствие себе, и, кроме этого, — у них нет ничего. Отнимите у них эту болезнь, вылечите их, и они будут несчастны, потому что лишатся единственного средства к жизни, — они станут пусты тогда. Иногда жизнь человека бывает до того бедна, что он невольно принужден ценить свой порок и им жить; и можно сказать, что часто люди бывают порочны от скуки.

Солдат обиделся, лез на нашего пекаря и выл:

— Нет, ты скажи — кто?

— Сказать? — вдруг повернулся к нему пекарь.

— Ну?

— Таню знаешь?

— Ну?

— Ну и вот! Попробуй...

— Я?

— Ты!

— Ее? Это мне — тьфу!

— Поглядим!

— Увидишь! Х-ха!

— Она тебя...

— Месяц сроку!

— Экий ты хвальбишка, солдат!

— Две недели! Я покажу! Кто такая? Тащья!
Тьфу!..

— Ну, пошел прочь... мешаешь!

— Две недели — и готово! Ах ты...

— Пошел, говорю!

Наш пекарь вдруг освирепел и замахнулся лопатой. Солдат удивленно попятился от него, посмотрел на нас, помолчал и, тихо, злое еще сказав: «Хорошо же!» — ушел от нас.

Во время спора мы все молчали, заинтересованные им. Но когда солдат ушел, среди нас поднялся оживленный, громкий говор и шум.

Кто-то крикнул пекарю:

— Не дело ты затеял, Павел!

— Работай знай! — свирсно ответил пекарь.

Мы чувствовали, что солдат задет за живое и что Тане грозит опасность. Мы чувствовали это, и в то же время всех нас охватило жгучее, приятное нам любопытство — что будет? Устоит ли Таня против солдата? И почти все уверенно кричали:

— Танька? Она устоит! Ее голыми руками не возьмешь!

Нам страшно хотелось испробовать крепость нашего божка; мы напряженно доказывали друг другу, что наш божок — крепкий божок и выйдет победителем из этого столкновения. Нам, наконец, стало казаться, что мы мало раззадорили солдата, что он забудет о споре и что нам нужно хорошенько разбередить его самолюбие. Мы с этого дня начали жить какой-то особенной, напряженной первой жизнью, — так еще не жили мы. Мы целые дни спорили друг с другом, как-то поумнели все, стали больше и лучше говорить. Нам казалось, что мы играем в какую-то игру с чертом и ставка с нашей стороны — Таня. И когда мы узнали от булочников, что солдат начал «приударять за нашей Танькой», нам сделалось жутко хорошо и до того любопытно жить, что мы даже не заметили, как хозяин, пользуясь нашим возбуждением, набавил нам работы на четырнадцать пудов теста в сутки. Мы как будто даже и не уставали от работы. Имя Тани целый день не сходило у нас с языка. И каждое утро мы ждали ее с каким-то особенным нетерпением. Иногда нам представлялось, что она войдет к нам, — и уже это будет не та, прежняя Таня, а какая-то другая.

Мы, однако, ничего не говорили ей о происшедшем споре. Ни о чем не спрашивали ее и по-прежнему относились к ней любовно и хорошо. Но уже в это отношение вкралось что-то новое и чуждое прежним нашим чувствам к Тане — и это новое было острым любопытством, острым и холодным, как стальной нож...

— Братцы! Сегодня срок! — сказал однажды утром пекарь, становясь к работе.

Мы хорошо знали это и без его напоминания, но все-таки вострепнулись.

— Глядите на нее... сейчас придет! — предложил пекарь.

Кто-то с сожалением воскликнул:

— Да ведь разве глазами что увидишь!

И снова между нами разгорелся живой, шумный спор. Сегодня мы узнаем наконец, насколько чист и недоступен для грязи тот сосуд, в который мы вложили наше лучшее. В это утро мы как-то сразу и впервые почувствовали, что действительно играем большую игру, что эта проба чистоты нашего божка может уничтожить его для нас. Мы все эти дни слышали, что солдат упорно и неотвязно преследует Таню, но почему-то никто из нас не спросил ее, как она относится к нему? А она продолжала аккуратно каждое утро являться к нам за крендельками и была все такая же, как всегда.

И в этот день мы скоро услышали ее голос:

— Арестантики! Я пришла...

Мы поторопились впустить ее, и когда она вошла, то, против обыкновения, встретили ее молчанием. Глядя на нее во все глаза, мы не знали, о чем нам говорить с ней, о чем спросить ее. И стояли мы пред нею темной, молчаливой толпой. Она, видимо, удивилась непривычной для нее встрече, — и вдруг мы увидели, что она побледнела, забеспокоилась, как-то завожилась на месте и сдавленным голосом спросила:

— Что это вы... какие?

— А ты? — угрюмо бросил ей пекарь, не сводя с нее глаз.

— Что — я?

— Н-ничего...

— Ну, давайте скорее крендельки...

Никогда раньше она не торопила нас...

— Поспеешь! — сказал пекарь, не двигаясь и не отрывая глаз от ее лица.

Тогда она вдруг повернулась и исчезла в двери.

Пекарь взялся за лопату и спокойно молвил, отворачиваясь к печке:

— Значит — готово!.. Ай да солдат!.. Подлец!..

Мы, как стадо баранов, толкая друг друга, пошли к столу, молча уселись и вяло начали работать. Вскоре кто-то сказал:

— А может, еще...

— Ну-ну! Разговаривай! — закричал пекарь.

Мы все знали, что он человек умный, умнее нас. И окрик его мы поняли, как уверенность в победе солдата... Нам было грустно и беспокойно...

В двенадцать часов, во время обеда, пришел солдат. Он был, как всегда, чистый и щеголеватый и, как всегда, смотрел нам прямо в глаза. А нам неловко было смотреть на него.

— Ну-с, господа честные, хотите, я вам покажу солдатскую удаль? — сказал он, гордо усмехаясь. — Так вы выходите в сени и смотрите в щели... поняли?

Мы вышли и, павалившись друг на друга, прильнули к щелям в дощатой стене сеней, выходившей на двор. Мы недолго ждали... Скоро спешной походкой, с озабоченным лицом, по двору прошла Таня, перепрыгивая через лужи талого снега и грязи. Она скрылась за дверью на погреб. Потом, не торопясь и посвистывая, туда прошел солдат. Руки у него были засунуты в карманы, а усы шевелились...

Шел дождь, и мы видели, как его капли падали в лужи и лужи морщились под их ударами. День был сырой, серый — очень скучный день. На крышах еще лежал снег, а на земле уже появились темные пятна грязи. И снег на крышах тоже был покрыт бурым, грязноватым налетом. Дождь шел медленно, звучал он уныло. Нам было холодно и неприятно ждать...

Первым вышел с погреба солдат; он пошел по двору медленно, шевеля усами, засунув руки в карманы, — такой же, как всегда.

Потом — вышла и Таня. Глаза у нее... глаза у нее сияли радостью и счастьем, а губы — улыбались. И шла она, как во сне, пошатываясь, неверными шагами...

Мы не могли перенести этого спокойно. Все сразу мы бросились к двери, выскочили на двор и засвистали, заорали на нее злобно, громко, дико.

Она вздрогнула, увидав нас, и встала как вкопанная в грязь под ее ногами. Мы окружили ее и злорадно, без удержу, ругали ее похабными словами, говорили ей бесстыдные вещи.

Мы делали это не громко, не торопясь, видя, что ей некуда идти, что она окружена нами и мы можем издеваться над ней, сколько хотим. Не знаю почему, но мы не били ее. Она стояла среди нас и вертела головой то туда, то сюда, слушая наши оскорбления. А мы — все

больше, все сильнее бросали в нее грязью и ядом наших слов.

Краска сошла с ее лица. Ее голубые глаза, за минуту пред этим счастливые, широко раскрылись, грудь дышала тяжело, и губы вздрагивали.

А мы, окружив ее, мстили ей, ибо она ограбила нас. Она принадлежала нам, мы на нее расходовали наше лучшее, и хотя это лучшее — крохи нищих, но нас — двадцать шесть, она — одна, и поэтому нет ей муки от нас, достойной вины ее! Как мы ее оскорбляли!.. Она все молчала, все смотрела на нас дикими глазами, и всю ее била дрожь.

Мы смеялись, ревели, рычали... К нам откуда-то подбегали еще люди... Кто-то из нас дернул Таню за рукав кофты...

Вдруг глаза ее сверкнули; она не торопясь подняла руки к голове и, поправляя волосы, громко, но спокойно сказала прямо в лицо нам:

— Ах вы, арестанты несчастные!..

И она пошла прямо на нас, так просто пошла, как будто нас и не было пред ней, точно мы не преграждали ей дороги. Поэтому никого из нас действительно не оказалось на ее пути.

А выйдя из нашего круга, она, не оборачиваясь к нам, так же громко, гордо и презрительно еще сказала:

— Ах вы, сво-олочь... га-ады...

И — ушла, прямая, красивая, гордая.

Мы же остались среди двора, в грязи, под дождем и серым небом без солнца...

Потом и мы молча ушли в свою сырую каменную яму. Как раньше, солнце никогда не заглядывало к нам в окна, и Таня не приходила больше никогда!..

ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТИКЕ

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике — жажда бурь! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срываает.

Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, — и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!

В гневе грома,— чуткий демон,— он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца,— нет, не скроют!

Ветер воет... Гром грохочет...

Синим пламенем пылают стаи туч пад бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, выются в море, исчезая, отраженья этих молний.

— Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:

— Пусть сильнее грянет буря!..

1901

СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ

Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь.

Андерсен

* * *

О Матерях можно рассказывать бесконечно.

Уже несколько недель город был обложен тесным кольцом врагов, закованных в железо; по ночам зажигались костры, и огонь смотрел из черной тьмы на стены города множеством красных глаз — они пылали злобно, и это подстерегающее горение вызывало в осажденном городе мрачные думы.

Со стен видели, как все теснее сжималась петля врагов, как мелькают вокруг огней их черные тени; было слышно ржание сытых лошадей, доносился звон оружия, громкий хохот, раздавались веселые песни людей, уверенных в победе, — а что мучительнее слышать, чем смех и песни врага?

Все ручьи, питавшие город водою, враги забросали трупами, они выжгли виноградники вокруг стен, вытоптали поля, вырубили сады — город был открыт со всех сторон, и почти каждый день пушки и мушкеты врагов осыпали его чугуном и свинцом.

— По узким улицам города угрюмо шагали отряды солдат, истомленных боями, полуголодных; из окон домов изливались стоны рапелых, крики бреда, молитвы жепщин и плач детей. Разговаривали подавленно, вполголоса и, останавливая па полуслове речь друг друга,

напряженно вслушивались — не идут ли на приступ враги?

Особенно невыносимой становилась жизнь с вечера, когда в тишине стоны и плач звучали яснее и обильнее, когда из ущелий отдаленных гор выползали сине-черные тени и, скрывая вражий стан, двигались к полуразбитым степам, а над черными зубцами гор являлась луна, как потерянный щит, избитый ударами мечей.

Не ожидая помощи, изнуренные трудами и голодом, с каждым днем теряя надежды, люди в страхе смотрели на эту луну, острые зубья гор, черные пасти ущелий и на шумный лагерь врагов — все напоминало им о смерти, и ни одна звезда не блестела утешительно для них.

В домах боялись зажигать огни, густая тьма заливала улицы, и в этой тьме, точно рыба в глубине реки, безмолвно мелькала женщина, с головой закутанная в черный плащ.

Люди, увидав ее, спрашивали друг друга: .

— Это опа?

— Она!

И прятались в ниши под воротами или, опустив головы, молча пробегали мимо нее, а начальники патрулей сурово предупреждали ее:

— Вы снова на улице, монна Марианна? Смотрите, вас могут убить, и никто не станет искать виновного в этом...

Она выпрямлялась, ждала, но патруль проходил мимо, не решаясь или брезгуя поднять руку на нее; вооруженные люди обходили ее, как труп, а она оставалась во тьме и снова тихо, одиноко шла куда-то, переходя из улицы в улицу, немая и черная, точно воплощение несчастий города, а вокруг, преследуя ее, жалобно ползали печальные звуки: стоны, плач, молитвы и угрюмый говор солдат, потерявших надежду на победу.

Гражданка и мать, она думала о сыне и родине: во главе людей, разрушавших город, стоял ее сын, веселый и безжалостный красавец; еще недавно она смотрела на него с гордостью, как на драгоценный свой подарок родине, как на добрую силу, рожденную ею в помощь людям города — гнезда, где она родилась сама, родила и выкормила его. Сотни неразрывных нитей связывали это сердце с древними камнями, из которых ее предки построили дома и сложили стены города, с землей, где лежали кости ее кровных, с легендами, песнями и на-

деждами людей — теряло сердце матери ближайшего ему человека и плакало: было оно подобно весам, по, взвешивая в нем любовь к сыну и городу, не могло понять — что легче, что тяжелей?

Так ходила она ночами по улицам, и многие, не узнавая ее, пугались, принимали черную фигуру за олицетворение смерти, близкой всем, а узнавая, молча отходили прочь от матери изменника.

Но однажды в глухом углу, около городской стены, она увидела другую женщину: стоя на коленях около трупа, неподвижная, точно кусок земли, она молилась, подняв скорбное лицо к звездам, а на стене, над головой ее, тихо переговаривались сторожевые и скрежетало оружие, задевая камни зубцов.

Мать изменника спросила:

— Муж?

— Нет.

— Брат?

— Сын. Муж убит тринадцать дней тому назад, а этот — сегодня.

И, поднявшись с колен, мать убитого покорно сказала:

— Мадонна все видит, все знает, и я благодарю ее!

— За что? — спросила первая, а та ответила ей:

— Теперь, когда он честно погиб, сражаясь за родину, я могу сказать, что он возбуждал у меня страх: легкомысленный, он слишком любил веселую жизнь, и было боязно, что ради этого он изменит городу, как это сделал сын Марианны, враг бога и людей, предводитель наших врагов, будь он проклят, и будь проклято чрево, носившее его!..

Закрыв лицо, Марианна отошла прочь, а утром на другой день явилась к защитникам города и сказала:

— Или убейте меня за то, что мой сын стал врагом вашим, или откройте мне ворота, я уйду к нему...

Они ответили:

— Ты — человек, и родина должна быть дорога тебе; твой сын такой же враг для тебя, как и для каждого из нас.

— Я — мать, я его люблю и считаю себя виновной в том, что он таков, каким стал.

Тогда они стали советоваться, что сделать с нею, и решили:

— По чести — мы не можем убить тебя за грех сына, мы знаем, что ты не могла внушить ему этот страшный грех, и догадываемся, как ты должна страдать. Но ты не нужна городу даже как заложница — твой сын не заботится о тебе, мы думаем, что он забыл тебя, дьявол, и — вот тебе наказание, если ты находишь, что заслужила его! Это нам кажется страшнее смерти!

— Да! — сказала она. — Это — страшнее.

Они открыли ворота пред нею, выпустили ее из города и долго смотрели со стены, как она шла по родной земле, густо насыщенной кровью, пролитой ее сыном: шла она медленно, с великим трудом отрывая ноги от этой земли, кланяясь трупам защитников города, брезгливо отталкивая ногою поломанное оружие, — матери невидят оружие нападения, признавая только то, которым защищается жизнь.

Она как будто несла в руках под плащом чашу, полную влагой, и боялась расплескать ее; удаляясь, она становилась все меньше, а тем, что смотрели на нее со стены, казалось, будто вместе с нею отходит от них уныние и безнадежность.

Видели, как она на полпути остановилась и, сбросив с головы капюшон плаща, долго смотрела на город, а там, в лагере врагов, заметили ее, одну среди поля, и не спеша, осторожно, к ней приближались черные, как она, фигуры.

Подшли и спросили — кто она, куда идет?

— Ваш предводитель — мой сын, — сказала она, и ни один из солдат не усумнился в этом. Шли рядом с нею, хвalebно говоря о том, как умен и храбр ее сын, она слушала их, гордо подпав голову, и не удивлялась — ее сын таков и должен быть!

И вот она пред человеком, которого знала за девять месяцев до рождения его, пред тем, кого она никогда не чувствовала вне своего сердца, — в шелке и бархате он пред нею, и оружие его в драгоценных камнях. Все — так, как должно быть; именно таким она видела его много раз во сне — богатым, знаменитым и любимым.

— Мать! — говорил он, целуя ее руки. — Ты пришла ко мне, значит, ты поняла меня, и завтра я возьму этот проклятый город!

— В котором ты родился, — напомнила она.

Опьяненный подвигами своими, обезумевший в жа-

жде еще большей славы, он говорил ей с дерзким жаром молодости:

— Я родился в мире и для мира, чтобы поразить его удивлением! Я щадил этот город ради тебя — он как заноза в ноге моей и мешает мне так быстро идти к славе, как я хочу этого. Но теперь — завтра — я разрушу гнездо упрямцев!

— Где каждый камень знает и помнит тебя ребенком, — сказала она.

— Камни — немые, если человек не заставит их говорить, — пусть горы заговорят обо мне, вот чего я хочу!

— Но — люди? — спросила она.

— О да, я помню о них, мать! И они мне пужны, ибо только в памяти людей бессмертны герои!

Опа сказала:

— Герой — это тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто побеждает смерть...

— Нет! — возразил он. — Разрушающий так же славен, как и тот, кто создает города. Посмотри — мы не знаем, Эней или Ромул построил Рим, но — точно известно имя Алариха и других героев, разрушавших этот город...

— Который пережил все имена, — напомнила мать.

Так говорил он с нею до заката солнца, она все реже перебивала его безумные речи, и все ниже опускалась ее гордая голова.

Мать — творит, она — охраняет, и говорить при ней о разрушении — значит говорить против нее, а он не знал этого и отрицал смысл ее жизни.

Мать — всегда против смерти; рука, которая вводит смерть в жилища людей, ненавистна и враждебна Матерям — ее сын не видел этого, ослепленный холодным блеском славы, убивающим сердце.

И он не знал, что Мать — зверь столь же умный, безжалостный, как и бесстрашный, если дело идет о жизни, которую она, Мать, творит и охраняет.

Сидела она согнувшись, и сквозь открытое полотнище богатой палатки предводителя ей был виден город, где она впервые испытала сладостную дрожь зачатия и мучительные судороги рождения ребенка, который теперь хочет разрушать.

Багряные лучи солнца обливали стены и башни города кровью, зловеще блестели стекла окон, весь город казался израненным, и через сотни ран лился красный

сок жизни; шло время, и вот город стал чернеть, как труп, и, точно погребальные свечи, зажглись над ним звезды.

Она видела там, в темных домах, где боялись зажечь огонь, дабы не привлечь внимания врагов, на улицах, полных тьмы, запаха трупов, подавленного шепота людей, ожидающих смерти,— она видела все и всех; знакомое и родное стояло близко пред нею, молча ожидая ее решения, и она чувствовала себя матерью всем людям своего города.

С черных вершин гор в долину спускались тучи и, точно крылатые кони, летели на город, обреченный смерти.

— Может быть, мы обрушимся на него еще ночью,— говорил ее сын,— если ночь будет достаточно темна! Неудобно убивать, когда солнце смотрит в глаза и блеск оружия ослепляет их — всегда при этом много неверных ударов,— говорил он, рассматривая свой меч.

Мать сказала ему:

— Иди сюда, положи голову на грудь мне, отдохни, вспоминая, как весел и добр был ты ребенком и как все любили тебя...

Он послушался, прилег на колени к ней и закрыл глаза, говоря:

— Я люблю только славу и тебя, за то, что ты родила меня таким, каков я есть.

— А женщины? — спросила она, поклонясь над ним.

— Их — много, они быстро надоедают, как все слишком сладкое.

Она спросила его в последний раз:

— И ты не хочешь иметь детей?

— Зачем? Чтобы их убили? Кто-нибудь, подобный мне, убьет их, а мне это будет больно, и тогда я уже буду стар и слаб, чтобы отомстить за них.

— Ты красив, но бесплоден, как молния,— сказала она, вздохнув.

Он ответил, улыбаясь:

— Да, как молния...

И задремал на груди матери, как ребенок.

Тогда она, накрыв его своим черным плащом, воткнула нож в сердце его, и он, вздрогнув, тотчас умер — ведь она хорошо знала, где бьется сердце сына. И, сбросив труп его с колен своих к ногам изумленной стражи, она сказала в сторону города:

— Человек — я сделала для родины все, что могла; Мать — я остаюсь со своим сыном! Мне уже поздно родить другого, жизнь моя никому не пужна.

И тот же пож, еще теплый от крови его — ее крови, — она твердой рукою вонзила в свою грудь и тоже верно почала в сердце, — если оно болит, в него легко попасть.

* * *

Квартал святого Якова справедливо гордится своим фонтаном, у которого любил отдыхать, весело беседуя, бессмертный Джованни Боккачио и который не однажды был написан на больших полотнах великим Сальватором Роза, другом Томазо Аниелло — Мазаниелло, как прозвал его бедный народ, за чью свободу он боролся и погиб, — Мазаниелло родился тоже в нашем квартале.

Вообще — в квартале нашем много родилось и жило замечательных людей, — в старину они рождались чаще, чем теперь, и были заметней, а ныне, когда все ходят в пиджаках и занимаются политикой, трудно стало человеку подняться выше других, да и душа туго растет, когда ее пелепают газетной бумагой.

До лета прошлого года другою гордостью квартала была Нунча, торговка овощами, — самый веселый человек в мире и первая красавица нашего угла, — над ним солнце стоит всегда немпожко дольше, чем над другими частями города. Фонтан, конечно, остался донныне таким, как был всегда; все более желтея от времени, он долго будет удивлять иностранцев забавной своей красотой, — мраморные дети не стареют и не устают в играх.

А милая Нунча летом прошлого года умерла на улице во время тапца, — редко бывает, чтоб человек умер так, и об этом стоит рассказать.

Она была слишком веселой и сердечной женщиной для того, чтоб спокойно жить с мужем; муж ее долго не понимал этого — кричал, божился, размахивал руками, показывал людям нож и однажды пустил его в дело, проколов кому-то бок, но полиция не любит таких шуток, и Стефано, посидев немного в тюрьме, уехал в Аргентину; перемена воздуха очень помогает сердитым людям.

Нунча в двадцать три года осталась вдовою с пятилетней дочерью на руках, с парой ослов, огородом и

телесжкой,— веселому чловеску цемного пужно, и для нее этого вполне достаточно. Работать она умела, охотников помочь ей было много; когда же у нее не хватало денег, чтоб заплатить за труд,— она платила смехом, песнями и всем другим, что всегда дороже денег.

Не все жепщины были довольны ее жизнью, и мужичпы, конечно, не все, но, имея честное сердце, она не только не трогала жепатых, а даже часто умела помирить их с женами,— она говорила:

— Кто разлюбил жепщину — значит, он не умст любить...

Артур Лано, рыбак, который юпошей учился в семинарии, готовясь быть священником, по потерял дорогу к сутапе и в рай, заблудившись в море, в кабачках и везде, где весло,— Лано, великий мастер сочинять нескромные песни, сказал ей однажды:

— Ты, кажется, думаешь, что любовь — паука такая же трудная, как богословие?

Она ответила:

— Наук я не знаю, по твои песни — все.

И прощела ему, толстому, как бочка:

Это уж так водится:
Тогда весна была —
Сама богородица
Весною зачала.

Он, разумсется, хохотал, спрятав умные глазки в красный жир своих щек.

Так и жила она, радуясь сама, на радость многим, приятная для всех, даже ее подружки примирились с нею, поняв, что характер человека — в его костях и крови, вспомнив, что даже святые не всегда умели побеждать себя. Наконец, мужчина — не бог, а только богу пельзя изменить...

Лет десять сияла Нунча звездой, всеми признапная первая красавица, лучшая танцорка квартала, и, будь она девушкой,— ее, конечно, выбрали бы королевой рышка, чем она и была в глазах всех.

Даже иностранцам показывали ее, и многие из них очень желали беседовать с нею наедине,— это всегда сменило ее до упада.

— На каком языке будет говорить со мною этот сто раз выстиранный сипьор?

— На языке золотых монет, дурочка,— убеждали ее солидные люди, но она отвечала:

— Чужим я не могу продать ничего, кроме лука, чесноку, помидоров...

Были случаи, когда люди, искренно желавшие ей добра, говорили с нею очень настойчиво:

— Какой-нибудь месяц, Нунча, и — ты богата! Подумай хорошо над этим, вспомни, что у тебя есть дочь...

— Нет, — возражала она, — я люблю мое тело и не могу оскорбить его! Я знаю — стоит только оди́н раз сделать что-нибудь нехотя, и уже навсегда потеряешь уважение к себе...

— Но — ведь ты не отказываешь другим!

— Своим, и — когда хочу...

— Э, что такое — свои?

Она знала это:

— Люди, среди которых выросла моя душа и которые понимают ее...

Но все-таки у нее была история с одним форе́стьером из Англии, — очень страшный, молчаливый человек, хотя он хорошо знал наш язык. Молодой, а волосы уже седые, и поперек лица — шрам; лицо — разбойника, глаза святого. Одни говорили, будто бы он пишет книги, другие утверждали, что он — игрок. Она даже уезжала с ним куда-то в Сицилию и возвратилась очень похудевшей. Но он едва ли был богат, — Нунча не привезла с собою ни денег, ни подарков. И снова стала жить среди своих, — как всегда, веселая, доступная всем радостям.

Но вот однажды в праздник, когда люди выходили из церкви, кто-то заметил удивленно:

— Смотрите-ка, — Ни́на становится совсем точно мать!

Это была правда, как майский день: дочь Нунчи незаметно для людей разгорелась звездой, такую же яркой, как мать. Ей было только четырнадцать лет, но — очень рослая, пышповолосая, с гордыми глазами — она казалась значительно старше и вполне готовой быть женщиной.

Даже сама Нунча удивилась, присмотревшись к ней:

— Святая мадонна! Неужели ты, Ни́на, хочешь быть красивей меня?

Девушка, улыбаясь, ответила:

— Нет, только такой, как ты, этого и для меня довольно...

И тогда впервые на лице веселой женщины люди увидали тень грусти, а вечером она сказала подругам: — Вот наша жизнь! Не успеешь допить свой стакан до половины, а к нему уже потянулась новая рука...

Разумеется, сначала не заметно было и тени соперничества между матерью и Ниной, — дочь вела себя скромно, бережно, смотрела на мир сквозь ресницы и пред мужчинами неохотно открывала рот; а глаза матери горели все жадней, и все призывней звучал ее голос.

Люди вспыхивали около нее, как паруса на рассвете, когда их коснется первый луч солнца, и это верно: для многих Нунча была первым лучом дня любви, многие благодарно молчали о ней, видя, как она идет по улице рядом со своею тележкой, стройная, точно мачта, и голос ее взлетает на крыши домов. Хороша она была и на рынке, когда стояла перед ярко-разноцветной кучей овощей, точно написанная великим мастером на белом фоне церковной стены, — ее место было у церкви святого Якова, слева от паперти, она и умерла в трех шагах от него. Стоит и — точно горит вся, веселыми искрами летают над головами людей ее бойкие шутки, ее смех и песни, которых она знала тысячи.

Она умела одеться так, что ее красота выигрывала, как доброе вино в стакане хорошего стекла: чем прозрачнее стекло — тем лучше оно показывает душу вина, цвет всегда дополняет запах и вкус, доигрывая до конца ту красную песню без слов, которую мы пьем для того, чтоб дать душе немножко крови солнца. Вино, о господи! Мир со всем его шумом и суетою не стоил бы ослиного копыта, не имей человек сладкой возможности оросить свою бедную душу хорошим стаканом красного вина, которое, подобно святому причастию, очищает нас от злого праха грехов и учит любить и прощать этот мир, где довольно-таки много всякой дряпи... Вы только посмотрите сквозь ваш стакан на солнце, — вино расскажет вам такие сказки...

Стоит Нунча на солнце, зажигая веселые мысли и желание правиться ей — пред красивой женщиной стыдно быть незаметным человеком и всегда хочется прыгнуть выше самого себя. Много доброго сделано было Нунчей, много сил разбудила она и влила в жизнь. Хорошее всегда зажигает желание лучшего.

Да, а около матери все чаще является дочь, скромная, как монахиня или как пож в пожнах. Мужчины смотрят, сравнивают, и, может быть, некоторым становится понятно, что иногда чувствует женщина и как обидно ей жить.

Идет время, все ускоряя свой торопливый, мелкий шаг, золотыми пылинками в красном луче солнца мелькают во времени люди. Нунча все чаще сдвигает густые брови, а порою, закусив губу, смотрит на дочь, как игрок на другого, стараясь догадаться, каковы его карты...

Проходит год, два,— дочь все ближе к матери и — дальше от нее. Уже всем заметно, что парни не знают, куда смотреть ласковей — на ту или эту. А подруги,— друзья и подруги любят укунить там, где чешется,— подруги спрашивают:

— Что, Нунча, гасит тебя дочь?

Женщина, смеясь, отвечала:

— Большие звезды и при луне видны...

Как мать — она гордилась красотой дочери, как женщина — Нунча не могла не завидовать юности; Нина встала между нею и солнцем,— матери обидно было жить в тени.

Лано сочинил новую песенку, в первом куплете ее говорилось:

Будь я мужчиной,— я тогда
Заставила бы дочь мою
Родить земле красавицу,
Как я в ее года...

Нунча не хотела петь эту песню. Шел слух, будто Нина не однажды уже говорила Нунче:

— Мы могли бы жить лучше, если б ты была более благоразумна.

И настал день, когда дочь сказала матери:

— Мама, ты слишком заслоняешь меня от людей, а ведь я уже не маленькая и хочу взять от жизни свое! Ты жила много и весело,— не пришло ли и для меня время жить?

— В чем дело? — спросила мать, виновато опустив глаза,— знала она, в чем дело.

Воротился из Австралии Энрико Борбоне, он был дровосеком в этой чудесной стране, где всякий желающий легко достает большие деньги, он приехал погреться на солнце родины и снова собирался туда, где живет свободней. Было ему тридцать шесть лет,— боро-

датый, могучий, веселый, он прекрасно рассказывал о своих приключениях, о жизни в дремучих лесах; все принимали эту жизнь за сказку, мать и дочь — за правду.

— Я вижу, что правлюсь Эприко,— говорила Нина,— а ты с ним играешь, и это, делая его легкомысленным, мешает мне.

— Пожимаю,— сказала Нунча.— Хорошо, ты не станешь жаловаться мадонне на твою мать...

И эта женщина честно отошла прочь от человека, который — все видели — был приятен ей больше многих других.

Но известно, что легкие победы делают победителей запосчивыми, а если победитель еще дитя — дело совсем плохо!

Нина стала говорить со своей матерью не так, как заслуживала Нунча; и вот однажды, в день святого Якова, на празднике нашего квартала, когда все люди веселились от души, а Нунча уже великолепно станцевала тараптеллу,— дочь заметила ей при всех:

— Не слишком ли много тапцуешь ты? Пожалуй, это не по годам тебе, пора щадить сердце...

Все, кто слышал дерзкие слова, сказанные ласково, замолчали на секунду, а Нунча в ярости крикнула, подпирая руками стройные бока:

— Мое сердце? Ты заботишься о нем, да? Хорошо, девочка, спасибо! Но — посмотрим, чье сердце сильнее!

И, подумав, предложила:

— Мы пробежим с тобою отсюда до фонтана трижды туда и обратно, не отдыхая, конечно...

Многим показалась смешной эта гонка женщин, были люди, которые отнеслись к этому как к позорному скандалу, по большинство, уважая Нунчу, взглянуло на ее предложение с серьезной шутливостью и заставило Нину принять вызов матери.

Выбрали судей, назначили предельную скорость бега,— все, как на скачках, подробно и точно. Было много женщин и мужчин, которые, искренно желая видеть мать победительницей, благословляли ее и давали добрые обеты мадонне, если только она согласится помочь Нунче, даст ей силу.

И вот мать и дочь стоят рядом, не глядя друг на друга, вот глухо ударил бубен, они сорвались и летят вдоль улицы на площадь, как две большие белые пти-

цы,— мать в красном платке на голове, дочь — в голубом.

Уже с первых минут стало ясно, что дочь уступит матери в легкости и силе,— Нунча бежала так свободно и красиво, точно сама земля несла ее, как мать ребенка,— люди стали бросать из окоп и с тротуаров цветы под ноги ей и рукоплескали, одобряя ее криками; в два конца она опередила дочь на четыре минуты с лишком, и Нина, разбитая, обиженная неудачей, в слезах и задыхаясь, упала на ступени паперти,— не могла уже бежать третий раз.

Бодрая, словно кошка, Нунча наклонилась над нею, смеясь вместе со многими.

— Дитя,— говорила она, поглаживая рассыпавшиеся волосы девушки своей сильной рукой,— дитя, надо знать, что наиболее сильное сердце в забавах, работе и любви,— сердце женщины, испытанной жизнью, а жизнь узнаешь далеко за тридцать... дитя, не огорчайся!..

И, не давая себе отдохнуть после бега, Нунча снова пожелала танцевать тарантеллу:

— Кто хочет?

Вышел Эприко, снял шляпу и, низко поклонясь этой славной женщине, долго держал голову почтительно склоненной перед нею.

Грянул, загудел, зажужжал бубен, и вспыхнула эта пламенная пляска, опьяняющая, точно старое, крепкое, темное вино; завертелась Нунча, извиваясь, как змея,— глубоко понимала она этот танец страсти, и велико было наслаждение видеть, как живет, играет ее прекрасное непобедимое тело.

Плясала она долго, со многими, мужчины уставали, а она все не могла насытиться, и уже было за полночь, когда она, крикнув:

— Ну, еще раз, Эпри, последний! — снова медленно начала танец с ним — глаза ее расширились и, ласково светясь, обещали много,— но вдруг, коротко вскрикнув, она всплеснула руками и упала, как подрубленная под колени.

Доктор сказал, что она умерла от разрыва сердца.
Вероятно...

По Руси

РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Это было в 92-м, голодном году, между Сухумом и Очемчирами, на берегу реки Кодор, недалеко от моря — сквозь веселый шум светлых вод горной речки ясно слышен глухой плеск морских волн.

Осепь. В белой пене Кодора кружились, мелькали желтые листья лавровишни, точно маленькие, проворные лососи, я сидел на камнях над рекою и думал, что, наверное, чайки и бакланы тоже принимают листья за рыбу и — обманываются, вот почему они так обиженно кричат, там, паправо, за деревьями, где плещет море.

Каштапы падо мною убраны золотом, у ног моих — много листьев, похожих на отсеченные ладони чьих-то рук. Ветви граба на том берегу уже голые и висят в воздухе разорванной сетью; в ней, точно пойманный, прыгает желто-красный горный дятел-расудук, стучит черным носом по коре ствола, выгоняя насекомых, а ловкие синицы и сизые поползны — гости с далекого севера — клюют их.

Слева от меня по вершинам гор тяжело нависли, угрожая дождем, дымные облака, от них ползут тени по зеленым скатам; где растет мертвое дерево самшит, а в дуплах старых буков и лип можно найти «пьяный мед», который, в древности, едва не погубил солдат Помпея Великого пьяной сладостью своей, свалив с пог целый легион железных римлян; пчелы делают его из цветов лавра и азалии, а «проходящие» люди выбирают из дупла и едят, намазав на лаваш — тонкую лепешку из пшеничной муки.

Этим я и занимался, сидя в камнях под каштапами, сильно искусанный сердитой пчелой, — макал куски хлеба в котелок, полный меда, и ел, любуясь ленивой игрою усталого солнца осени.

Осенью на Кавказе — точно в богатом соборе, который построили великие мудрецы — они же всегда и великие грешники, — построили, чтобы скрыть от зорких глаз совести свое прошлое, необъятный храм из золота, бирюзы, изумрудов, развесили по горам лучшие ковры, шитые шелками у тюркмен, в Самарканде, в Шемахе, ограбили весь мир и все — снесли сюда, на глаза солнца, как бы желая сказать ему:

— Твое — от Твоих — Тебе.

...Я вижу, как длиннобородые седые великаны, с огромными глазами веселых детей, спускаясь с гор, украшают землю, всюду щедро сея разноцветные сокровища, покрывают горные вершины толстыми пластами серебра, а уступы их — живою тканью многообразных деревьев, и — безумно-красивым становится под их руками этот кусок благодатной земли.

Превосходная должность — быть на земле человеком, сколько видишь чудесного, как мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении пред красотой!

Ну, да — порою бывает трудно, вся грудь нальется жгучей несправедливостью и тоска жадно сосет кровь сердца, но это — не навсегда дано, да ведь и солнцу, часто, очень грустно смотреть на людей: так много потрудились они для них, а — не удались людишки...

Разумеется, есть немало и хороших, но — их надобно починить или — лучше — переделать заново.

...Над кустами, влево от меня, качаются темные головы: в шуме волн моря и ропоте реки чуть слышно звучат человеческие голоса — это «голодающие» идут на работу в Очемчиры из Сухума, где они строили шоссе.

Я знаю их — орловские, вместе работал с ними и вместе рассчитался вчера; ушел я раньше их, в ночь, чтобы встретить восход солнца на берегу моря.

Четверо мужиков и скуластая баба, молодая, беременная, с огромным, вздутым к посу животом, испуганно вытаращенными глазами, синевато-серого цвета. Я вижу над кустами ее голову в желтом платке, она качается, точно цветущий подсолнечник под ветром. В Сухуме у нее помер муж — объелся фруктами. Я жил в

бараке среди этих людей: по доброй русской привычке они толковали о своих несчастиях так много и громко, что, вероятно, их жалобные речи было слышно верст на пять вокруг.

Это — скучные люди, раздавленные своим горем, оно сорвало их с родной, усталой, перодимой земли и, как ветер сухие листья осени, занесло сюда, где роскошь пейзажной природы — изумив — ослепила, а тяжкие условия труда окопчательно пришибли этих людей. Они смотрели на все здесь, растерянно мигая выцветшими, грустными глазами, жалко улыбаясь друг другу, тихо говоря:

— А-яй... экая землища...

— Прямо — прет из нее.

— Н-да-а... а однако — камень ведь...

— Неудобная земля, надобно сказать...

И вспоминали о Кобыльем ложке, Сухом гоне, Мокреньком — о родных местах, где каждая горсть земли была прахом их дедов и все памятно, знакомо, дорого — орошено их потом.

Была там с ними еще одна баба — высокая, прямая, плоская, как доска, с лошадиными челюстями и тусклым взглядом черных, точно угли, косых глаз.

Вечерами она, вместе с этой — в желтом платке, — уходила за барак и, сидя там на груде щебня, положив щеку на ладонь, склоня голову вбок, пела высоким и сердитым голосом:

За погостом...

во зелены-их куста-ах —

На песочку...

расстелю я белый плат...

Не дождусь ли...

дружка милого моего...

Придет милый...

поклонюся яй ему...

Желтая обычно молчала, согнув шею и разглядывая свой живот, но иногда вдруг, неожиданно, лепиво и густо, мужицким сиповатым голосом вступала в песню рыдающими словами:

Ой-да, милый...

ой, миленок дарагой...

Не судьба мне...

боле видеться с тобой...

В черной душей темноте южной ночи эти плачевные голоса напоминали север, снежные пустыни, визг метели и отдаленный вой волков...

Потом косоглазая баба заболела лихорадкой и ее снесли в город на носилках из брезента — она тряслась в них и мычала, словно продолжая петь свою песню о погосте и песочке.

...Ныряя в воздухе, желтая голова исчезла.

Я копчил свой завтрак, закрыл листьями мед в котелке, завязал котомку и не спеша двинулся вослед ушедшим, постукивая кизиловой палкой о твердый грунт тропы.

Вот и я на узкой, серой полосе дороги, справа — качается густо-синее море; точно невидимые столяры строгают его тысячами фуганков — белая стружка, шурша, бежит на берег, гонимая ветром, влажным, теплым и пахучим, как дыхание здоровой женщины. Турецкая фелюга, накрепко на левый борт, скользит к Сухуму, надув паруса, как важный сухумский инженер надувал свои толстые щеки — серьезнейший человек. Почему-то он говорил вместо тише — «чише» и «хыть» вместо хоть.

— Чише! Хыть ты и боек, но я тебя моментально в полицию...

Любил он отправлять людей в полицию, и хорошо думать, что теперь его, наверное, уже давно, до костей обглодали червяки могилы.

...Идти — легко, точно плывешь в воздухе. Приятные думы, пестро одетые воспоминания ведут в памяти тихий хоровод; этот хоровод в душе — как белые гребни волн на море, они сверху, а там, в глубине — спокойно, там тихо плавают светлые и гибкие надежды юности, как серебряные рыбы в морской глубине.

Дорогу тянет к морю, она, извиваясь, подползает ближе к песчаной полосе, куда вбегают волны, — кустам тоже хочется заглянуть в лицо волны, они наклоняются через ленту дороги, точно кивая синему простору водной пустыни.

Ветер подул с гор — будет дождь.

...Тихий стон в кустах — человеческий стон, всегда родственно встряхивающий душу.

Раздвинув кусты, вижу — опираясь спиной о ствол ореха, сидит эта баба, в желтом платке, голова опущена на плечо, рот безобразно растянут, глаза выкатились и

безумны; она держит руки на огромном животе и так неестественно страшно дышит, что весь живот судорожно дрыгает, а баба, придерживая его руками, глухо мычит, обнажив желтые, волчьи зубы.

— Что — ударили? — спросил я, наклоняясь к ней, — она сучит, как муха, голыми ногами в пепельной пыли и, болтая тяжелой головою, хрипит:

— Уди-и... бесстыжий... ух-ходи...

Я понял, в чем дело, — это я уже видел однажды, — конечно, испугался, отпрыгнул, а баба громко, протяжно завывала, из глаз ее, готовых лопнуть, брызнули мутные слезы и потекли по багровому, натужно надутому лицу.

Это воротило меня к ней, я сбросил на землю котомку, чайник, котелок, опрокинул ее спиною на землю и хотел согнуть ей ноги в коленях — она оттолкнула меня, ударив руками в лицо и грудь, повернулась и, точно медведица, рыча, хрипя, пошла на четвереньках дальше в кусты:

— Разбойник... дьявол...

Подломились руки, она упала, ткнулась лицом в землю и снова завывала, судорожно вытягивая ноги.

В горячке возбуждения, быстро вспомнив все, что знал по этому делу, я перевернул ее на спину, согнул ноги — у нее уже вышел околоплодный пузырь.

— Лежи, сейчас родишь...

Сбегал к морю, засучил рукава, вымыл руки, вернулся и — стал акушером.

Баба извивалась, как береста на огне, шлепала руками по земле вокруг себя и, вырывая блеклую траву, все хотела запихать ее в рот себе, осыпала землею страшное, нечеловеческое лицо, с одичалыми, палитыми кровью глазами, а уж пузырь прорвался и прорезывалась головка, — я должен был сдерживать судороги ее ног, помогать ребенку и следить, чтобы она не совала траву в свой перекошенный, мычащий рот...

Мы немножко ругали друг друга, она — сквозь зубы, я — тоже не громко, она — от боли и, должно быть, от стыда, я — от смущения и мучительной жалости к ней...

— Х-хосподи, — хрипит она, синие губы закусены и в пене, а из глаз, словно вдруг выцветших на солнце, все льются эти обильные слезы невыносимого страдания матери, и все тело ее ломается, разделяемое надвое.

— Ух-ходи ты, бес...

Слабыми, вывихнутыми руками она все отталкивает меня, я убедительно говорю:

— Дуреха, роди знай скорее...

Мучительно жалко ее, и кажется, что ее слезы брызнули в мои глаза, сердце сжато тоской, хочется кричать, и я кричу:

— Ну, скорей!

И вот — на руках у меня человек — красный. Хотя и сквозь слезы, но я вижу — он весь красный и уже педоволен миром, барахтается, буянит и густо орет, хотя еще связан с матерью. Глаза у него голубые, нос смешно раздавлен на красном, смятом лице, губы шевелятся и тянут:

— Я-а... я-а...

Такой скользкий — того и гляди, уплывет из рук моих, я стою на коленях, смотрю на него, хохочу — очень рад видеть его! И — забыл, что надобно делать...

— Режь... — тихо шепчет мать, — глаза у нее закрыты, лицо опало, оно землисто, как у мертвой, а синие губы едва шевелятся:

— Ножиком... перережь...

Нож у меня украли в бараке — я перекусываю пуповину, ребенок орет орловским басом, а мать — улыбается: я вижу, как удивительно расцветают, горят ее бездонные глаза синим огнем — темная рука шарит по юбке, ищет карман, и окровавленные, искусанные губы шелестят:

— Н-не... силушки... тесемочка кармани... перевязать пупочек...

Достал тесемку, перевязал, она — улыбается все ярче; так хорошо и ярко, что я почти слепну от этой улыбки.

— Оправляйся, а я пойду, вымою его...

Она беспокойно бормочет:

— Мотри — тихонечко... мотри же...

Этот красный человечик совсем не требует осторожности: он сжал кулак и орет, орет, словно вызывая на драку с ним:

— Я-а... я-а...

— Ты, ты! Утверждайся, брат, крепче, а то ближние немедленно голову оторвут...

Особенно серьезно и громко крикнул он, когда его впервые обдало пенной волной моря, весело хлестнув-

шей обоих нас; потом, когда я стал нащупывать грудь и спинку ему, он зажмурил глаза, забился и завизжал пронзительно, а волны, одна за другою, всё обливали его.

— Шуми, орловский! Кричи во весь дух...

Когда мы с ним воротились к матери, она лежала, снова закрыв глаза, кусая губы, в схватках, извергавших послед, но, несмотря на это, сквозь стоны и вздохи, я слышал ее умирающий шепот:

— Дай... дай его...

— Подождет.

— Дай-ко...

И дрожащими неверными руками расстегивала кофту на груди. Я помог ей освободить грудь, заготовленную природой на двадцать человек детей, приложил к теплему ее телу буйного орловца, он сразу все понял и замолчал.

— Пресвятая, пречистая,— вздрагивая, вздыхала мать и перекачивала растрепанную голову по котомке с боку на бок.

И вдруг, тихо крпкнув, умолкла, потом снова открылись эти донельзя прекрасные глаза — святые глаза родительницы,— синие, они смотрят в синее небо, в них горит и тает благодарная, радостная улыбка; подняв тяжелую руку, мать медленно крестит себя и ребенка...

— Слава те, пречистая мать божия... ох... слава тебе...

Глаза угасли, провалились, она долго молчит, едва дыша, и вдруг деловито, отвердевшим голосом сказала:

— Развяжи, паренек, котомку мою...

Развязали, она взглянула на меня пристально, слабенько усмехнулась, как будто — чуть заметно — румянец блеснул на опавших щеках и потном лбу.

— Отойди-ка...

— Ты очень-то не возись...

— Ну, пу... отойди...

Отошел недалеко в кусты. Сердце как будто устало, а в груди тихо поют какие-то славные птицы, и это — вместе с немолчным плеском моря — так хорошо, что можно бы слушать год...

Где-то недалеко журчит ручей — точно девушка рассказывает подруге о возлюбленном своем...

Над кустами поднялась голова в желтом платке, уже повязанном, как надобно.

— Эй, эй, это ты, брат, рано завозилась!

Придерживаясь рукою за ветку кустарника, она сидела, точно выпитая, без кровинки в сером лице, с огромными синими озерами на месте глаз, и умиленно шептала:

— Гляди — как спит...

Спал он хорошо, по, на мой взгляд, ничем не лучше других детей, а если и была разница, так она падала на обстановку: он лежал на куче ярких осенних листьев, под кустом, — какие не растут в Орловской губернии.

— Ты бы, мать, легла...

— Не-е, — сказала она, покачивая головою на развищенной шее, — мне прибираться надобно да идти в энти самые...

— В Очемчирь?

— Во-от! Наши-те поди сколько верст ушагали...

— Да разве ты можешь идти?

— А богородица-то? Пособит...

Ну, уж если она вместе с богородицей, — надо молчать!

Она смотрит под куст на маленькое, недовольно надутое лицо, изливая из глаз теплые лучи ласкового света, облизывает губы и медленным движением руки поглаживает грудь.

Я развожу костер, прилаживаю камни, чтобы поставить чайник.

— Ссейчас я тебя, мать, чаем угощу...

— О? Напой-ка... ссохлось все в грудях-то у меня...

— Что ж это земляки бросили тебя?

— Они не бросили — зачем! Я сама отстала, а они — выпимши, ну... и хорошо, а то как бы я распросталась при них-то...

Взглянув на меня, она закрыла лицо локтем, потом, сплюнув кровью, стыдливо усмехнулась.

— Первый у тебя?

— Первепькой... А ты — кто?

— Вроде как бы человек...

— Конечно, человек! Женатый?

— Не удостоился...

— Врешь?

— Зачем?

Она опустила глаза, подумала:

— А как же ты бабьи дела знаешь?

Теперь — совру. И я сказал:

— Учился этому. Студент — слыхала?

— А как же! У нас у попа сын старшой студент тоже, на попа учится...

— Вот и я из эдаких. Ну, пойду за водой...

Жепщина наклонила голову к сыну, прислушалась — дышит ли? — потом поглядела в сторону моря.

— Помыться бы мне, а вода — незнакомая... Что это за вода? И соленая и горькая...

— Вот ты ею и помойся — здоровая вода!

— Ой?

— Верпо. И теплей, чем в ручье, а ручьи здесь — как лед...

— Тебе — знать...

Дремля, свесив голову на грудь, шагом проехал абхазец; маленькая лошадка, вся из сухожилий, прядая ушами, покосилась на нас круглым черным глазом — фыркпула, всадник сторожко взметнул башкой, в мохнатой меховой шапке, тоже взглянул в нашу сторону и снова опустил голову.

— Эки люди здесь несуразные, да страховидные, — тихо сказала орловка.

Я ушел. По камням прыгает, поет струя светлой и живой, как ртуть, воды, в ней весело кувыркаются осенние листья — чудесно! Вымыл руки, лицо, набрал воды полный чайник, иду и вижу сквозь кусты — женщина, беспокойно оглядываясь, ползет па коленях по земле, по камням.

— Чего тебе?

Испугалась, посерела и прячет что-то под себя, я — догадался.

— Дай мне, я зарою...

— Ой, родимый! Как же? В предбаннике надо бы, под полом...

— Скоро ли здесь баню выстроят, подумай!

— Шутишь ты, а я — боюсь! Вдруг зверь съест... а ведь место надобно земле отдать...

Отвернувшись в сторону и, подавая мне сырой, тяжелый узелок, тихо, стыдливо попросила:

— Уж ты — получше как, поглубже, Христа ради... жалеючи сыночка мово, уж сделай поверней...

...Когда я воротился, то увидел, что она идет, шатаюсь и вытянув вперед руку, от моря, юбка ее по пояс

мокра, а лицо зарумянилось немножко и точно светится изнутри. Помог ей дойти до костра, удивленно думая:

«Эка силища звериная!»

Потом пили чай с медом, и она тихоенько спрашивала меня:

— Бросил учесть-то?

— Бросил.

— Пропился, что ли?

— Окончательно пропился, мать!

— Экой ты какой! А ведь я те помню, в Сухуме заметила, когда ты с начальником из-за харчей ругался; так тогда и подумалось мне — видно, мол, пропойца, бесстрашный такой...

И, вкусно облизывая языком мед на вспухших губах, все косилась синими глазами под куст, где спокойно спал новейший орловец.

— Как-то он поживет? — вздохнув, сказала она, оглядывая меня. — Помог ты мне — спасибо... а хорошо ли это для него, и — не знаю уж...

Напилась чаю, поела, перекрестилась, и пока я собирал свое хозяйство, она, сонно покачиваясь, дремала, думала о чем-то, глядя в землю снова выцветшими глазами. Потом стала подниматься.

— Неужто — идешь?

— Иду.

— Ой, мать, гляди!

— А — богородица-то?.. Дай-ко мне его!

— Я его понесу...

Поспорили, она уступила, и — пошли, плечо в плечо друг с другом.

— Кабы мне не трюхнуться, — сказала она, виновато усмехаясь, и положила руку на плечо мое.

Новый житель земли русской, человек неизвестной судьбы, лежа на руках у меня, солидно сопел. Плескалось и шуршало море, все в белых кружевах стружек; шептались кусты, сияло солнце, перейдя за полдень.

Шли — тихоенько, иногда мать останавливалась, глубоко вздыхая, вскидывала голову вверх, оглядывалась по сторонам, на море, на лес и горы, и потом заглядывала в лицо сына — глаза ее, насквозь промытые слеза-

ми страданий, снова были изумительно ясны, снова цвели и горели синим огнем неисчерпаемой любви.

Однажды, остановясь, она сказала:

— Господи, боженька! Хорошо-то как, хорошо! И так бы все — шла, все бы шла, до самого аж до краю света, а он бы, сынок, — рос, да все бы рос на приволье, коло матерней груди, родимушка моя...

...Море шумит, шумит...

1912

ГЕРОЙ

...Уже в газетах было напечатано несколько моих рассказов. Знакомые люди снисходительно похваливали меня, предрекая мне судьбу писателя, но я не верил в эти пророчества, да, кажется, и сами пророки не обладали достаточной верой в предсказания свои.

Быть писателем,— об этом я тогда еще не мечтал. Писатель в моем представлении — чародей, которому открыты все тайны жизни, все сердца. Хорошая книга, точно смычок великого артиста, касается моего сердца, и оно поет, стоет от гнева и скорби, радуется,— если этого хочет писатель.

Нет, о счастье быть писателем я не думал, а то, что мои рассказы напечатаны, казалось мне такой же случайностью, как случайно можно прыгнуть вверх на высоту своего роста.

В ту пору я чувствовал себя очень шатко и ненадежно. Земля подо мною вставала горбом, как бы стряхивая меня куда-то прочь. Я жил в горячем тумане разноречивых мыслей, желаний, ощущений; все тропинки жизни спутались предо мною, и я не мог понять, которая моя. Я бился, как птица, попавшая в комнату, где окна светлые, но путь на волю загражден стеклами и трудно отличить их от воздуха.

В детстве и отрочестве я, должно быть, слишком много испытал горечи обид, слишком много видел жестокости, злой глупости, бессмысленной лжи. Этот преждевременный груз на сердце угнетал меня. Мне пужно

было пайти в жизни, в людях нечто, способное уравновесить тяжесть на сердце, пужно было выпрямить себя.

Надо быть Самсоном и — сильнее, чтобы не заели азиатские мелочи жизни. Они пьют кровь человека, точно комары; пьют и отравляют, прививая лихорадку злости, недоверие к людям, презрение к ним. Надо быть слепым Самсоном, чтобы пройти сквозь тучи ядовитой мерзости, не отравляясь ею, не подчиняясь силе ее...

Я шел босым сердцем по мелкой злобе и гадостям жизни, как по острым гвоздям, по толченому стеклу. Иногда казалось, что я живу второй раз, — когда-то, раньше, жил, все знаю, и ждать мне — нечего, ничего нового не увижу.

А все-таки хотелось жить, видеть чистое, красивое: оно существует, как говорили книги лучших писателей мира, — оно существует, и я должен найти его.

Когда жизнь неприглядна и грязна, как старое, засоренное пожарище, приходится чистить и украшать ее на средства своей души, своей волей, силами своего воображения, — вот к чему я пришел наконец.

Если бы вы знали, как восторженно делал я это и как, порою, смешно мне вспоминать о бесплодности попыток моих украсить жизнь, о лучейспускании света души в пустоту!

Вот одна из комических попыток моих найти человека, похожего на тех, о которых рассказывали хорошие книги.

Однажды в тихом городе Тамбове, — городе, похожем на скучный сон, — сидя у окна, в маленькой комнатке грязной гостиницы, я услышал в соседней компате тихий голос, странные слова:

— Горе — вода, счастье — огонь; воды больше — тонут чаще, огня меньше — горят реже...

Кто-то резко прервал печальную речь:

— Не люблю людей умней меня! Нет, я, брат, умников не уважаю... Что-о?.. А черт с ним! Я это — я!

— Подожди же...

— Я не дешевле ее...

Мне показалось, что так говорить может только очень интересный и значительный человек.

Через некоторое время он вышел в коридор, и, заранее открыв дверь моей комнаты, я увидал его. Это

был сухонький и стройный мужчина, брюнет, с толстыми губами и пристальным взглядом темных глаз. Одетый в чесучовую поддевку и белую фуражку с дворянским околышком, он напоминал выцветшую акварель.

Я вышел вслед за ним: может быть, удастся подсмотреть, как и чем он живет?

Ясно, что он был хорошо известен в городе: почти каждый встречный кланялся ему. Сам он приподнимал фуражку перед мужчинами не торопясь и невысоко, иногда же только касался рукою козырька, но когда видел женщин в окнах домов или в тряских пролетках, кланялся им быстро и размашисто, как, вероятно, кланялся в старину корнет Отлетаев.

Шел он, как человек, которому некуда торопиться, держал в левой руке ременный хлыст с черной рукояткой и тихонько бил им по лаковому голенищу сапога. Я шагал за ним по другой стороне улицы и сочинял ему интересную жизнь, создавал из него праведника, духом которого жив этот пыльный, деревянный город, тихий лагерь безличных людей...

Мне думалось также, что этот выцветший человек многого желал и добивался и ничто не удалось ему, но он все-таки мужественно упорствует, достигая желаемого, неустанно идет к своей мечте, всем чужой, может быть, грубо осмеянный, — идет один сквозь терния завистливой злобы, глупых подозрений, сквозь пыль дрянненьких насмешек.

А может быть, он любит слепой и мучительной любовью женщину — ту, о которой рассказывают романы? На земле много подобных ей, но сама она неуловима, — это ее всю жизнь и везде искал Дон-Жуан.

Много красивого можно выдумать о человеке. Генрих Гейне превосходно доказал это...

...Мы пришли в глухую улицу, где маленькие домики были небрежно вставлены в зелень садов, как разноцветные заплатки, уже выгоревшие на солнце. Человек остановился под открытым окном рыжего дома, громко постучал ручкой хлыста о подоконник, и, когда сквозь темную зелень герани высунулось густо напудренное лицо женщины с толстой папироской в зубах, он строго спросил:

— Ну что, продала?

Торопливо выдыхая дым, женщина ответила тихо и певнятно.

— Э, д-дура,— сердито крикнул он.— Я ж тебе сказал, отдавай за семнадцать! Что ж ты, дрянь, борова жалесшь, а меня нет? — спросил он так же громко, по ласковее.

И, ударив хлыстом по сапогу, приказал:

— Чтобы к шести часам деньги были!

Он пошел прочь, дальше по немой улице, насвистывая что-то знакомое мне, а женщина, выплюнув на улицу дымный окурок, исчезла.

Было около трех часов дня, но тихо, как глубокой ночью. В зное, полном гнилых запахов города, дремали деревянные домики на горячей, сухой земле. Под жгучим солнцем трещало дерево крыш. Деревья стояли неподвижно, и листва их казалась вырезанной из зеленого железа.

Человек шел, насвистывая любимый романс шарманок:

В небесах торжественно и чудно...

Я сопровождал его, немного охлажденный в мечтах моих, но все еще не теряя какой-то надежды.

Вышли на площадь, к церкви, окруженной небольшим тенистым садом в каменной ограде. Человек выпул золотые часы, взглянул на них и решительно направился в маленький ресторан, почти против церковной паперти. Войдя и не ответив на поклоны двух лакеев, он сел к столу под окном, приказав властно:

— Мишка, шнапс!

Мишке было лет семьдесят. Маленький, лысый, длиннорукий, он напоминал обезьяну,— двигался согнувшись, странно развертывая колени и держа руки так, точно он только недавно отвык ходить на четвереньках.

Поглядывая в окно, человек все насвистывал, и невольно вспоминались слова романса:

Что же мне так больно и так трудно?..

«Мишка» открыл бутылку лимонада, вылил шипучую влагу в большой бокал, добавил туда две рюмки коньяку и, раскачиваясь, подал на стол. Человек мельком взглянул на лакея и спросил:

— Жив еще?

— Так точно,— с радостью ответил старик, растянув темные губы до ушей, показывая два желтых клыка.

Человек стал пить лимонад маленькими глотками, не отрывая губ от бокала, скосив глаза в окно. Через площадь к церкви важно плыла большая полная дама в голубом платье, под белым зонтиком в кружевах. Он быстро допил, взглянул в зеркало, поправил усы, фуражку, сделал строгое лицо и пошел к двери, сказав:

— Я вернусь...

Ага! Вот наконец то, что мне нужно!

Когда человек с хлыстом скрылся в ограде церкви, куда прошла голубая дама, я тоже отправился вслед за ним и через несколько минут встретил его за церковью, в тени старых лип. Он шел рядом с дамой и, заглядывая под зонтик, низким голосом убежденно говорил:

— У греков даже боги имели любовниц...

— Это вы к чему? — спросила дама тоже почти басом.

— Никто не протестовал...

Обойдя кругом церкви, я воротился в ресторан, чувствуя себя обокраденным, униженным.

Спросил пива и стал смотреть в окно, а из-за колокольни на меня смотрело мутно-красное солнце. Где-то звучал рояль. Играли гаммы. У двери ресторана стоял на подогнутых ногах старенький Мишка и дремал, уронив салфетку на пол. Тихо. Даже мухи не летают.

Незаметно для меня в ресторане снова явился выцветший человек, сел на свое место и негромко, угрюмо сказал:

— Мишка, шнапс! Не видишь?..

Он глубоко вздохнул, отирая платком лицо, такое же мутно-красное, как тамбовское солнце.

А когда на площади снова явилась голубая дама под кружевным зонтиком, человек привстал со стула, опираясь на стол сжатыми кулаками, и тихонько, сквозь зубы, сказал в окно:

— Др-янь, свинья!..

Вот одно из тех маленьких приключений, которые имели для меня большой и грустный смысл, грубо срывая с души моей светлые покровы юношеского романтизма.

Много испытал я подобных разочарований. Знаю, что в этих мелких брызгах грязи немало смешного, но я по сей день люблю одеть человека более празднично, чем он одет.

Допустимо, что в этом добром занятии я несправедлив и жесток к людям. Я понимаю, что если осла непосильно нагрузить даже драгоценными камнями,— все равно ослу будет тяжело.

1915

«СТРАСТИ-МОРДАСТИ»

Душной летней ночью, в глухом переулке окраины города, я увидел странную картину: женщина, забравшись в середину обширной лужи, топала ногами, разбрызгивая грязь, как это делают ребятишки, — топала и гнусаво пела скверненькую песню, в которой имя Фомка рифмовало со словом ёмкая.

Днем над городом могуче прошла гроза, обильный дождь размочил грязную глинистую землю переулка; лужа была глубокая, ноги женщины уходили в нее почти по колено. Судя по голосу, певица была пьяная. Если б она, устав плясать, упала, то легко могла бы захлебнуться жидкой грязью.

Я подтянул повыше голенища сапог, влез в лужу, взял плясунью за руки и потащил на сухое место. В первую минуту она, видимо, испугалась, — пошла за мною молча и покорно, но потом сильным движением всего тела вырвала правую руку, ударила меня в грудь и заорала:

— Караул!

И снова решительно полезла в лужу, увлекая меня за собой.

— Дьявол, — бормотала она. — Не пойду! Проживу без тебя... поживи без меня... Краул!

Из тьмы вылез ночной сторож, остановился в пяти шагах от нас и спросил сердито:

— Кто скандалит?

Я сказал ему, что — боюсь, не утонула бы женщина в грязи, и вот хочу вытащить ее; сторож присмотрелся к пьяной, громко отхаркнул и приказал:

— Машка — вылазь!

— Не хочу.

— А я те говорю — вылазь!

— А я не вылезу.

— Вздую, подлая, — не сердясь, пообещал сторож и добродушно, словоохотливо обратился ко мне: — Это — здешняя, паклюжница, Фролиха, Машка. Папироски нету?

Закурили. Жепщина храбро шагала по луже, вскрикивая:

— Начальники! Я сама себе начальница... — Захо-чу — купаться буду...

— Я те покупаюсь, — предупредил ее сторож, боро-датый крепкий старик. — Эдак-то вот сна каждую ночь, почитай, скандалит. А дома у ней — сып безногой...

— Далеко живет?..

— Убить ее надо, — сказал сторож, не ответив мне.

— Отвести бы ее домой, — предложил я.

Сторож фыркнул в бороду, осветил мое лицо огнем папиросы и пошел прочь, тяжело топая сапогами по лип-кой земле.

— Веди! Только допрежде в рожу загляни ей.

А женщина села в грязь и, разгребая ее руками, за-визжала гнусаво и дико:

— *Как по-о мор-рю...*

Недалеко от нее в грязной жирной воде отражалась какая-то большая звезда из черной пустоты над нами. Когда лужа покрылась рябью — отражение исчезло. Я снова влез в лужу, взял певицу под мышки, припод-нял и, толкая коленями, вывел ее к забору; она упира-лась, размахивала руками и вызывала меня:

— Ну — бей, бей! Ничего, — бей... Ах ты, зверь... ах ты, ирод... ну — бей!

Приставив ее к забору, я спросил — где она живет. Она приподняла пьяную голову, глядя на меня темпы-ми пятнами глаз, и я увидел, что переносье у нее про-валилось, остаток носа торчит, пуговкой, вверх, верхняя губа, подтянутая шрамом, обнажает мелкие зубы, ее маленькое пухлое лицо улыбается отталкивающей улыбкой.

— Ладно, идем, — сказала она.

Пошли, толкая забор. Мокрый подол юбки хлестал меня по ногам.

— Идем, милый,— ворчала она, как будто трезвья.— Я тебя приму... Я те дам утешеньице...

Она привела меня на двор большого, двухэтажного дома; осторожно, как слепая, прошла между телег, бочек, ящиков, рассыпанных поленищ дров, остановилась перед какой-то дырой в фундаменте и предложила мне:

— Лезь.

Придерживаясь липкой стезы, обняв женщину за талию, едва удерживая расползавшееся тело ее, я спустился по скользким ступеням, пащупал войлок и скобу двери, отворил ее и встал на пороге черной ямы, не решаясь ступить дальше.

— Мамка,— ты? — спросил во тьме тихий голос.

— Я-а...

Запах теплой гнили и чего-то смолистого тяжело ударил в голову. Вспыхнула спичка, маленький огонек на секунду осветил бледное детское лицо и погас.

— А кто же придет к тебе? Я-а,— говорила женщина, наваливаясь на меня.

Снова вспыхнула спичка, зазвенело стекло, и тонкая, смешная рука зажгла маленькую жестяную лампу.

— Утешеньишко мое,— сказала женщина и, покачавшись, опрокинулась в угол,— там, едва возвышаясь над кирпичом пола, была приготовлена широкая постель.

Следя за огнем лампы, ребенок прикручивал фитиль, когда он, разгораясь, начинал коптить. Личико у него было серьезное, остроносое, с пухлыми, точно у девочки, губами,— личико, написанное тонкой кистью и поражающе неуместное в этой темной, сырой яме. Справившись с огнем, он взглянул на меня какими-то мохнатыми глазами и спросил:

— Пьяная?

Мать его, лежа поперек постели, всхлипывала и храпела.

— Ее надо раздеть,— сказал я.

— Так раздевай,— отозвался мальчик, опустив глаза.

А когда я начал стаскивать с женщины мокрые юбки — он спросил тихо и деловито:

— Огонь-то — погасить?

— Зачем же!

Он промолчал. Возясь с его матерью, как с мешком муки, я наблюдал за ним: он сидел на полу, под окном, в ящике из толстых досок с черной — печатными буквами — надписью:

О с т о р о ж н о
Т-во Н. Р. и К^о

Подоконник квадратного окна был на уровне плеча мальчика. По стене в несколько линий тянулись узенькие полочки, на них лежали стопки папиросных и спичечных коробок. Рядом с ящиком, в котором сидел мальчуган, помещался еще ящик, накрытый желтой соломенной бумагой и, видимо, служивший столом. Закинув смешные и жалкие руки за шею, мальчик смотрел вверх в темные стекла окна.

Раздев женщину, я бросил ее мокрое платье на печь, вымыл руки в углу, из глиняного рукомойника, и, вытирая их платком, сказал ребенку:

— Ну, прощай!

Он поглядел на меня и спросил пемножко шепеляво:

— Теперь — гасить лампу?

— Как хочешь.

— А ты — уходишь, не ляжешь?

Он протянул ручонку, указывая на мать:

— С ней.

— Зачем? — спросил я глупо и удивленно.

— Сам знаешь, — сказал он страшно просто и, потянувшись, прибавил:

— Все ложатся.

Сконфуженный, я оглянулся: вправо от меня — чело уродливой печки, на шестке — грязная посуда, в углу — за ящиком — куски смоленого каната, куча нащипанной пакли, поленья дров, щепки и коромысло.

У моих ног вытянулось и храпит желтое тело.

— Можно посидеть с тобой? — спросил я мальчика.

Он, глядя на меня исподлобья, ответил:

— Она ведь до утра уж не проснется.

— Да мне ее не надо.

Присев на корточки к его ящику, я рассказал, как встретил мать, стараясь говорить шутливо:

— Села в грязь, гребет руками, как веслами, и поет...

Он кивнул головою, улыбаясь бледненькой улыбкой, почесывая узенькую грудь.

— Пьяная потому что. Она и тверезая любит баловаться. Как малепькая все равно...

Теперь я рассмотрел его глаза,— они действительно мохнаты, респицы их удивительно длинные, да и на веках густо росли волосики, красиво изогнутые. Сипеватые теги лежали под глазами, усиливая бледность бескровной кожи, высокий лоб, с морщинкой над переносьем, покрывала растрепанная шапка курчавых рыжеватых волос. Неописуемо выражение его глаз — внимательных и спокойных,— я с трудом выносил этот страшный, пчеловечий взгляд.

— У тебя — что с ногами-то?

Он завожился, высвободил из тряпья сухую ногу, похожую на кочережку, приподнял ее рукою и положил на край ящика.

— Вот какие ноги. Обе такие, сроду. Не ходят, пе живут, а — так себе...

— А что это в коробочках?

— Зверильница,— ответил он, взял ногу рукою, точно палку, сунул ее в тряпки на дно ящика и ясно, дружески улыбаясь, предложил:

— Хошь — покажу? Ну, так садись хорошенько. Ты эдакого еще и не видал никогда.

Ловко действуя тонкими, непомерно длинными руками, он приподнялся на полкорпуса и стал снимать коробки с полок, подавая мне одну за другой.

— Гляди,— не открывай, а то — убегут! Прислони к уху, послушай. Что?

— Шевелится кто-то...

— Ага! Это — паучишка там сидит, подлец! Его зовут — Барабапчик. Хитрый!..

Чудесные глаза ласково оживились, на синеньком личике играла улыбка. Быстро действуя ловкими руками, он снимал коробки с полок, прикладывал их к своему уху, потом — к моему и оживленно рассказывал:

— А тут — таракашка Анисим, хвастун, вроде солдата. Это — муха, Чиновница, сволочь, каких больше нет. Целый день жужжит, всех ругает, мамку даже за волосы таскала. Не муха, а — чиновница, которая на улицу окнами живет, муха только похожая. А это — черный таракан, большущий,— Хозяин; он — ничего, только пьяница и бесстыдник. Напьется и ползает по двору голый, мохнатый, как черная собака. Здесь — жук, дядя Никодим, я его на дворе сцапал, он — стран-

ник, из жуликов которые; будто на церковь собирает; мамка зовет его — Дешевый; он тоже любовник ей. У нее любовников — сколько хочешь, как мух, даром что безносая.

— Она тебя не бьет?

— Она-то? Вот еще! Она без меня жить не может. Она ведь добрая, только пьяница, ну, — на нашей улице — все пьяницы. Она — красивая, веселая тоже... Очень пьяница, курва! Я ей говорю: «Перестань, дурочка, водку эту глохтить, богатая будешь», — а она хохочет. Баба, ну и — глупая! А она — хорошая, вот проспится — увидишь.

Он обаятельно улыбался такой чарующей улыбкой, что хотелось зареветь, закричать на весь город от невыносимой, жгучей жалости к нему. Его красивая головка покачивалась на тонкой шее, точно страшный какой-то цветок, а глаза все более разгорались оживлением, притягивая меня с необоримою силой.

Слушая его детскую, но страшную болтовню, я на минуту забывал, где сижу, и вдруг снова видел тюремное окно, маленькое, забрызганное снаружи грязью, черное жерло печи, кучу пакли в углу, а у двери, на тряпье, желтое, как масло, тело женщины-матери.

— Хорошая зверильница? — спросил мальчик с гордостью.

— Очень.

— Бабочков нету вот у меня, — бабочков и мотыльков!

— Тебя как зовут?

— Ленька.

— Тезка мне.

— Ну? А ты — какой человек?

— Так себе. Никакой.

— Ну, уж врешь! Всякий человек — какой-нибудь, я ведь знаю. Ты — добрый.

— Может быть.

— Уж я вижу! Ты — робкий, тоже.

— Почему — робкий?

— Уж я знаю!

Он улыбнулся хитрой улыбкой и даже подмигнул мне.

— А почему все-таки робкий?

— Вот — сидишь со мной, значит — боишься ночью-то идти!

— Да ведь уж — светает.

— Ну, и уйдешь.

— Я опять приду к тебе.

Он не поверил, прикрыл милые мохнатые глаза ресницами и, помолчав, спросил:

— Зачем?

— Посидеть с тобой. Ты очень интересный. Можно прийти?

— Валяй! К нам все ходят...

Вздохнув, он сказал:

— Обманешь.

— Ей-богу — приду!

— Тогда — приходи. Ты уж — ко мне, а не к мамке, ну ее к ляду! Ты — давай дружиться со мной, — ладно?

— Ладно.

— Ну вот. Ничего, что ты большой; тебе — сколько годов?

— Двадцать первый.

— А мне — двенадцатый. У меня — нету товарищей, одна Катька водовозова, так ее водовозиха бьет за то, что она ко мне ходит... Ты — вор?

— Нет. Почему — вор?

— У тебя очень рожа страшная, худущая, с таким носом, как у воров. У нас два вора бывают, один — Сашка, дурак и злой, а другой — Ванечка, так этот добрый, как собака. А у тебя коробочки есть?

— Принесу.

— Принеси! Я мамке не скажу, что ты придешь...

— Почему?

— Так. Она всегда радуется, когда мужчины в другой раз приходят. Вот, — любит мужчинов, шкуреха, — просто беда! Она — смешная девчонка, мамка у меня. Пятнадцати лет ухитрилась — родила меня и сама не знает — как! Ты — когда придешь?

— Завтра вечером.

— Вечером она уж напьется. А ты чего делаешь, если не ворует?

— Баварским квасом торгую.

— Ой ли? Принеси бутылку, а?

— Конечно — принесу! Ну, я пошел.

— Валяй. Придешь?

— Обязательно.

Он протянул мне обе длинные руки, я тоже обеими руками сжал и потряс эти тонкие холодные косточки и,

уже не оглядываясь на него, вылез на двор, точно пьяный.

Светало; над сырой кучей полуразвалившихся построек трепетала, угасая, Венера. Из грязной ямы под степною дома смотрели на меня квадратными глазами стекла подвального окна, мутные и грязные, как глаза пьяницы. В телеге у ворот спал, широко раскинув огромные босые ноги, краснорожий мужик, торчала в небо густая жесткая борода — в ней светились белые зубы, — казалось, что мужик, закрыв глаза, ядовито, убийственно смеется. Подошла ко мне старая собака, с плешью на спине, видимо, ошпаренная кипятком, понюхала ногу мою и тихонько, голодно провыла, наполнив сердце мое пснужной жалостью к ней.

На улицах, в лужах, устоявшихся за ночь, отражалось утреннее небо — голубое и розовое, — эти отражения придавали грязным лужам обидную, лишнюю, развращающую душу красоту.

На другой день я попросил ребятишек моей улицы наловить жуков, бабочек, купил в аптеке красивых коробочек и отправился к Леньке, захватив с собою две бутылки квасу, пряников, конфект и сдобных булок.

Ленька принял мои дары с великим изумлением, широко открыв милые глаза, — при дневном свете они были еще чудесней.

— У-ю-юй, — заговорил он низким, не ребячьим голосом, — сколько ты всего притащил! Ты, что ли, богатый? Как же это, — богатый, а плохо одетый и, говоришь, — не вор? Вот так коробочки! Ую-юй, — даже жалко тронуть, руки у меня немытые. Там — кто? Юх, — жучишка-то! Как медный, даже зеленый, ох ты, черт... А — выбегут да улетят? Ну уж...

И вдруг весело крикнул:

— Мамк! Слезь, вымой руки мне, — ты погляди, курятина, чего он принес! Это — он самый, вчерашний, ночной-то, который приволок тебя, как будочник, — это он все! Его тоже Ленька зовут...

— Спасибо надо сказать ему, — услышал я сзади себя негромкий странный голос.

Мальчик часто закивал головой:

— Спасибо, спасибо!

В подвале колебалось густое облако какой-то волосатой пыли, сквозь него я с трудом разглядел на печи

встрепанную голову, обезображенное лицо жепщицы, блеск ее зубов,— невольную, нестираемую улыбку.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте,— повторила женщина; ее гнуса-вый голос звучал негромко, но — бодро, почти весело. Смотрела она на меня прищурясь и как будто насмешливо.

Ленька, забыв про меня, жевал пряник, мычал, осторожно открывая коробки,— ресницы бросали тепь на щеки его, увеличивая синеву под глазами. В грязные стекла окна смотрело солнце, тусклое, как лицо старика, на рыжеватые волосы мальчика падал мягкий свет, рубашка на груди Леньки расстегнута, и я видел, как за тонкими косточками бьется сердце, приподнимая кожу и едва намеченный сосок.

Его мать слезла с печи, намочила под рукомойником полотенце и, подойдя к Леньке, взяла его левую руку.

— Убег, стой,— убег! — закричал он и весь, всем телом, завертелся в ящике, разбрасывая пахучее тряпье под собой, обнажая синие, неподвижные ноги. Женщина засмеялась, шевыряясь в тряпках, и тоже кричала:

— Лови его!

А поймав жука, положила его на ладонь своей руки, осмотрела бойкими глазами василькового цвета и сказала мне тоном старой знакомой:

— Эдаких — много!

— Не задави,— строго предупредил ее сын.— Она, раз, пьяная села на зверильницу-то мою, так столько подавила!

— А ты забудь про то, утешеньице мое.

— Уж я хоронил-хоронил...

— Я же тебе сама и наловила их после.

— Наловила! Те были — ученые, которых задавила ты, дурочка из переулочка! Я их, которые издохнут, в подпечке хороню, выползу и хороню, там у меня кладбище... Знаешь, был у меня паук, Минка, совсем как мамкин любовник один, прежний, который в тюрьме, толстенный, веселый...

— Ах ты, утешеньишко мое милое,— сказала женщина, поглаживая кудри сына темной маленькой рукою с тупыми пальцами. Потом, толкнув меня локтем, спросила, улыбаясь глазами:

— Хорош сынок? Глазки-то, а?

— Ты возьми один глаз, а ноги — отдай, — предложил Ленька, ухмыляясь и разглядывая жука. — Какой... железный! Толстый. Мам, он — на монаха похожий, на того, которому ты лестницу вязала, — помнишь?

— Ну как же!

И, посмеиваясь, она стала рассказывать мне:

— Это, видишь, ввалился однова к нам монашище, большущий такой, да и спрашивает: «Можешь ты, паклюжница, связать мне лестницу из веревок?» А я — сроду не слыхала про такие лестницы. «Нет, говорю, не смогу я!» — «Так я, говорит, тебя научу». Распахнул рясу-то, а у него все брюхо веревкой нетолстой окручено, — длинная веревка да крепкая! Научил. Вяжу я, вяжу, а сама думаю: «На что это ему! Не церкву ли ограбить собрался?»

Она засмеялась, обняв сына за плечи и все поглаживая его.

— Ой, затейники! Пришел он в срок, я и говорю: «Скажи, ежели это тебе для воровства, так я не согласна!» А он смеется хитровато таково: «Нет, говорит, это — через стену перелезть; у нас стена большая, высокая, а мы люди грешные, а грех-от за стеной живет, — попяла ли?» Ну, я поняла: это ему, чтобы по ночам к бабам лазить. Хохотали мы с ним, хохотали...

— Уж ты у меня хохотать любишь, — сказал мальчик тоном старшего. — А вот самовар бы поставила...

— Так сахару же нету у нас.

— Купи поди...

— Да и денег нету.

— Уй, ты, пропивашка! У него возьми вот...

Он обратился ко мне:

— У тебя есть деньги?

Я дал женщине денег, она живо вскочила на ноги, сняла с печи маленький самовар, измятый, чумазый, и скрылась за дверью, напевая в пос.

— Мамка! — крикнул сын вслед ей. — Вымой окошко, ничего не видать мне! — Ловкая бабенка, я тебе скажу! — продолжал он, аккуратно расставляя по полочкам коробки с насекомыми, — полочки, из картона, были привешены на бечевках ко гвоздям, вбитым между кирпичами в пазы сырой стены. — Работница... как начнет паклю щипать, — хоть задохнись, такую пылищу пустит! Я кричу: «Мамка, да вынеси ты меня на двор, задохнусь я тут!» А она: «Потерпи, говорит, а то

мне без тебя скучно будет». Любит она меня, да и всё! Щиплет и поет, песен она знает тыщу!

Оживленный, красиво сверкая дивными глазами, приподняв густые брови, он запел хриплым альтовым голосом:

Вот Орина на перине лежит...

Послушав немножко, я сказал:

— Очень похабная песня.

— Они все такие,— уверенно объяснил Ленька и вдруг встрепенулся.— Чу, музыка пришла! Ну-ко, скорее, подними-ко меня..

Я поднял его легкие косточки, заключенные в мешок серой тонкой кожи, он жадно сунул голову в открытое окно и замер, а его сухие ноги бессильно покачивались, шаркая по стене. На дворе раздраженно визжала шарманка, выбрасывая лохмотья какой-то мелодии, радостно кричал басовитый ребенок, подвывала собака,— Ленька слушал эту музыку и тихонько сквозь зубы пыл, прилаживаясь к ней.

Пыль в подвале осела, стало светлее. Над постелью его матери висели рублевые часы, по серой стене, прихрамывая, ползал маятник величиною с медный пятак. Посуда на шестке стояла невымытой, на всем лежал толстый слой пыли, особенно много было ее в углах на паутине, висевшей грязными тряпками. Ленькино жилище папоминало мусорную яму, и превосходные уродства нищеты, безжалостно оскорбляя, лезли в глаза с каждого аршина этой ямы.

Мрачно загудел самовар, шарманка, точно испугавшись его, вдруг замолчала, чей-то хриплый голос прорычал:

— Р-рвань!

— Сними,— сказал Ленька, вздыхая,— прогнали...

Я посадил его в ящик, а он, морщась и потирая грудь руками, осторожно покашлял:

— Болит грудишка у меня, долго дышать настоящим воздухом нехорошо мне. Слушай,— ты чертей видал?

— Нет.

— И я тоже. Я, почью, все в подпечек гляжу — не покажутся ли? Не показываются. Ведь черти на кладбищах водятся, верно?

— А на что тебе их?

— Интересно. Вдруг один черт — добрый? Водовозова Катька видела чертика в погребке, — испугалась. А я страшного не боюсь.

Закутав ноги тряпьем, он продолжал бойко:

— Я люблю даже — страшные сны люблю, вот. Раз видел дерево, так оно вверх корнями росло, — листья-то по земле, а корни в небо вытянулись. Так я даже вспотел весь и проснулся со страху. А то — мамку видел: лежит голая, а собака живот выедает ей, выкусит кусочек и выплюнет, выкусит и выплюнет. А то — дом наш вдруг встряхнулся да и поехал по улице, едет и дверями хлопает и окнами, а за ним чиновница кошка бежит...

Он зябко повел остренькими плечиками, взял конфетку, развернул цветную бумажку и, аккуратно расправив ее, положил на подоконник.

— Я из этих бумажек паделаю разного, чего-нибудь хорошего. А то — Катьке подарю. Она тоже любит хорошее: стекляшки, черепочки, бумажки и все. А — слушай-ка: если таракана все кормить да кормить, так он вырастет с лошадь?

Было ясно, что он верит в это; я ответил:

— Если хорошо кормить — вырастет!

— Ну да! — радостно вскричал он. — А мамка, дурочка, смеется!

И он прибавил зазорное слово, оскорбительное для женщины.

— Глухая она! Кошку так уж совсем скоро можно раскормить до лошади — верно?

— А что ж? Можно!

— Эх, корму нет у меня! Вот бы ловко!

Он даже затрясся весь от напряжения, крепко прижав рукой грудь.

— Мухи бы летали по собаке величиной! А на тараканах можно бы кирпич возить, — если он — с лошадь, так он сильный! Верно?

— Только вот усы у них...

— Усы не помешают, они — как вожжи будут, усы! Или — паук ползет — огромный, как — кто? Паук — не боле котенка, а то — страшно! Нет у меня ног, а то бы! Я бы работал бы и всю свою зверильницу раскормил. Торговал бы, после купил бы мамке дом в чистом поле. Ты в чистом поле бывал?

— Бывал, как же!

— Расскажи, какое оно, а?

Я начал рассказывать ему о полях, лугах, он слушал внимательно, не перебивая, ресницы его опускались на глаза, а ротик открывался медленно, как будто мальчик засыпал. Видя это, я стал говорить тише, но явилась мать с кипящим самоваром в руках, под мышкой у нее торчал бумажный мешок, из-за пазухи — бутылка водки.

— Вот она — я!

— Ло-овко,— вздохнул мальчик, широко раскрыв глаза.— Ничего нет, только трава да цветы. Мамка, ты бы вот пошла тележку да свезла меня в чистое поле! А то — издохну и не увижу никогда. Шкура ты, мамка, право! — обиженно и грустно закончил он.

Мать ласково посоветовала ему:

— А ты — не ругайся, не надо! Ты еще маленький...

— «Не ругайся»! Тебе — хорошо, ходишь куда хошь, как собака все равно. Ты — счастливая... Слушай-ка,— обратился он ко мне,— это бог сделал поле?

— Наверное.

— А зачем?

— Чтобы гулять людям.

— Чистое поле! — сказал мальчик, задумчиво улыбаясь, вздыхая.— Я бы взял туда зверильницу и всех выпустил их,— гуляй, домашние! А — слушай-ка! — бога делают где — в богадельне?

Его мать взвизгнула и буквально покатилась со смеха,— опрокинулась на постель, дрыгая ногами, вскрикивая:

— О,— чтоб те... о, господи! Утешеньишко ты мое! Да, чай, бога-то — богомазы... ой, смехота моя, чудашка...

Ленька с улыбкой поглядел на нее и ласково, по грязно выругался.

— Корячится, точно маленькая! Любит же хохотать.

И снова повторил ругательство.

— Пускай смеется,— сказал я,— это тебе не обидно!

— Нет, не обидно,— согласился Ленька.— Я на нее сержусь, только когда она окошко не моет; прошу, прошу: «Вымой же окошко, я света божьего не вижу», а она все забывает...

Женщина, посмеиваясь, мыла чайную посуду, подмигивала мне голубым светлым глазом и говорила:

— Хорошо утешеньице у меня? Кабы не он — утопилась бы давно, ей-богу! Удавилась бы...

Она говорила это улыбаясь.

А Ленька вдруг спросил меня:

— Ты — дурак?

— Не знаю. А что?

— Мамка говорит — дурак!

— Так ведь я — почему? — воскликнула женщина, нимало не смущаясь. — Привел с улицы пьяную бабу, уложил ее спать, а — сам ушел, пате-ко! Я ведь не во зло сказала. А ты уж сейчас ябедничать, у — какой...

Она говорила тоже, как ребенок, строй ее речи наминал девочку-подростка. Да и глаза у нее были детски чистые, — тем безобразнее казалось безносое лицо, с приподнятой губой и обнаженными зубами. Какая-то ходячая, кошмарная насмешка, и — веселая насмешка.

— Ну, давайте чай пить, — предложила она торжественно.

Самовар стоял на ящике рядом с Ленькой, озорнико-ватая струйка пара, выбиваясь из-под измятой крышки, касалась его плеча. Он подставлял под нее ручонку и, когда ладошь увлажнялась паром, — мечтательно щурясь, вытирал ее о волосы.

— Вырасту большой, — говорил он, — сделает мамка тележку мне, буду по улицам ползать, милостинку просить. Попрошу и выползу в чистое поле.

— Охо-хо, — вздохнула мать и тотчас тихонько засмеялась. — Раем видит поле-то, милый! А там — лагерь, да охальники солдаты, да пьяные мужики.

— Врешь, — остановил ее Ленька, нахмурясь. — Спроси-ка его, какое оно, он видел.

— А я — не видала?

— Пьяная-то!

Они начали спорить, совсем как дети, так же горячо и нелогично, а на двор уже пришел теплый вечер, в покрасневшем небе неподвижно стояло густое сизое облако. В подвале становилось темно.

Мальчик выпил кружку чая, вспотел, взглянул на меня, на мать и сказал:

— Наелся, напился, — даже спать захотелось, ей-богу...

— И усни, — посоветовала мать.

— А он — уйдет! Ты уйдешь?

— Не бойсь, я его не пущу,— сказала женщина, толкнув меня коленом.

— Не уходи,— попросил Ленька, прикрыл глаза и, сладко потянувшись, свалился в ящик. Потом вдруг приподнял голову и с упреком сказал матери:

— Ты бы вот выходила за него замуж, венчалась бы, как другие бабы,— а то валандаешься зря со всяким... только быют... А он — добрый...

— Спи знай,— тихо сказала женщина, наклонясь над блюдцем чая.

— Он — богатый...

С минуту женщина сидела молча, схлебывая чай с блюдечка целовкими губами, потом сказала мне, как старому знакомому:

— Так вот мы и живем тихонько, я да он, а боле никого. Ругают меня на дворе — распутная! А — что ж? Мне стыдиться некого. К этому же — видите, как я снаружи испорчена? Всякому сразу видно, для чего я го-жусь. Да. Уснул сынок, утешеньишко мое. Хорошее дитя у меня?

— Да. Очень!

— Не налюбуюсь. Умница ведь?

— Мудрец.

— То-то! Отец у него — барин был, старичок; этот — как их зовут? Конторы у них,— ах ты! Бумаги пишут?

— Нотариус?

— Вот, он самый! Милый был старичок... Ласковый. Любил меня, я горничной у него жила.

Она прикрыла тряпьем голые ножки сына, поправила под его головой темное изголовье и снова заговорила, легко так:

— Вдруг — помер. Ночью было, я только ушла от него, а он ка-ак грохнется на пол,— только и житья! Вы — квасом торгуете?

— Квасом.

— От себя?

— От хозяина.

Она подвинулась поближе ко мне, говоря:

— Вы мною, молодой человек, не брезгуйте, теперь уж я не заразная, спросите кого хотите в улице, все знают!

— Я не брезгую.

Положив на колено мне маленькую руку со стертой кожей на пальцах и обломанными ногтями, она продолжала ласково:

— Очень я благодарна вам за Лешку, праздник ему сегодня. Хорошо это сделали вы...

— Надобно мне идти,— сказал я.

— Куда? — удивленно спросила она.

— Дело есть.

— Оставайтесь!

— Не могу...

Она посмотрела на сына, потом в окно, на небо и сказала негромко:

— А то — оставайтесь. Я рожу-то платком прикрою... Хочется мне за сына поблагодарить вас... Я — закроюсь, а?

Она говорила неотразимо по-человечьи,— так ласково, с таким хорошим чувством. И глаза ее — детские глаза на безобразном лице — улыбались улыбкой не нищей, а человека богатого, которому есть чем поблагодарить.

— Мамка,— вдруг крикнул мальчик, вздрогнув и приподнявшись,— ползут! Мамка же... иди-и...

— Приснилось,— сказала мне она, наклонясь над сыном.

Я вышел на двор и в раздумье остановился,— из открытого окна подвала гнусаво и весело лилась на двор песня, мать баюкала сына, четко выговаривая странные слова:

Придут Страсти-Мордасти,
Приведут с собой Напасти;
Приведут они Напасти,
Изорвут сердце на части!
Ой беда, ой беда!
Куда спрячемся, куда?

Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

Макар Чудра	5
Старуха Изергиль	17
Челкаш	37
Песня о Соколе	69
Коновалов	74
Супруги Орловы	122
Мальва	176
Скуки ради	223
Двадцать шесть и одна	240
Песня о Буревестнике	254
Сказки об Италии	256
По Руси:	
Рождение человека	269
Герой	280
«Страсти-мордасти»	286

Горький М.

Рассказы и повести. 1892—1917. М., «Худсж. лит.», 1976.

302 с.

В книгу входят ранние рассказы М. Горького («Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш» и др.), повесть «Супруги Орловы», «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике», некоторые из «Сказок об Италии» и три рассказа из цикла «По Руси»: «Рождение человека», «Герой» и «Страсти-мордасти». В них отобразилась жизнь социальных низов дореволюционной России и революционные стремления Горького.

Г $\frac{70302-287}{028(01)-76}$ БЗ-16-22-76

Р2

Алексей Максимович
Горький
РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

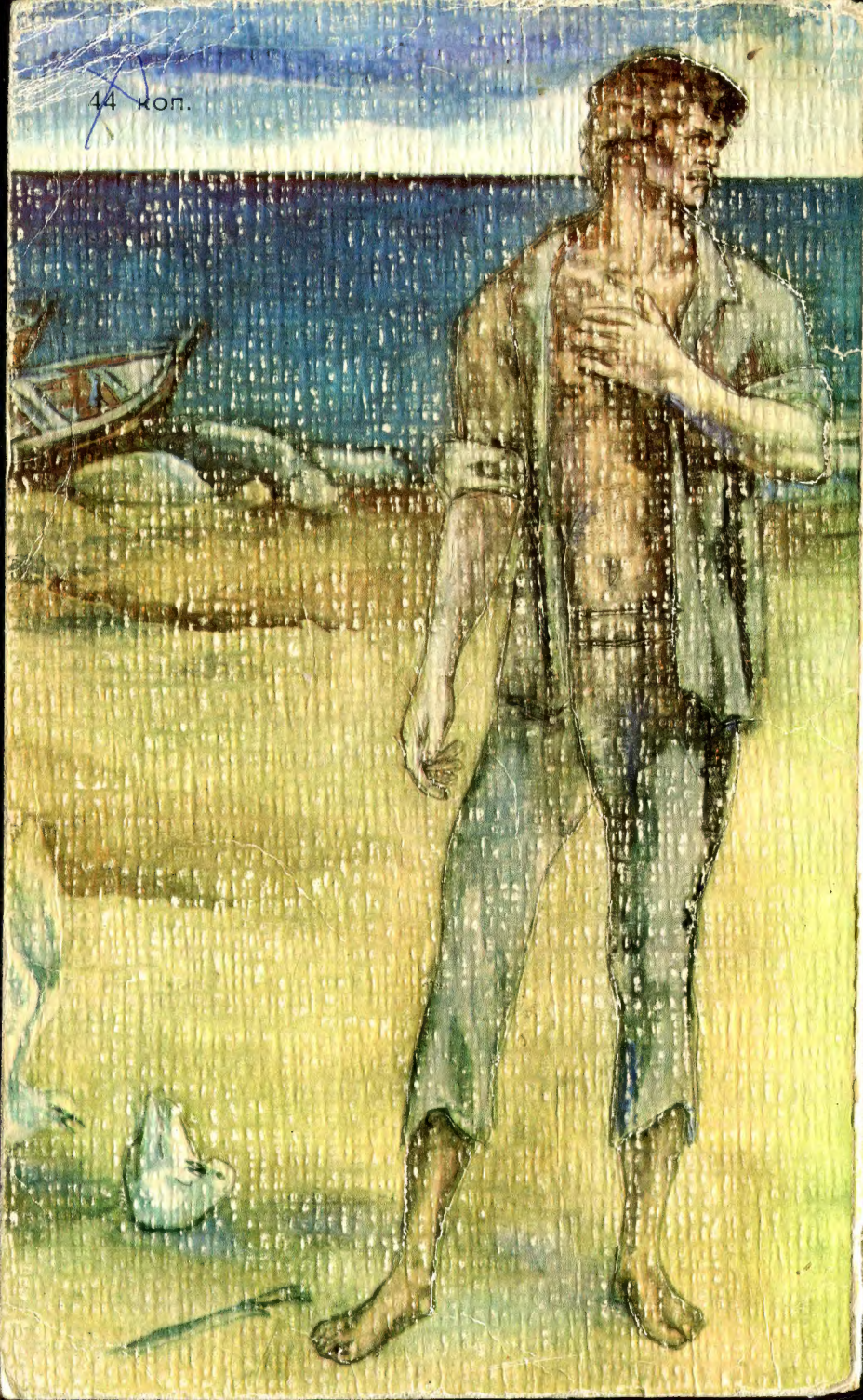
Редактор А. Бабореко
Художественный редактор
А. Виноградов
Технический редактор
Л. Витушкина
Корректор
М. Пастер

Сдано в набор 31/XII 1975 г. Подписано к печати 7/IV 1976 г.
Бумага типографская № 2. Формат 84×108¹/₃₂.
9,5 печ. л. 15,96 усл. печ. л. 15,998 уч.-изд. л.
Тираж 500 000, 2-й завод (200 001—500 000) экз. Заказ 3662.
Цена 44 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28

44 коп.



Созданием файла в формате DjVu
занимался ewgeniy-new
(сентябрь 2014)